ЛЭНС АРМСТРОНГ

и Сэлли Дженкинс

Не только о велоспорте

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

•Шестикратный победитель «Тур де Франс»•
•Бывший больной раком •Муж •Отец •Сын •Человек•

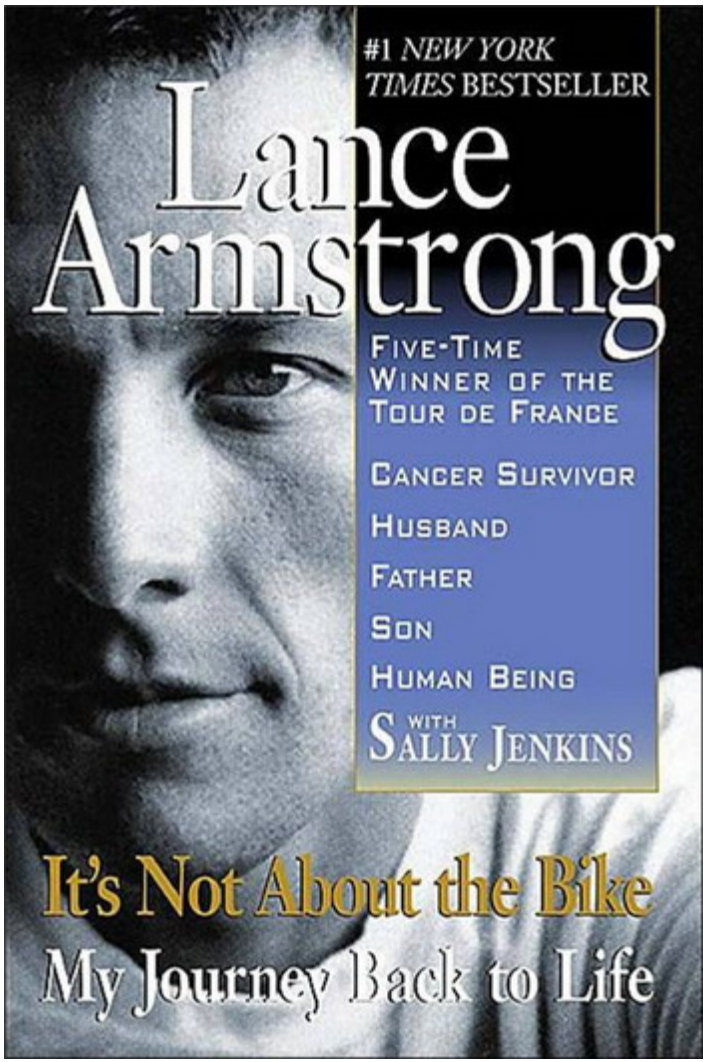
SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Лэнс Армстронг — американский велогонщик, шестикратный победитель «Тур де Франс» — о своих достижениях в спорте и о том, как ему удалось преодолеть смертельное заболевание. Это книга для заядлых болельщиков и для тех, кто ненавидит спорт, для велосипедистов и для тех, кто последний раз садился на велосипед в детстве, для больных раком и для абсолютно здоровых. Она для всех, кому когда-либо приходилось преодолевать трудности… Она не только о велоспорте. Она о душе.

- Лэнс Армстронг, Сэлли Дженкинс
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- notes
    - 1

Лэнс Армстронг, Сэлли Дженкинс
НЕ ТОЛЬКО О ВЕЛОСПОРТЕ: МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
It's not about the Bike (My Journey Back to Life)



Глава первая
ДО И ПОСЛЕ

Я хочу умереть в столетнем возрасте, с американским флагом на спине и звездой Техаса на шлеме, слетев с альпийских склонов на скорости 120 километров в час. Я хочу пересечь последнюю в своей жизни финишную черту под аплодисменты жены и десятерых детей, а потом лечь на землю среди знаменитых французских подсолнухов и мир — но почить, поправ тем самым предрекавшуюся мне безвременную мучительную смерть.

Медленное умирание не для меня. Я ничего не делаю медленно; я все делаю на скорости — быстро ем, быстро высыпаюсь. Я нетерпеливо ерзаю на пассажирском сиденье, когда моя жена Кристин, сидя за рулем, тормозит на каждый желтый свет.

— Ты водишь как баба, — говорю я ей.

— Надо было жениться на мужчине, — отвечает она.

Я езжу на велосипеде по всему свету — от проселков Остина, штат Техас, до парижских Елисейских полей — и всегда считал, что, если мне и суждено умереть раньше времени, это произойдет, когда какой-нибудь фермер собьет меня своим грузовиком и я улечу в придорожную канаву. Поверьте, это может случиться. Велосипедисты ведут нескончаемую войну с водителями грузовиков, которые сбивали меня столько раз и во стольких странах, что я уже и счет потерял. Я уже научился сам у себя удалять швы: для этого нужны лишь маникюрные ножницы и сила духа.

Если бы вы увидели мое тело под спортивным костюмом, то поняли бы, что я имею в виду. Мраморные рубцы покрывают обе мои руки и ноги, которые я чисто выбриваю. Может быть, водители грузовиков потому и пытаются постоянно наехать на меня: они видят мои женоподобные лодыжки и, исполнившись презрения ко мне, не сбавляют скорость. Но велосипедисты вынуждены брить ноги, потому что, когда кожа иссечена и испещрена песком и мелкими камушками, ее легче чистить и перевязывать, если волос нет.

Только что ты мчался по шоссе, и вот уже- бабах — лежишь лицом в пыли. Тебя обдувает жарким смрадом выхлопных газов, от которых во рту остается едкий привкус, и все, что ты можешь, — лишь бессильно помахать кулаком удаляющимся габаритным огням. Рак похож на эти грузовики. Он так же сшиб меня и оставил такие же шрамы. Грудь моя пересечена

морщинистым рубцом — прямо над сердцем, куда был имплантирован катетер. Справа от паха к бедру идет хирургический шов — след от удаления яичка. Но главный след, оставленный раком, — это два глубоких полумесяца на скальпе, словно следы от лошадиных копыт. Это осталось после операции на мозге. Когда мне исполнилось двадцать пять, у меня обнаружили рак яичка и я был на волосок от смерти. Шансов на выживание у меня было меньше 40 процентов, да и эта оценка, честно говоря, была, по доброте душевной, завышена врачами. Смерть — не тема для светской беседы, как и рак, операция на мозге или то, что находится ниже пояса. Но я не собираюсь с вами любезничать, я хочу рассказать вам всю правду. Я уверен, вы хотите услышать о том, как Лэнс Армстронг стал Великим Американцем, Живым Примером, Источником Вдохновения, как он выиграл «Тур де Франс», шоссейную велогонку протяженностью в 3685 км, которая считается самым изнурительным спортивным состязанием из всех существующих. Вы хотите услышать о моей вере и моей тайне, о моем чудесном возвращении и о том, как я встал в один ряд с такими величественными фигурами велоспорта, как Грег Лемонд и Мигель Индурайн. Вы хотите услышать о моем лирическом преодолении Альп и героическом покорении Пиренеев, а также о том, что я при этом чувствовал. Но победа в «Туре» — это самый незначительный фрагмент моей истории.

О многом из того, что я собираюсь рассказать, трудно говорить и многое не очень приятно слушать. Поэтому с самого начала хочу попросить вас отбросить в сторону мысли о геройствах и чудесах — я не считаю себя каким-то сказочным персонажем. Моя жизнь — не «Диснейленд» и не Голливуд. Один пример. Мне приходилось читать в репортажах, что я, дескать, взлетал на холмы и горы Франции. Но на холм не взлетишь. На холм поднимаешься мучительно, преодолевая боль, — и, может быть, если работаешь достаточно усердно, окажешься на вершине раньше других. Рак такой же. Здоровые, сильные люди заболевают раком; они делают все возможное и невозможное, чтобы победить свою болезнь, но все равно умирают. Это главная правда, которую вы должны знать. Люди умирают. Когда знаешь это, остальное уже кажется неважным. Просто мелочью. Не знаю, почему я до сих пор жив. Могу только предполагать. У меня крепкая конституция, и профессия научила меня продолжать упорствовать, когда преграды кажутся неодолимыми и все против тебя. Я привык к тяжелейшим нагрузкам и даже люблю их. Это помогло и послужило хорошей отправной точкой, но никак не могло быть определяющим фактором. Не могу избавиться от

ощущения, что в моей победе над смертью наибольшую роль сыграло слепое везение. В 16 лет мне случилось пройти медицинское обследование в далласской клинике Купера, которая является престижным научным центром и колыбелью революции аэробной физкультуры. Врач, измерявший у меня VO2max то есть максимальное количество воздуха, которое я могу вдохнуть и использовать, сказал, что такого высокого показателя, как у меня, в его практике еще не было. Кроме того, в моем организме оказалось меньше молочной кислоты, чем бывает у большинства людей. Молочная кислота — это вещество, которое организм вырабатывает, когда устает; именно оно вызывает боль в уставших мышцах.

Таким образом, я способен переносить большие физические нагрузки, чем большинство людей, и при этом меньше уставать. Мне повезло: я родился с отличным дыхательным аппаратом. Но даже это не спасало меня от головокружения и тошноты, которые я испытывал во время болезни. Болезнь заставила меня отбросить гордыню, открыть глаза и трезво оценить свою жизнь. Я видел в ней множество достойных порицания эпизодов: примеры недостойного поведения; начатые, но не доведенные до конца дела; различные проявления слабости. Я должен был спросить себя: «Если мне суждено выжить, каким человеком я намереваюсь стать?» И обнаружил, что мне еще надо расти и расти, чтобы стать настоящим человеком. Не буду вас обманывать. Существуют два Лэнса Армстронга — до рака и после. У меня любят спрашивать: «Как болезнь изменила вас?» Лучше спросите, что во мне не изменилось. Второго октября 1996 года я вышел из дому одним человеком, а вернулся совсем другим. Я был спортсменом мирового класса, имеющим особняк на берегу реки, ключи от «Porsche» и приличный счет в банке. Я был одним из лучших велогонщиков в мире, и моя карьера являлась идеальным примером успеха. А вернулся другим человеком в самом буквальном смысле. Можно сказать, что прежний я умер и обрел вторую жизнь. Даже тело мое стало другим, потому что в процессе химиотерапии я потерял всю свою мускулатуру, и, когда накачал мышцы снова, они были уже другие — не те, что прежде.

Правда заключается в том, что рак оказался лучшим событием в моей жизни. Не знаю, почему я заболел, но эта болезнь сотворила со мной настоящее чудо, и я не хотел бы, чтобы ее не было. Почему я должен отказываться от самого важного, перевернувшего всю мою жизнь события? Люди умирают. Эта истина столь страшна, что временами мне не хватает духу произнести ее вслух. Зачем тогда к чему-то стремиться, можете спросить вы. Почему бы не остановиться на

том самом месте, где мы находимся в данный момент? Но есть и другая истина. Люди живут. Это противоположно направленная, но столь же справедливая истина. Люди живут, и порой живут замечательно. Когда я болел, то видел в каждом дне своей жизни больше красоты, триумфа и правды, чем в любой велогонке, — и это были человеческие моменты, а не какие-то чудеса. Я познакомился с человеком в потрепанном тренировочном костюме, который оказался блестящим хирургом. Я подружился с перегруженной делами медсестрой по имени Лат-рис, обеспечивавшей мне такой уход, который мог быть лишь результатом глубочайший близости наших душ. Я видел детей без ресниц и бровей, «сожженных» химиотерапией, которые боролись за свою жизнь с упорством Индурайна.

Я сам еще не вполне понимаю, что это было. Единственное, что я могу сделать, — это рассказать вам, как это было.

Разумеется, я должен был бы знать, что у меня что-то не так со здоровьем. Но спортсменам, а велосипедистам особенно, свойственно самоотречение отказываешься прислушиваться к усталости и боли, потому что должен закончить гонку. Велоспорт — это самоистязание. Ты крутишь педали целый день, шесть или семь часов в любую погоду по булыжнику и песку, под ветром, дождем и я даже градом, но не должен прислушиваться к боли. Болит все. Болит спина, болят ноги, болят руКи, болит шея и конечно, болят ягодицы.

Так что нет, я не должен был обратить внимание на свое неважное самочувствие в 1996 году. Когда той зимой У меня слегка опухло правое яичко, я сказал себе что с этим можно жить, поскольку был уверен что это как-то связано с ездой на велосипеде или какими- то физиологическими процессами. На моих споРтивных показателях это никак не сказывалось, и я не видел причин останавливаться.

В велоспорте чемпионами становятся, как правило Уже в ЗРелом возрасте. Необходимы годы, чтобы зарастить физическую выносливость, и стратегический ум обретаешь только с жизненным опытом. К 1996 году я почувствовал, что наконец-то достиг своего расцвета. Той весной я выиграл

«Флешь-Валонь», тяжелейшую гонку через Арденны, в которой до той поры еще не преуспел ни один американец. Финишировал вторым на дистанции «Льеж-Бастонь-Льеж», классической гонке на 267 километров, которые необходимо преодолеть за один изнурительный день. Выиграл «Тур Дюпон», 12-дневную гонку протяженностью почти 2000 километров по горам Каролины. К этим результатам я добавил еще пять вторых мест и впервые в своей карьере был близок к тому, чтобы войти в

пятерку лучших велогонщиков мира.

Но любители велоспорта после моей победы в «Тур Дюпон» заметили во мне нечто странное: обычно, пересекая финишную черту первым, я энергично сжимаю и разжимаю кулаки. Но в тот день я был слишком изможден, чтобы торжествовать победу в седле. Глаза мои были налиты кровью, лицо раскраснелось.

После весенних побед я должен был бы ощущать уверенность в себе и приток энергии, но чувствовал только усталость. У меня болели соски. Если бы я разбирался в физиологии немного больше, то понял бы, что это признак болезни. Это означало, что у меня был повышен уровень ХГЧ, гормона, который обычно вырабатывается в организме беременных женщин. В организме мужчин он присутствует в крошечных количествах и повышение его уровня означает дисфункцию яичек.

Я думал, что просто перетрудился. «Встряхнись, — говорил я себе, — ты не можешь позволить себе уставать». Меня ждали два самых главных соревнования сезона: «Тур де Франс» и Олимпийские игры в Атланте, — и это были те соревнования, ради которых я столько старался.

С дистанции «Тур де Франс» я сошел уже на пятый день. После гонки под проливным дождем у меня заболело горло, и начался бронхит. Я кашлял, у меня болела спина, и я уже просто не мог ехать дальше. «Не могу дышать», — объяснил я журналистам. Как оказалось, это были пророческие слова.

В Атланте мое тело предало меня снова. Я приехал шестым в гонке на время и двенадцатым в шоссейной гонке. Результаты эти можно было бы назвать совсем неплохими, но они никак не отвечали моим высоким ожиданиям.

Вернувшись в Остин, я пытался убедить себя, что причиной всему был грипп. Я много спал, но не высыпался. Однако я не обращал внимания на свою сонливость, списывая ее на тяжелый сезон.

Восемнадцатого сентября я отметил свое 25-летие, а пару дней спустя пригласил кучу друзей на концерт Джимми Баффета, взяв по такому случаю напрокат аппарат для приготовления коктейля «Маргарита». Из Плано приехала моя мать Линда, и в разгар праздника я сказал ей: «Я самый счастливый человек на свете».

Я любил свою жизнь. У меня была красивая подруга, Лайза Шилз, с которой мы вместе учились в университете штата Техас. Я только-только подписал двухгодичный контракт с престижным французским велоклубом «Cofidis» на 2,5 миллиона долларов. У меня был шикарный новый дом в средиземноморском стиле на берегу озера Остин. Он строился несколько месяцев и в его

архитектурном оформлении и внутреннем убранстве были учтены все мои пожелания. Огромные окна выходили на плавательный бассейн и внутренний дворик в форме раковины, который тянулся к самому причалу, где были пришвартованы мои личные моторная лодка и водный мотоцикл.

Только одна вещь омрачала тот вечер: во время концерта я ощутил приступ головной боли. Она началась как тупое постукивание. Я принял аспирин. Не помогло. Боль только усилилась.

Я попробовал ибупрофен. Проглотил четыре таблетки, но боль не унималась. Я решил, что причина тому — слишком большое количество выпитых «Маргарит», и сказал себе, что больше никогда не буду пить эту дрянь. Мой друг и адвокат Билл Стэплтон предложил мне лекарство от мигрени, которое нашлось в сумочке у его жены Лоры. Я принял три таблетки. Тоже никакого эффекта.

Боль усиливалась и стала такой, как ее порой показывают в кино: голова раскалывается, и ее хочется изо всех сил сжать обеими руками, чтобы она не развалилась на части.

Наконец я сдался и отправился домой. Выключил повсюду свет и в полной неподвижности лег на диван. Боль не отступала, но вкупе с текилой так измучила меня, что я наконец уснул.

Утром голова уже не болела. Отправившись на кухню приготовить кофе, я заметил, что со зрением у меня что-то не так — края предметов расплывались. «Наверное, старею, — подумал я. — Может быть, мне нужны очки?» У меня всему находилось оправдание.

Пару дней спустя, когда я, сидя в гостиной, разговаривал по телефону с Биллом Стэплтоном, на меня вдруг напал кашель. Я давился, и во рту был какой-то неприятный металлический привкус. «Подожди минутку, — сказал я в трубку, — со мной происходит что-то странное». Я помчался в ванную и откашлялся в раковину.

Мокрота была с кровью. Я глядел на нее, не веря своим глазам. Откашлялся снова — и опять выплюнул кровь. Я не мог поверить, что вся эта мерзость выходит из моего тела.

Потрясенный, я вернулся в гостиную и взял трубку. «Билл, я тебе потом перезвоню», — сказал я и тут же набрал номер доктора Рика Паркера, своего друга и личного врача. Рик жил по соседству. «Ты не мог бы приехать? — попросил я. — Я харкаю кровью».

В ожидании Рика я вернулся в ванную и снова принялся рассматривать кровавую мокроту, оставшуюся на дне раковины. Вдруг моя рука повернула кран. Мне захотелось смыть все это.

Иногда я действую, не отдавая себе отчета в своих поступках. Мне не хотелось, чтобы Рик видел это. Я стеснялся. Я хотел, чтобы ничего этого не было. Рик приехал осмотреть мой рот и нос. Потом посветил мне в горло и захотел увидеть кровь. Я показал ему те капли, что еще оставались в раковине. «О Боже, — подумал я, — не могу даже сказать ему, как много было этой гадости, — так это отвратительно». Рику часто приходилось слышать от меня жалобы на насморк и аллергию. В Остине растет много амброзии, пыльца которой вызывает у меня аллергию, а антигистаминные препараты я при всех своих страданиях принимать не могу из — за жестких антидопинговых ограничений, существующих в велоспорте. Приходится терпеть.

— Возможно, это носовое кровотечение, — предположил Рик.

— Мог лопнуть сосуд. — Отлично, — сказал я.

— Невелика беда.

Я испытал такое облегчение, что ухватился за первое же предположение о не слишком серьезном расстройстве и удовлетворился им. Рик собрал свои инструменты и уже в дверях пригласил меня отобедать у них на следующей неделе.

В назначенный день я отправился к Паркерам на своем мотороллере. У меня много механических игрушек, и этот мотороллер — одна из любимых. Но тем вечером боль в правом яичке не дала мне насладиться ездой. За столом сидеть тоже было неуютно. Я старался поменьше шевелиться, чтобы было не очень больно.

Я хотел рассказать Рику о своих проблемах, но стеснялся. Едва ли это было хорошей темой для застольной беседы, да и с кровохарканьем я его зря побеспокоил. «Он еще сочтет меня нытиком», — подумал я и решил промолчать.

На следующее утро яичко чудовищно распухло, достигнув размера апельсина. Я оделся, вывел из гаража велосипед, чтобы отправиться на обычную тренировку, но обнаружил, что не могу сидеть в седле. Всю дистанцию я проехал стоя на педалях. Вернувшись домой, я, превозмогая смущение, снова набрал номер Паркера.

— Рик, у меня что-то с яичком, — сказал я.

Оно распухло, и я даже в седле сидеть не могу.

Рик воспринял мои слова очень серьезно.

— Тебе нужно немедленно пройти обследование.

Он настоял на том, чтобы я показался специалисту в тот же день. Закончив разговор со мной, Рик тут лее позвонил Джиму Ривсу, известному на весь Остин урологу. Как только Рик объяснил мои симптомы, Ривс заявил, что я должен немедленно ехать к нему. Он будет ждать. Перезвонив мне, Рик сказал, что

доктор Ривс подозревает у меня не более чем перекручивание яичка, но я все-таки должен поехать провериться. Если я откажусь, то рискую потерять яичко.

Я принял душ, переоделся, взял ключи и сел за руль своего «Porsche». Забавно, но я и сейчас помню, во что был тогда одет: в брюки цвета хаки и темно-зеленую рубашку.

Офис Ривса располагался в самом центре города, в ничем не примечательном кирпичном здании поликлиники близ кампуса университета штата Техас.

Ривс оказался пожилым джентльменом с раскатистым голосом, который, казалось, доносился из глубины колодца, и типичной для докторов манерой относиться ко всем проблемам с видимым спокойствием — хотя его явно встревожило то, что он обнаружил в процессе обследования.

Яичко мое было втрое больше нормальных размеров, стало твердым, и каждое прикосновение к нему отдавалось болью. Ривс сделал какие-то записи, а потом сказал: — Ситуация подозрительная. Для пущей уверенности вам следует сделать УЗИ. Кабинет находится через дорогу.

Я оделся и вышел на улицу. Лаборатория ультразвукового исследования находилась в таком же кирпичном здании на противоположной стороне улицы, что было совсем недалеко от основного корпуса, но я решил подъехать туда на машине. Внутри оказался ряд кабинетов и помещений, битком набитых разного рода медицинским оборудованием. В одном из этих кабинетов мне предложили лечь на стол.

Лаборантка поднесла ко мне инструмент, похожий на стержень, передающий изображение на экран. Я полагал, что это займет пару минут. Просто рутинная проверка — для пущей уверенности, как сказал доктор.

Прошел час, а я все еще лежал на столе. Лаборантка, казалось, исследовала каждый сантиметр моего тела. Я лежал безмолвно, стараясь подавить нарастающую тревогу. Почему так долго? Неужели она что-нибудь нашла?

Наконец она отложила свой стержень и, не говоря ни слова, покинула кабинет.

— Подождите, — сказал я ей вслед, — эй!

«Вот тебе и «простая формальность», — подумалось мне.

Вскоре лаборантка вернулась с мужчиной, которого я видел в кабинете перед началом исследования. Это был главный радиолог. Взяв инструмент, он начал осматривать меня сам. Это продолжалось в полном молчании еще 15 минут. Почему же так долго?

— Ладно, одевайтесь и выходите в коридор, — произнес он

наконец.

Я торопливо оделся и вышел из кабинета. Радиолог ждал меня за дверью.

— Нужно еще сделать рентгеноскопию грудной клетки, — сказал он.

Я удивленно уставился на него:

— Зачем?

— Доктор Ривс попросил.

Зачем им осматривать мою грудную клетку? У меня там ничего не болит. И я отправился в очередной кабинет, где снова разделся и где уже другая лаборантка сделала мне рентген.

Я был уже не на шутку зол и напуган. Одевшись, я вышел в коридор и снова наткнулся на главного радиолога.

— Послушайте, — обратился я к нему. — Что происходит? Это никакие назовешь обычной процедурой.

— Вам нужно поговорить с доктором Ривсом, — уклонился он от ответа.

— Нет. Я хочу знать, что происходит.

— Видите ли, я не хочу говорить за доктора

Ривса, но похоже, что он проверяет вас на онкологию.

Я застыл.

— О черт, — вырвалось у меня.

— Вы должны отнести снимки доктору Ривсу.

Он ждет вас в своем кабинете.

Меня охватило леденящее чувство страха, и я, вытащив из кармана сотовый телефон, набрал номер Рика.

— Рик, тут творится что-то непонятное, а мне

всего не говорят.

— Лэнс, я сам точно не знаю, что происходит, но ты должен поговорить с доктором Ривсом. Может, у него и встретимся?

— Хорошо.

Я подождал в приемной, пока готовили мои рентгеновские снимки, и наконец радиолог вышел и вручил мне большой коричневый конверт. «Доктор Ривс ждет вас», — сказал он. Я не отрываясь смотрел на конверт. «Там моя грудная клетка», — сообразил я.

Дело плохо. Я сел в машину и снова бросил взгляд на конверт с рентгеновскими снимками.

Офис Ривса был всего в двухстах метрах, но чувство было такое, что он намного дальше. В двух километрах. А может, в двадцати.

Когда я припарковался, уже стемнело и рабочий день явно закончился. «Если доктор Ривс до сих пор ждал меня, тому должна быть серьезная причина, — думал я. — А причина в том,

что я, похоже, влип».

По дороге в кабинет Ривса я обратил внимание, что здание совершенно опустело. Все ушли. Был уже вечер.

Приехал Рик, и вид его был довольно мрачным. Я сел в кресло, а доктор Ривс в это время вскрыл конверт и извлек снимки. Рентгеновский снимок подобен фотонегативу: аномалии на нем выделяются белым. То, что черное, — это хорошо, это означает, что органы чистые. Черное хорошо. Белое — плохо.

Доктор Ривс прикрепил мои снимки к специальному экрану с подсветкой.

Моя грудь выглядела на рентгене как снежный буран.

— Да, ситуация серьезная, — сказал наконецдоктор Ривс.

— Похоже на тестикулярный рак с обширными метастазами до самых легких.

У меня рак.

— Вы уверены? — спросил я.

— Совершено уверен, — сказал Ривс.

Мне двадцать пять. Откуда у меня рак?

— Может, мне проконсультироваться у кого-нибудь еще? — сказал я.

— Разумеется, — ответил Ривс.-

Вы имеете полное право сделать это. Но должен сказать, что в диагнозе я не сомневаюсь. Я запланировал для

вас на завтра на семь утра операцию по удалению яичка.

У меня рак, и он добрался до легких. После этого доктор Ривс рассказал о болезни подробнее: рак яичек — редкое заболевание; в США ежегодно фиксируют лишь 7000 случаев. Эта болезнь поражает чаще всего мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и благодаря достижениям химиотерапии считается среди онкологических заболеваний наиболее излечимым, но главное здесь — своевременные диагностика и хирургическое вмешательство. Доктор Ривс был совершенно уверен, что у меня рак. Вопрос лишь в том, насколько широко он распространился. Ривс предложил мне обратиться к Дадли Юману, известному остинскому онкологу. Но надо было торопиться: каждый день на счету. Доктор Ривс, наконец, закончил, но я не мог вымолвить ни слова.

— Я оставлю вас на минутку, — сказал Ривс.

Оставшись наедине с Риком, я положил голову на стол.

— Не могу поверить, — произнес я.

Но я должен был признаться себе в том, что на самом деле болен. Эта головная боль, этот кровавый кашель, боль в горле, постоянная сонливость. Я действительно плохо себя чувствовал, и началось это не вчера.

— Лэнс, послушай меня. В лечении рака произошли значительные подвижки. От него можно вылечиться. Мы должны постараться сделать все возможное. Мы победим, чего бы это ни стоило.

— Хорошо, — сказал я. — Согласен.

Рик вызвал доктора Ривса.

— Что я должен делать? Давайте начнем. Давайте убьем эту заразу. Во что бы то ни стало.

Я хотел приступить к лечению прямо сейчас. Не сходя с места. Я готов был лечь под нож хирурга в тот же час. Я бы сам нацелил на себя лучевую пушку, если бы это помогло. Но Ривс терпеливо объяснил мне план действий на утро: я приеду в больницу рано утром, чтобы пройти целый ряд тестов и анализов и дать онкологу возможность определить степень развития рака, после чего мне хирургическим путем удалят яичко. Я встал и направился к выходу. Мне еще нужно было сделать множество звонков, в том числе матери; как-никак мне предстояло сообщить ей, что ее единственный ребенок болен раком-

Я сел в машину и поехал по извилистым улицам домой, на берег озера. Впервые в жизни я ехал медленно. Я был в шоке. Бог мой, я никогда больше не смогу соревноваться. Бог мой, я умру. Бог мой, у меня никогда не будет семьи. Все эти мысли путались, сменяя друг друга. Но первой была такая: Бог мой, я никогда больше не смогу соревноваться. Я взял телефон и позвонил Биллу Стэпл-тону.

— Билл, у меня плохие новости, — сказал я.

— Что такое? — встревоженно спросил он.

— Я заболел. Моей карьере конец.

— Что?

— Все кончено. Я болен, я никогда больше не смогу соревноваться, и у меня уже ничего в жизни не будет.

Я отключил связь.

Я тащился к дому на первой передаче, не имея сил даже нажать на педаль газа и оплакивая все, что имел: свой мир, свою профессию, свое «я». Я выехал сегодня из дома несокрушимым и непобедимым 25-летним молодцом. Рак изменил в моей жизни все: он не только погубил мою карьеру, но и лишил меня всего моего прежнего «я». Я начинал свою жизнь практически с нуля.

Моя мать работала секретаршей в Плано, но с помощью велосипеда я кое-чего в жизни достиг. В то время как другие дети занимались плаванием, я после школы крутил педали, потому что именно в этом видел свой единственный шанс. Каждый завоеванный приз, каждый заработанный доллар я оплатил литрами пота, а что мне делать теперь? Кем я буду, если

перестану быть велосипедистом мирового класса Лэнсом Армстронгом?

Больным человеком.

Я подъехал к дому. Там звонил телефон. Войдя, я бросил ключи на шкафчик. Телефон не умолкал. Я снял трубку. Это был мой друг Скотт Макичерн, представитель фирмы «Nike», «приписанный» ко мне.

— Эй, Лэнс, что происходит?

— Многое, — мрачно ответил я.

— Многое происходит.

— Что ты имеешь в виду?

— Я, гм…

Мне еще не случалось произносить такое вслух.

— Что? — спросил Скотт.

Я открыл рот, закрыл его, открыл снова.

— У меня рак, — наконец выдавил я. И заплакал.

И в этот момент ко мне пришла еще одна мысль. Я мог потерять и жену. Не только спорт. Я мог потерять жизнь

Глава вторая
НА СТАРТ

Прошлое формирует человека, хочет он того или нет. Каждая встреча, каждый опыт оставляет свой отпечаток и придает вам форму, подобно тому, как ветер придает форму мескитовому дереву на равнине.

Главное, что вам следует знать о моем детстве, — то, что у меня никогда не было настоящего отца, о чем я, впрочем, никогда не жалел. Мама родила меня в 17 лет, и с первого дня все вокруг твердили, что мы никогда ничего в жизни не добьемся. Она придерживалась иного мнения и прививала мне непреложное правило жизни: «Превращай каждое препятствие в благоприятную возможность». Так мы и поступали.

Я был крупным ребенком, особенно для такой маленькой женщины. Девичья фамилия моей матери — Мунихэм. Ее рост был 160 сантиметров, а весила она менее 50 килограммов, и я не представляю, как ей удалось выносить и родить меня — ведь при рождении я весил 4,4 килограмма. Роды былитакие трудные, что после них она целый день пролежала в лихорадке. Из-за высокой температуры нянечки не позволяли ей брать меня на руки.

Я никогда не знал своего так называемого отца. Он для меня просто не существовал. Только то, что он снабдил меня своей ДНК, отнюдь не делало его моим отцом, и между нами все эти годы не было абсолютно ничего, никакой связи. Я понятия не имел, что он за человек, что любит, а что ненавидит. До прошлого года я даже не знал, где он живет и работает.

И никогда не спрашивал. Мы с матерью ни разу не обмолвились о нем ни словом. Ни единым. За 28 лет она ни разу не вспомнила о нем, и я тоже. Это может показаться странным, но это правда. Дело в том, что меня это совершенно не волнует, и маму тоже. Она говорит, что рассказала бы мне об отце, если бы я попросил, но, честно скажу, просить об этом мне и в голову не приходило. Личность отца не имела для меня никакого значения. Мать любила меня, я отвечал ей взаимностью, и нам было вполне достаточно друг друга. Но когда я решил написать о своей жизни, то подумал, что неплохо было бы все-таки прояснить некоторые вопросы о своем происхождении. В 1999 году одна техасская газета отыскала следы моего биологического отца и напечатала о нем статью. Вот что они сообщили: фамилия его Гун-Дерсон; работает он в газете «Dallas Morning News», живет в Сидр-Крик-Лейке, штат Техас, и У него двое других детей. Далее сообщалось,

что моя мать вышла за него, когда забеременела, но они разошлись, когда мне не исполнилось и двух лет. В газетном интервью он, правда, сказал, что гордится своим отцовством, что двое других его детей считают меня своим братом, но эти слова не вызывают во мне никакого доверия, и я отнюдь не горю желанием встретиться с этим человеком.

Мама жила одна. Ее родители разошлись, и мой дед, Пол Мунихэм, ветеран вьетнамской войны, в те годы работал на почте, жил в передвижном доме и беспробудно пил. Бабушка же, Элизабет, как могла старалась помочь своим троим детям. Никто в семье не мог особенно помочь матери — но они хотя бы пытались. В день моего рождения дед бросил пить, и с тех пор, все 28 лет моей жизни, ведет трезвый образ жизни. Младший брат моей матери, Эл, был для меня нянькой. Впоследствии он записался в армию, как это было принято среди мужчин нашей семьи, и сделал там неплохую карьеру, дослужившись до чина подполковника. У него великое множество орденов и медалей и замечательный сын, Джесси. Мы все поддерживаем очень теплые отношения и гордимся друг другом.

Я был желанным ребенком. Мама так хотела родить меня, что скрывала свою беременность, сколько могла, чтобы никто не попытался отговорить ее рожать. После моего рождения она часто ходила за покупками вместе с сестрой, и однажды, когда тетя держала меня на руках, продавщицы начали заигрывать со мной. «Какой прелестный ребенок», — сказала одна из них. Мама выступила вперед: «Это мой ребенок».

Пока она заканчивала школу и подрабатывала неполный день, мы жили в убогой однокомнатной квартирке в Оук-Клиффе, пригороде Далласа. Это один из тех районов, где на веревках вывешивают сушиться белье, а на углу — обязательно закусочная «Kentucky Fried». Мать в одной из таких закусочных и подрабатывала (помню, что униформа у нее была в розовую полоску). Параллельно она работала кассиршей в расположенном через дорогу от закусочной бакалейном магазине. Впоследствии она получила временное место на почте, где сортировала возвращенные письма. А одновременно пыталась закончить образование и заботилась обо мне. Зарабатывала она 400 долларов в месяц, из которых 200 уходило на оплату квартиры, да еще 25 долларов в не-. делю приходилось отдавать за ясли. Но при этом она обеспечивала меня всем, в чем я нуждался, плюс еще что-то «сверх». У нее были свои способы устроить мне маленький праздник.

Когда я был еще совсем маленьким, она водила меня в кафе, где я пил коктейль через соломинку. Она. втягивала немного

напитка в соломинку, а потом я запрокидывал голову и сладкая прохладная жидкость стекала мне в рот. Так мать пыталась побаловать меня лакомством на 50 центов.

Каждый вечер мама мне читала. Хотя я был еще слишком мал, чтобы понять хоть слово, это ее не смущало. Чтение ей никогда не надоедало. «Не могу дождаться, когда ты будешь читать мне», — часто говорила она. Неудивительно, что я уже в два года читал стихи на память. Я все делал быстро. Пошел я в девять месяцев.

Через какое-то время мама получила место секретарши с годовым окладом в 12 тысяч долларов, что позволило нам переехать в более приличную квартиру в северном пригороде Далласа, Ричардсоне. Потом она перешла на работу в телекоммуникационную компанию «Ericsson» и сделала там карьеру. Сейчас она уже не секретарша, а менеджер по работе с клиентами, и помимо этого имеет лицензию на работу в качестве агента по торговле недвижимостью. Вот в общем-то и все, что вам надо о ней знать. Она умна, напориста, трудолюбива. К тому же и выглядит достаточно молодо — так, что вполне может сойти за мою старшую сестру.

После Оук-Клиффа Ричардсон показался ей земным раем. Северные предместья Далласа тянутся чуть ли не до самой границы с Оклахомой непрерывной цепью городков, неотличимых друг от друга. На многие мили — одни и те же дома и торговые центры вдоль дорог на фоне однообразного коричнево-бурого техасского пейзажа. Но есть хорошие школы и множество открытых для всех спортивных площадок.

Через дорогу от нашей квартиры располагался небольшой велосипедный магазин со звучным названием «Richardson Bike Mart». Владельцем его был низкорослый крепыш по имени Джим Хойт. Джим спонсировал велогонщиков и постоянно искал детей, которые занялись бы этим видом спорта.

Раз в неделю мы с мамой отправлялись в местную булочную за свежими, еще горячими пончиками и проходили мимо этого веломагазина. Джим знал, как трудно приходилось моей матери, но он видел, что она всегда держится молодцом, а я всегда аккуратно одет и ухожен. Он проявил к нам интерес и уговорил мать купить мне «серьезный» велосипед. Это был «Schwinn Mag Scrambler», и я получил его в семь лет. Он был уродливо коричневый, с желтыми колесами, но я сразу полюбил его. Почему мальчишки так любят велосипеды? Да потому, что велосипед олицетворяет освобождение и независимость; к тому же это твой первый колесный транспорт. На велосипеде ты получаешь возможность путешествовать без всяких правил и без

сопровождения взрослых.

Единственным, что мать привнесла в мою жизнь против моего желания, был отчим. Когда мне исполнилось три года, она вторично вышла замуж за человека по имени Терри Армстронг. Это был невысокий мужчина с пышными усами и привычкой преувеличивать свои скромные успехи. Он занимался оптовой продажей продуктов питания бакалейным магазинам и выглядел как типичный коммивояжер. Но он приносил в дом деньги и помогал оплачивать счета. Мама тем временем продвигалась по службе и купила нам дом в Плано, одном из самых шикарных пригородов.

Терри официально усыновил меня, дав мне свою фамилию, но я не помню, чтобы меня это событие как-то взволновало. Знаю лишь, что мой биологический отец, Гундерсон, официально отказался от всяких прав на меня. Чтобы усыновление произошло, Гундерсон должен был дать на это согласие. И он без лишних слов подписал все нужные бумаги.

Терри Армстронг был христианином и пытался вмешиваться в процесс моего воспитания. Но при всем своем желании воспитывать меня в духе христианства Терри был вспыльчив и порол меня почем зря — за детские шалости, неопрятность и другие мелочи.

Однажды я оставил в своей комнате незакрытый шкаф, из ящика которого выглядывал носок. Терри достал свою старую добрую трость. Она была толстая, деревянная и для наказания маленьких детей совершенно, на мой взгляд, неприемлемая. Отчим развернул меня и огрел ею.

Эта трость была его излюбленным средством приучения меня к дисциплине. Если я приходил домой поздно, в дело вступала трость.

Шарах. Если я огрызался, палка снова прохаживалась по моей спине. Шарах. Это вызывало боль не только физическую, но и эмоциональную. Поэтому Терри Армстронг мне не нравился. Я считал его злобным мужланом и подонком, и в результате у меня с детства сложилось впечатление, что церковь существует для идиотов.

Спортсменам не свойственно копаться в своих детских воспоминаниях, это ведь спортивных результатов не улучшает. Когда преодолеваешь затяжной 2-километровый подъем и у тебя на заднем колесе висят итальянцы с испанцами, о своих отроческих переживаниях думать как-то не хочется, да и вредно. Ты должен быть сосредоточен. Но надо понимать, что все это как раз в детстве и закладывалось. Как говорит моя мать, «превращай любой негатив в позитив». Ничто не пропадает зря, все потом

используется, и старые раны и обиды становятся топливом для соревновательной энергии. Но тогда я был просто обиженным ребенком, который думал: «Если я поеду на своем велосипеде по этой дороге, и буду ехать достаточно долго, то, может быть, она выведет меня отсюда».

Плано тоже оставил на мне свой отпечаток. Это типичнейший американский пригород с торговыми рядами, улицами, образующими идеальную сетку, и загородными клубами, в псевдодовоенном стиле, разбросанными среди бурых полей. Его населяют мужчины в рубашках-поло и брюках «Sansabelt», женщины, увешанные яркой бижутерией, и замкнутые в своем собственном мире подростки. Нет ничего старинного, ничего настоящего. Мне этот город казался лишенным души, и, может быть, с этим связано то, что там чрезвычайно остро стоит проблема наркомании и необычайно высок уровень самоубийств среди молодежи. Там располагается школа Плано-Ист, одна из крупнейших и наиболее одержимых футболом средних школ штата, современное здание, больше похожее на правительственное учреждение, с дверями размером с заводские ворота. В эту школу я и ходил.

В Плано, штат Техас, если ты не играешь в футбол или не относишься к верхней прослойке среднего класса, ты — никто. Моя мать работала секретаршей, поэтому я пытался играть в футбол. Но мне не хватало координации движений. Когда дело доходило до боковых движений или координации рук и глаз — а это основное в футболе, — я «проваливался».

И тогда я решил найти что-то такое, в чем всетаки мог бы преуспеть. В пятом классе я участвовал в школьных соревнованиях по бегу и накануне вечером сказал матери: «Я собираюсь победить». Она молча посмотрела на меня, а потом порылась в своих вещах и протянула мне серебряный доллар 1972 года. «Эта монета приносит удачу», — сказала она. Я выиграл гонку.

Несколько месяцев спустя я записался в секцию плавания в местном клубе. Поначалу это было для меня еще одним средством сблизиться с детьми из местного «высшего общества». Но на первом же занятии я проявил себя таким неспособным к плаванию, что меня перевели в группу к семилеткам. Оглядевшись, я увидел там младшую сестру одного из моих друзей. Мне стало неловко. В футболе я оказался слабаком, а теперь не смог проявить себя еще и в плавании.

Но я старался. Если для овладения техникой плавания мне нужно было заниматься в младшей группе, я был готов заниматься. Мама до сих пор волнуется, когда вспоминает тот

день, когда я бросился вперед головой в воду и, размахивая руками так словно пытался выплескать всю воду из бассейна, проплыл по дорожке туда и обратно. «Ты так старался», — говорит она. Довольно скоро меня перевели в старшую группу.

Плавание вообще трудный вид спорта для 12-летнего подростка, а уж в городском плавательном клубе Плано нагрузка была чрезвычайной. Моим тренером был Крис Маккерди, которого я и сейчас считаю одним из лучших тренеров за всю свою карьеру. Крису удалось за один год совершенно преобразить меня. На дистанции 1500 метров вольным стилем я стал четвертым в штате. Он занимался с нашей командой очень серьезно: мы тренировались каждое утро с 5:30 до 7:00. Став постарше, я параллельно начал более серьезно практиковаться в велоспорте, проезжая в предутреннем полумраке по улицам 16 километров, отделявших наш дом от клуба, на велосипеде. В бассейне я проплывал 4000 метров перед школой, а потом еще 6000 метров вечером. Это составляло 10 километров в день в воде и 32 километра на велосипеде. Мать не возражала против этого по двум причинам: она не могла сама отвозить меня на плавание и в школу, потому что работала. Кроме того, она знала, что моему темпераменту это необходимо.

Когда мне исполнилось тринадцать, околачиваясь однажды вечером возле велосипедного магазина, я увидел объявление, приглашавшее всех желающих на юношеские соревнования по триатлону, включавшему в себя велогонку, плавание и бег.

Раньше я никогда о триатлоне не слышал, но туда входили все те дисциплины, в которых я был достаточно силен, поэтому я решил попробовать. Мама купила мне специальную форму: тренировочные шорты и майку из быстросохнущего материала, — чтобы я мог пройти все этапы соревнования, не переодеваясь. Тогда же она купила мне и первый гоночный велосипед. Это был элегантный «Mercier» для шоссейных гонок.

Я выиграл в том состязании, причем с большим отрывом, даже без каких-либо специальных тренировок. Вскоре я принял участие в другом соревновании по триатлону, проходившем в Хьюстоне, и тоже победил. Домой из Хьюстона я возвращался уже вполне уверенный в своих силах. Если в плавании я был одним из лучших (но я никогда не был самым лучшим), то в триатлоне со мной никто не мог сравниться не то что в Плано, но и во всем штате. И это было приятно.

Великим спортсмена делает способность не бояться возможных неудач, не жалуясь, терпеть лишения. Я обнаружил, что, когда для победы нужно было лишь стиснуть зубы и, не заботясь о том, как ты выглядишь со стороны, терпеть боль

дольше других, я выигрывал. И было неважно, о каком виде спорта идет речь: в состязании на выносливость, когда нужно просто двигаться вперед, превозмогая боль, я мог победить любого.

Я побеждал там, где нужно было много стойкости и выносливости.

Трость Терри Армстронга я бы еще стерпел, но случилось то, чего я вынести уже не мог. Когда мне было четырнадцать, маме сделали операцию и удалили матку. Это тяжелая травма для любой женщины — как в физическом, так и эмоциональном плане, тем более что мать в то время была еще достаточно молодой женщиной. Когда она лежала в больнице, восстанавливаясь после операции, мне нужно было ехать в Сан-Антонио на соревнования по плаванию. Терри взялся проводить меня. Я не хотел этого: мне не нравилось, когда он надевал на себя личину отца-покровителя; я считал, что ему лучше оставаться при матери в больнице. Но он настоял на своем.

Мы сидели в аэропорту в ожидании рейса, а я смотрел на Терри и думал: «Зачем ты здесь?» Вдруг он начал что-то записывать в блокнот. Написав несколько строк, он вырвал листок, скомкал его и бросил в мусорный бак. Потом он принимался писать снова. И снова вырывал лист и выбрасывал. И так несколько раз. Мне это показалось странным. Когда Терри отлучился в туалет, я подошел к мусорному баку, извлек оттуда скомканные листы и сунул их себе в сумку. Позже, оставшись один, я достал эти листки из сумки и развернул их. Это были наброски письма женщине. Я прочел их. Мой отчим писал другой женщине, в то время как его жена лежала в больнице после перенесенной гистерэктомии.

Я сохранил эти листки и привез их с собой в Даллас. Переступив порог дома, я прошел в свою комнату и снял с полки «Книгу рекордов Гиннесса». Потом взял ножницы и вырезал сердцевину книги. Спрятав туда черновики письма, я поставил книгу обратно на полку. Я хотел сохранить эти письма, сам не зная почему. Для страховки, может быть; такой компромат на отчима мне мог пригодиться. Например, если он снова возьмет в руки трость.

Если до этого случая Терри мне не нравился, то теперь я уже не испытывал к нему вообще никаких чувств. Он утратил в моих глазах всякий авторитет, и я перестал его хоть сколько-нибудь уважать.

Если раньше я был сорванцом, то теперь стал вообще отчаянным мальчишкой. Как-то я изобрел игру, которую назвал «огненный мяч». Она заключалась в том, чтобы вымочить

теннисный мяч в бензине, поджечь его, а потом бросать и ловить, пользуясь садовыми рукавицами.

Наполнив бензином пластмассовый бочонок, я высыпал туда теннисные мячи и оставил их там намокать. По мере надобности я вылавливал один мячик, поджигал его спичкой, и после этого мы с моим лучшим другом Стивом Льюисом перебрасывались пылающим мячом, пока наши рукавицы не начинали дымиться. Только представьте: двое мальчишек стоят на жарком техасском ветру и перебрасываются огненным шаром. Иногда рукавицы вспыхивали и мы хлопали ими по джинсам, распространяя вокруг себя яркие искры, разлетавшиеся подобно светлячкам.

Однажды я случайно попал горящим мячом на крышу дома. Часть дранки загорелась, и мне пришлось лезть наверх и затаптывать огонь, пока он не охватил всю крышу и не перекинулся на соседние дома. Еще был случай, когда горящий мяч упал прямо в бочонок с бензином и все это загорелось. Увидев поднявшийся, казалось, к самому небу столб огня и черного дыма, я в панике подбежал и пнул бочонок, надеясь сбить огонь, но бочонок не перевернулся, а на моих глазах расплавился.

Во многом мое поведение объяснялось тем, что я знал, как несчастлива моя мать. Я не мог понять, почему она продолжает жить с Терри, — ведь их отношения были хуже некуда. Но, быть может, ей казалось, что жить с ним все-таки лучше, чем воспитывать сына одной и прозябать в нищете.

Через несколько месяцев после моей поездки в Сан-Антонио их брак все-таки распался. Однажды вечером я, собираясь задержаться, позвонил матери, чтобы предупредить ее.

— Сынок, приезжай скорей домой, — сказала она.

— Что случилось?

— Нам нужно поговорить.

Я вскочил на велосипед и помчался домой. Мама сидела в гостиной.

— Я сказала Терри, чтобы он уходил, — сказала она.

— Я собираюсь подать на развод.

Я испытал огромное облегчение и не подумал его скрывать. Мало того, я просто засиял от радости.

— Так это же здорово! — воскликнул я.

— Но, сынок, — продолжала мать, — я не хочу, чтобы ты в такой трудный период доставлял мне хлопоты. Пожалуйста, остепенись.

— Хорошо, — сказал я. — Обещаю.

Несколько недель я не говорил матери об этом деле ни слова. Но однажды, когда мы сидели за столом на кухне, я огорошил ее неожиданными словами: «Это был плохой человек». Я не стал

рассказывать ей о любовных письмах — она и без того была несчастна. Но спустя годы во время уборки она все-таки нашла их. И не очень-то удивилась. Некоторое время Терри пытался поддерживать с нами контакт, присылая мне открытки на день рождения и тому подобное. Однажды от него пришел конверт со стодолларовой купюрой внутри. Я отдал его матери и сказал: «Не могла бы ты отослать ему эти деньги обратно? Мне они не нужны». В конце концов я написал ему письмо, где, среди прочего, посетовал, что не могу изменить фамилию, которую он дал мне. Я доступно объяснил ему, что не хочу больше знаться ни с ним, ни с его семейством. После разрыва с Терри мы с матерью значительно сблизились. Думаю, первое время она тяжело переживала случившееся, а когда люди несчастны, они не принадлежат себе. Но когда развод стал свершившимся фактом, мама очень быстро переменилась. Она как-то расслабилась, словно сбросила с плеч тяжелую ношу. Правда, при этом она взвалила на себя другое бремя, бремя матери-одиночки, но к этому ей было уже не привыкать. Следующие пять лет мать оставалась одна.

Я изо всех сил старался быть хорошим сыном. Я хотел, чтобы она чувствовала, что на меня можно положиться. Я лазил на крышу, чтобы развесить там для нее рождественские гирлянды. А если я иногда угонял соседские машины, чтобы покататься _ ЧТо ж, это было не большое преступление, без жертв. Когда она приходила с работы домой, мы вместе ужинали и, выключив телевизор, разговаривали. Она учила меня ужинать при свечах, прививала хорошие манеры. Приготовив что-нибудь на скорую руку, она зажигала свечи и рассказывала мне о прожитом дне. Иногда разговор заходил о том, как тяжело ей приходится на работе, где, по ее мнению, ее недооценивали, потому что она была всего лишь секретаршей.

— А почему бы тебе не уйти оттуда? — спрашивал я.

— Нет, сынок, уходить нельзя, — отвечала она. — Надо пробиваться. Иногда одного взгляда мне было вполне достаточно, чтобы понять, что день у нее был особенно тяжелый. И если я слушал в такой момент пластинки (а любил я что потяжелее — «Guns 'N Roses», например), то сразу выключал этот грохот и, сказав: «Мама, это для тебя», включал «Kenny G»; что, поверьте, было с моей стороны большой жертвой.

Я пытался морально поддерживать ее, потому что она столько для меня делала. По мелочам. Каждую субботу она стирала и гладила пять рубашек, чтобы каждый день я мог ходить в школу в свежей. Она знала, как много я тренируюсь и как голоден бываю после школы, поэтому каждый день оставляла в холодильнике

горшок приготовленного ею соуса для спагетти, чтобы я мог перекусить в ожидании ужина. Она научила меня варить макароны и проверять их на готовность, бросая макаронину в стену.

К тому времени я уже сам начал зарабатывать. В 1987 году, когда мне было пятнадцать, я выступил в состязании триатлонистов в Лейк-Лэвоне, где участвовали значительно более опытные спортсмены. Я занял тридцать второе место, буквально шокировав других участников и зрителей, которые не могли поверить, что 15-летний подросток способен выдержать такое испытание. На меня обратила внимание и освещавшая гонку пресса. Тогда я сказал репортеру: «Думаю, что через несколько лет я поднимусь к вершине, а лет через десять стану самым лучшим». Мои друзья, Стив Льюис в том числе, сочли мои слова бахвальством. (В следующем году я финишировал пятым.)

В триатлоне платили хорошие деньги. Мой бумажник нежданно-негаданно стал пополняться призовыми чеками, и я старался участвовать во всех соревнованиях, которые только мог найти. Большинство состязаний имели строгие возрастные ограничения — участвовать в них можно было лишь с 16 лет, — поэтому в заявках на участие я указывал липовую дату рождения. В профессиональных состязаниях я, конечно, пока не побеждал, но в первую пятерку попадал раз за разом. Другие спортсмены звали меня Юниором. Но не думайте, что все это давалось мне легко. В одном из первых профессиональных соревнований по триатлону я по неопытности допустил серьезную ошибку: плохо поел перед состязанием, ограничившись двумя булками с корицей и двумя стаканами кока-колы. В итоге я «сдох» — не хватило энергии. Я первым вышел из воды, первым соскочил с велосипеда, но на последнем этапе, во время бега, силы кончились. Мать, уже привыкшая видеть меня в числе лидеров, ждала у финишной черты и не могла понять, куда я запропастился. Не выдержав, она пошла навстречу и встретила меня на дистанции. Я едва держался на ногах.

— Ну давай, ты же можешь, — принялась уговаривать она.

— Я выдохся, — сказал я. — Нет никаких сил.

— Понимаю, — сказала она.

— Но сходить с дистанции все равно нельзя. Даже если тебе придется идти к финишу шагом.

И я дошел шагом. Я начал обретать известность и среди местных велогонщиков. По вторникам на образующей петлю вокруг пустующего поля старой дороге они про-водиди кольцевые шоссейные гонки. Эти состязания были очень популярны среди серьезных велосипедных клубов местного масштаба и собирали

Довольно большую толпу болельщиков. Я выступал за клуб, спонсируемый владельцем велосипедного магазина «Richardson Bike Mart» Хойтом, и мама купила мне ящик для инструментов, чтобы я мог Держать там все велосипедные запчасти и принадлежности. Она говорит, что до сих пор помнит, как я крутил петлю за петлей вокруг поля, обгоняя других ребят. Мама не могла нарадоваться, видя мою силу. А я был готов крутить педали из последних сил, чтобы завоевать приз, даже если он составлял несчастные 100 долларов.

В велоспорте гонки различаются по категориям, в зависимости от степени мастерства участников: в гонках 1-й категории участвуют самые сильные спортсмены, авгонках4-й — начинающие. Естественно, впервое время я состязался в 4-й категории, но мне очень хотелось подняться выше. Чтобы попасть на соревнования более высокой категории, нужно было показать результаты, выиграть определенное количество гонок. Но я был слишком нетерпелив и уговорил организаторов допустить меня к участию в гонке 3-й категории, где выступали велосипедисты постарше и поопытнее. Организаторы сказали мне: «Хорошо, но только не выигрывай». Дескать, если я привлеку к себе слишком много внимания, может подняться шум из — за того, что мне позволили обойти требования, касавшиеся перехода в другую категорию.

Я выиграл. Не смог сдержаться. Обошел всех. Разгорелся спор, что со мной делать. Кто-то предлагал меня дисквалифицировать. Но поступили наоборот — меня «повысили». Случилось так, что все четверо гонщиков 1-й категории, местные герои, выступали за команду Хойта, и я начал тренироваться с ними — 16-летний пацан с солидными мужчинами под тридцать.

Став в триатлоне «новичком года» общенационального масштаба, я понял, что мое будущее — в спорте. Я зарабатывал примерно 20 тысяч долларов в год и завел целую картотеку деловых знакомств. Мне нужны были спонсоры, которые брали бы на себя мои авиаперелеты на соревнования и прочие расходы. Мать говорила мне: «Послушай, Лэнс, если тебе суждено чего-то достичь, ты достигнешь этого своими силами, потому что никто за тебя этого не сделает».

Мать была моим лучшим другом и самым надежным союзником. Она организовывала и стимулировала меня, придавала мне энергии. «Если не будешь выкладываться на 110 процентов, успеха не будет», — внушала она мне.

Она привнесла в мои тренировки свой организационный талант. «Послушай, я не знаю, что тебе нужно, — говорила она. —

Поэтому сядь и подумай, все ли ты собрал, чтобы не получилось так, что ты прибудешь на место и обнаружишь, что чего-то не хватает». Я гордился ею, и мы были очень похожи; мы понимали друг друга с полуслова, так что нам не приходилось много говорить. Мы просто читали мысли друг друга. Она всегда находила возможность купить мне велосипед новейшей модели или дополнительные аксессуары. У нее, кстати, до сих пор хранятся замененные мною педали и прочие детали, потому что они стоили так дорого, что у матери не хватало духу выбросить их.

Мы и на соревнования ездили вместе — на 10 — километровые забеги и состязания по триатлону. Мы уже начали думать, что я мог бы стать олимпийцем. Счастливый серебряный доллар был по-прежнему при мне, и на этот раз мать подарила мне брелок с цифрами «1988» — годом следующих летних Олимпийских игр.

Каждый день после школы я совершал 10-километровую пробежку, а потом садился на велосипед и весь вечер тренировался. На этих тренировках я научился любить Техас. Природа его, при всем своем унылом однообразии, прекрасна. Едешь по проселкам среди обширных пастбищ и хлопковых полей — и видишь вокруг лишь водонапорные башни, зерновые элеваторы и полуразрушенные сараи. Трава вся выедена скотом, а земля похожа на то, что остается на дне давно не мытой кофейной чашки. Иногда взору открываются холмистые цветочные луга и одинокие мескитовые деревья самых причудливых форм. Но большей частью техасская природа — это просто желтобурого цвета прерия, где лишь время от времени попадаются автозаправочные станции, а так — всюду поля, поля, поля, поросшие бурой травой или засеянные хлопком. Плоско, пусто — и ветрено. Даллас вообще считается одним из самых ветреных городов. Но меня это вполне устраивало. Сопротивление силы воздуха.

Однажды на дороге меня сшиб грузовик. К тому времени я уже знал символику среднего пальца и показал его водителю. Тот резко остановился, швырнул в меня пустую канистру и погнался за мной. Я побежал, бросив свой «Mercier» на обочине. Разъяренный водитель растоптал его. Но когда он уезжал, я запомнил его номер. Мама подала на шофера в суд — и выиграла. Взамен покореженного она купила мне новый велосипед, «Raleigh» с гоночными колесами.

Тогда на велосипеде у меня еще не было одометра, поэтому, когда мне нужно было знать протяженность маршрута, матери приходилось проезжать его на машине. Когда бы я ни просил ее

измерить расстояние, она безропотно садилась в машину и ехала за мной, даже если дело было к ночи. Это для меня 50 лишних километров не крюк, но для женщины, которая только что измученная вернулась с работы, это было не так легко. Но она не жаловалась.

Мы с матерью были предельно откровенны друг с другом. Она доверяла мне полностью. Я делал, что хотел, и, интересно отметить, что бы ни делал, всегда ей рассказывал. Я никогда ее не обманывал. Если мне хотелось подольше погулять, никто меня не останавливал. В то время как большинству детей приходилось убегать на вечерние прогулки тайком, я выходил через парадную дверь.

Возможно, я несколько злоупотреблял ее доверием. Я был гиперактивным ребенком и легко мог попасть в беду. В Плано хватает широких бульваров и полей, так и заманивающих в неприятности подростка на велосипеде или за рулем автомобиля. Я носился по городским проспектам, увертываясь от машин и проскакивая светофоры, и доезжал таким образом до самого центра Далласа. Мне нравилось кататься по городу с интенсивным движением — это было настоящим испытанием.

Мой новый и такой красивый «Raleigh» оставался у меня очень недолго — вскоре я искорежил его и чуть не погиб сам. Это случилось во время одной из таких поездок по городу, когда я пытался угнаться за светофорами. Мне удалось проехать на зеленый свет пять светофоров подряд, но, когда я подъезжал к гигантскому перекрестку двух шестиполосных магистралей, зеленый свет сменился желтым.

Я решил проскочить — как проскакивал всегда… до этого случая.

Я уже пересек три полосы, когда загорелся красный. Пересекая четвертую полосу, я краем глаза увидел женщину в «Ford Bronco». Она меня не видела, поэтому нажала на газ — и врезалась в меня.

Я полетел головой вперед через дорогу. Шлема у меня не было. Я приземлился на голову и откатился к тротуару.

Я был один и к тому же без документов. Я попытался подняться. Но меня уже окружила толпа, и кто-то сказал: «Нет-нет, не шевелись!» Так я лежал и ждал «скорую помощь», а дама, сбившая меня, тряслась в истерике. Прибывшая машина «скорой помощи» отвезла меня в больницу. Я был в состоянии назвать номер домашнего телефона, и они позвонили матери, которая тоже впала в истерику. У меня диагностировали сотрясение мозга и наложили на голову и на ногу с зияющей раной несколько швов, а на вывихнутое колено — шину. Что же касается

велосипеда, то он превратился в груду металлолома.

Я объяснил лечившему меня врачу, что готовлюсь к соревнованию по триатлону, которое должно пройти через шесть дней в Луисвилле. Доктор ответил: «И думать об этом нечего. Ты не сможешь ничем заниматься три недели. Ни бегать, ни даже ходить».

Больницу я покинул на следующий день, прихрамывая, морщась от боли и с горечью думая о предстоящем периоде бездействия. Но, посидев пару дней дома, я ужасно заскучал и пошел немного поиграть в гольф, несмотря на шину на ноге. Движение наполнило меня бодрящей энергией. Я снял шину с ноги. «Не так уж все и плохо», — подумалось мне.

На четвертый день я уже забыл о происшествии. Самочувствие было отличное. Я записался на участие в соревновании и сообщил об этом матери:

— Я буду участвовать.

Она сказала лишь:

— Хорошо.

Я позвонил другу и попросил у него велосипед. Потом отправился в ванную и снял с ноги швы. На голове швы я решил оставить, поскольку они все равно будут прикрыты купальной шапочкой. Потом я прорезал дыры в обуви, чтобы не натирало рану на ноге.

На следующий день рано утром я уже стоял на линии старта. Из воды я вышел первым. Первым спрыгнул с велосипеда. В беге на 10 километров финишировал третьим. Днем позже в местной газете вышла большая статья о том, как меня сбила машина и как это не помешало мне занять третье место. Неделю спустя мы с матерью получили письмо от доктора. «Не могу поверить», — писал он.

Ничто, казалось, не могло заставить меня сбавить темп. Я люблю скорость во всех ее проявлениях, и еще в подростковом возрасте воспылал страстью к скоростным автомобилям. На призовые, полученные на соревнованиях по триатлону, я первым делом купил себе подержанный красный «Fiat», на котором гонял по Плано — без прав.

Однажды, будучи уже в 11-м классе, я проявил настоящее мастерство в области вождения, которым мои друзья восхищаются до сих пор. С несколькими одноклассниками я ехал по двухрядной улице, когда на нашем пути оказались два каких-то тихохода.

Я нетерпеливо нажал на педаль газа. Мой «Fiat» проскочил между впереди идущими машинами. Проскочил впритирку; щель между машинами была такова, что можно было протянуть руку и

сунуть палец в раскрытые от изумления рты других водителей.

Я выезжал на машине по вечерам, что без сопровождения взрослых было запрещено. Как-то под Рождество я подрабатывал в магазине игрушек «Toys «Я» Us», помогая клиентам донести покупки до машины. Стив Льюис нашел похожую работу в «Target». Мы оба работали в вечернюю смену, поэтому наши родители позволяли нам добираться до места на машинах. Зря они нам позволяли. Мы со Стивом устраивали гонки, выжимая на городских улицах до 130–140 километров в час.

У Стива был «Pontiac Trans Am», а я к тому времени сменил «Fiat» на «Camaro» IROC Z28 — это была не машина, а зверь. Я был уже в том возрасте, когда машина для меня значила больше, чем что-либо другое. Джим Хойт помог мне купить ее, подписав документы о покупке в кредит, и я выплачивал все ежемесячные взносы и страховку. Это была скоростная машина, и щмый от времени по вечерам мы выезжали на длинный прямой участок Форест-лейн, где при ограничении скорости в 70 километров в час мы разгонялись до 180–190.

У меня было два круга друзей: товарищи по школе, с которыми я кутил, и друзья — спортсмены — велогонщики, бегуны и троеборцы, многие из которых были уже зрелыми мужчинами. Со стороны школьных товарищей, занимавших более высокое социальное положение, существовал определенный прессинг, но тягаться с ними по стилю жизни мы с матерью все равно не могли, поэтому даже не пытались. В то время как другие дети разъезжали на дорогих машинах, подаренных родителями, я ездил на том, что купил за свои кровные.

И все- таки временами я чувствовал себя изгоем. Я был парнем, который занимается не тем спортом и носит одежду не тех фирм, что большинство. Кто-то из моих приятелей как-то сказал мне: «Я бы на твоем месте постеснялся носить эти шорты с лайкрой». Я лишь пожал плечами. В обществе существовал неписаный дресс-код: все «приличные» люди должны были ходить в униформе с лейблом «Polo». Может, они и не догадывались об этом, но их одежда была именно униформой. Одинаковые брюки, обувь, ремни, бумажники, головные уборы. Б общем, полное единообразие — и я был категорически против.

Как- то осенью, уже заканчивая школу, я при. нял участие в важной юниорской велогонке на время в Мориарти, штат Нью-Мексико. Условия гонки были идеальные, чтобы показать отличное время: 19 километров по прямой, ровной дороге при очень слабом ветре. Маршрут пролегал по шоссе, и мимо то и дело проносились грузовики, обдавая нас волной горячего воздуха. Молодые гонщики ехали туда бить рекорды и заявить о

себе.

Стоял сентябрь, но в Техасе было еще жарко, поэтому я много вещей не брал. Утром в день гонки я встал в 6:00 и отправился на тренировку. Меня обдало холодной свежестью горного воздуха. Все, что было на мне из одежды, — это лишь шорты и гоночная майка с короткими рукавами. Проехав пять минут, я буквально окоченел от холода и понял, что долго так не выдержу. Я вернулся в номер.

— Мама, на улице так холодно, что я не могу ехать. Мне нужна куртка или что-нибудь такое.

Мы порылись в нашем багаже, но ни одной теплой вещи не нашли. Я ничего с собой не привез. Я оказался совершенно неподготовлен — вел себя как последний любитель.

Мама сказала:

— Возьми хотя бы мою ветровку.

Она вытащила из сумки свою маленькую розовую курточку. Я уже говорил вам, какой невысокой и худенькой была моя мать. Куртка выглядела как снятая с детской куклы.

— Я возьму ее, — сказал я. Так я замерз.

Я отправился на тренировку. Рукава куртки едва доходили мне до локтей, и она вообще была мне мала, но я не снимал ее все 45 минут разминки. В ней же я прибыл в зону старта. В гонке на время чрезвычайно важно быть разогретым, потому что, когда говорят: «Марш!», у тебя нет времени на раскачку, ты должен быть готов стартовать и мчаться изо всех сил все 19 километров. Но мне было холодно даже в куртке.

В отчаянии я сказал:

— Мама, заведи машину и включи печку наполную мощность.

Она завела машину, включила печку. Я влез в салон.

— Скажешь, когда подойдет мое время стартовать, — сказал я матери. Так я разогревался перед стартом.

Наконец подошла моя очередь. Я вылез из машины и сел в седло. Подъехал к линии старта — и в путь. Тогда я улучшил рекорд трассы на 45 секунд.

Те вещи, которые были важны для жителей Плано, для меня начинали иметь все меньше и меньше значения. Школа и праздные развлечения отошли на второй план. Главным была только моя цель — стать спортсменом мирового класса. Обладание домиком у дороги рядом с сельским магазином не отвечало моим амбициям. У меня была скоростная машина и в бумажнике водились деньги, и все это пришло благодаря победам в спорте, в котором никто из моих товарищей по школе ничего не понимал и которым совершенно не интересовался.

Мои тренировочные заезды становились все более

продолжительными. Иногда мы компанией отправлялись в турпоход или покататься на озере на водных лыжах, и если все возвращались оттуда на машинах, то я в полном одиночестве ехал домой на велосипеде. Однажды после такого турпохода мне пришлось ехать домой почти 100 километров — от самого Тексома.

Даже учителя в школе, казалось, не понимали, чем я занимаюсь. Во время второго семестра в выпускном классе Федерация велоспорта США пригласила меня приехать в Колорадо-Спрингс на сбор юниорской национальной команды, а потом отправиться на первые в моей жизни международные соревнования — юниорский чемпионат мира 1990 года в Москве. Они, видно, прослышали о моем выступлении в Нью-Мексико.

Но администрация школы возражала. У них была строгая политика: никаких неоправданных отлучек. Вы скажете, что моя поездка в Москву принесла бы школе известность и что она должна была бы гордиться тем, что один из ее выпускников в перспективе может стать участником Олимпийских игр, но они так не считали.

Впрочем, я все равно поехал в Колорадо-Спрингс, а потом — и в Москву. Для уровня юниорского чемпионата я был еще дилетантом; я был сгустком сырой энергии, но не имел представления о тактике и не умел рассчитывать темп. Несколько кругов я лидировал, а потом увял, растратив силы в слишком ранней атаке. Тем не менее на федерацию впечатление мне произвести удалось, а русский тренер всем говорил, что я самый лучший юный гонщик, каких он видел за годы своей карьеры.

Я был в отъезде шесть недель. Вернувшись в марте, я узнал, что из-за пропущенных уроков мне были выставлены сплошные нули. Комиссия из шести администраторов школы пригласила на встречу меня и мою мать, и нам было сказано, что, если я в ближайшие недели не ликвидирую задолженность по всем предметам, мне не выдадут аттестат. Мы с мамой были ошеломлены.

— Но я никак не успею сделать это за столь короткое время, — сказал я им.

Разжалобить их не удалось.

— Но ты ведь не пасуешь перед трудностями, — язвительно произнес один из членов комиссии.

Я в упор посмотрел на них. Я прекрасно понимал, что, если бы я играл в футбол, носил рубашку-поло и мои родители были членами загородного клуба Аос-Риоса, отношение ко мне было бы совсем другим.

— Заседание окончено, — сказал я.

Мы с матерью встали и ушли. У нас уже были оплачены участие в официальной церемонии и на выпускном балу, куплен академический костюм — мантия с головным убором. Мама сказала мне: «Оставайся в школе до окончания уроков, а я все устрою раньше, чем ты вернешься домой».

Она вернулась к себе в офис и обзвонила все частные школы Далласа, какие только нашла в телефонном справочнике. Она просила, чтобы они приняли меня, а потом признавалась, что не в состоянии платить за обучение, так не возьмут ли они меня бесплатно? «Он неплохой мальчик, — умоляла она. — Наркотики не употребляет. Уверяю вас, он очень способный».

К концу дня ей удалось найти частное учебное заведение, куда меня согласились принять при условии, что я буду брать дополнительные уроки. Аттестат я получил вовремя. На торжественной церемонии у всех моих новых одноклассников на головных уборах были каштановые кисточки, а у меня — золотая, из Плано-Ист, но меня это нисколько не смущало.

Что касается выпускного бала, то я решил провести его в своей прежней школе. Мы уже заплатили за участие, и я не собирался отказываться от своего права. Я купил букетик цветов для своей девушки, взял напрокат смокинг и арендовал лимузин. В тот вечер, надев смокинг и повязав бабочку, я вдруг подумал: «Мама никогда не ездила на лимузине».

Я хотел, чтобы она восполнила этот пробел в своей жизни. Как выразить матери все свои чувства к ней и как отплатить за все, чем ты ей обязан?

Мать дала мне в жизни больше, чем мог бы дать любой учитель или отец, если бы он был, и делала она это долгие трудные годы, годы, которые должны были казаться ей такими же пустыми, как бурые поля Техаса. Она никогда не сдавалась, не беспокоилась о том, как она выглядит со стороны, стиснув зубы доводила все до логического завершения; я мог только мечтать о силе духа и стойкости моей матери, одинокой женщины с юным сыном и маленькой зарплатой, которая не ждала за все свои тяготы и лишения никаких наград, призов или лавров. Она находила утешение в своей материнской любви. Всякий раз, когда она повторяла: «Превращай препятствия в благоприятные возможности, негатив — в позитив», я понимал, что она говорила обо мне, о своей решимости во что бы то ни стало вывести меня в люди.

— Надень свое выходное платье, — сказал я ей.

У моей мамы было чудесное платье, которое она именовала «выходным». Она надела его и села в машину рядом со мной и моей подружкой, и мы катались по городу больше часа, смеясь и

провозглашая тосты за мое окончание школы, пока не по — дошло время бала.

Мама вновь обрела свое счастье в личной жизни. Когда мне было семнадцать, она познакомилась с мужчиной по имени Джон Уоллинг, очень хорошим человеком, за которого впоследствии вышла замуж. Мне нравился этот человек, с которым мы стали хорошими друзьями, и я очень жалел, когда в 1998 году они разошлись.

Это забавно. Когда знакомые говорят: «Я на днях видел твоего отца», мне приходится задумываться: «Кою именно они имеют в виду?» Это может оказаться любой из трех мужчин, но своего «родного» отца я и в лицо не знаю, а о Терри далее говорить не хочу. Случается, кто-то из Армстронгов пытается связаться со мной, как будто мы родственники. Но мы не родственники, и я хочу, чтобы они уважали мои чувства на этот счет. Моя семья — Мунихэмы. А что касается Армстронга, то эту фамилию я считаю своим псевдонимом.

Я уверен, что Армстронги привели бы вам 50 тысяч доводов в пользу того, как мне нужен отец и как много они для меня сделали. Но я не согласен. Все, что у меня есть, дала мне мать. А им я не верю.

Несколько месяцев после окончания школы я оставался в Плано. Большинство моих одноклассников по Плано-Ист поступили в университеты. Мой приятель Стив, например, в 1993 году окончил Университет Северного Техаса. (Не так давно в Плано-Ист проходила 10-я встреча выпускников. Меня не пригласили.)

Жизнь в Плано меня все более тяготила. Я участвовал в велогонках по всей стране как член команды «Subaru-Montgomery», но понимал, что главные поля велосипедных сражений находятся в Европе, и мне хотелось попасть туда. После того, как со мной обошлись в выпускном классе, местное общество вызывало у меня еще большее отвращение.

Я оказался в каком-то подвешенном состоянии. Мне негде было развернуться. На соревнованиях местного масштаба я регулярно побеждал не только сверстников, но и взрослых соперников — ив триатлоне, и в беге на 10 километров, и на вторничных велогонках. В перерывах между соревнованиями я много времени проводил в магазине Джима Хойта.

В юности Джим был неплохим велогонщиком, но в 19 лет его послали во Вьетнам, и он два года отслужил там в пехоте, в тяжелейших условиях. Вернувшись домой, он мечтал лишь о велоспорте. Чтобы заработать на жизнь, он открыл собственый веломагазин как дилер компании «Schwinn». Многие годы Джим и

его жена Ронда спонсировали юных велосипедистов в окрестностях Далласа, обеспечивая их велосипедами и снаряжением и выплачивая им стипендии. Джим верил в материальные стимулы. Он считал, что, соревнуясь за деньги и бесплатное снаряжение, мы будем больше стараться и показывать лучшие результаты. Весь последний год в школе, выступая за команду Джима Хойта, я зарабатывал 500 долларов в месяц.

В глубине магазина у Джима был небольшой кабинет, где мы любили посидеть и поговорить. Я не обращал внимания на увещевания школьного начальства или своих отчимов, но к мнению Джима прислушивался. «У меня тяжелая работа, — говорил он, — но мне нравится то место, которое я занял в жизни. Если ты судишь о людях по деньгам, то в жизни тебе нужно еще очень многому научиться, потому что у меня есть друзья, которые владеют собственными компаниями, и есть друзья, которые стригут газоны». Но Джим был тоже не подарок; шутки с ним были плохи. И я уважал его характер.

Во время одной из вторничных гонок я вступил в спринтерскую дуэль с гонщиком, который был несколько старше меня и которого я недолюбливал. Когда мы выехали на финишную прямую, наши велосипеды сцепились. Мы пересекли финишную черту, толкаясь, и оба упали на землю. Не поднимаясь, мы вцепились друг в друга и принялись кататься в пыли. Наконец нас разняли, но я под всеобщий смех рвался продолжить драку. Джима, однако, мое поведение отнюдь не развеселило: таких вещей он в своей команде не допускал. Он подошел к моему велосипеду, поднял его и укатил.

Мне было очень жалко терять этот велосипед. Это был «Schwinn Paramount», который был у меня на московском чемпионате и на котором я рассчитывал неделей позже участвовать в многоэтапной велогонке. Немного выждав, я отправился к Джиму домой.

— Можно мне забрать велосипед? — спросил я.

— Нет, — ответил он. — Если хочешь поговорить, приходи завтра в магазин.

Я отстал. Он был раздражен до такой степени, что, казалось, готов был избить меня. И у него была еще одна причина быть недовольным мной: он знал про мои автогонки на «Camaro».

Несколькими днями позже он забрал у меня и машину. Я был вне себя. Я полностью выплатил за нее кредит, около 5000 долларов. Но часть этих денег я получил в виде стипендии, выступая за его команду. Однако тогда я плохо соображал, гнев помутил мой рассудок. Когда тебе 17 лет и кто-то забирает у тебя «Camaro» IROC Z, то этот человек становится твоим врагом. И я

больше не ходил к Джиму. Я был слишком зол на него и слишком его боялся.

Мы не общались несколько лет. В скором времени я уехал из города. После сборов в Колорадо-Спрингс и юниорского чемпионата в Москве меня взяли в национальную команду США, и мне позвонил новый руководитель сборной Крис Кармайкл. Крис был наслышан обо мне, знал, что я очень силен, но не имею особого понятия о тактике гонок. Крис сказал, что хотел бы подготовить новую группу молодых гонщиков. Этот вид спорта переживал в Америке застой, и Крис искал свежие силы для его обновления. Он назвал нескольких других молодых перспективных велосипедистов, таких как Бобби Джулич и Джордж Хинкэйпи, и сказал, что хочет видеть среди них и меня. Как бы я отнесся к поездке в Европу?

Настала пора выходить в люди.

Глава третья
Я НЕ ОСТАВЛЯЮ СВОЮ МАТЬ ЗА ДВЕРЬЮ

Жизнь велогонщика такова, что, прикованный. к педалям велосипеда часы и сутки напролет, ты пересекаешь целые континенты на скорости от 30 до 60 километров в час. Ты на ходу хлещешь воду и сосешь леденцы, потому что твой организм в таком режиме теряет за день 10–12 литров жидкости и сжигает 6000 килокалорий. Ты не можешь остановиться даже по нужде или чтобы надеть плащ от дождя. Ничто не должно прерывать скоростную шахматную партию, происходящую внутри плотной группы велосипедистов, называемой пелотоном. Поэтому ты мокнешь под дождем, карабкаешься на крутые склоны, виляешь по мокрому асфальту и трясешься по булыжнику, зная, что достаточно одного неверного движения твоего нервного соседа, который слишком резко нажмет на тормоза или слишком круто повернет руль, чтобы превратить| твой велосипед в кучу искореженного металла, а тебя-в груду кровоточащей плоти.

Тогда я не знал, во что ввязался. Покинув дом в 18 лет, я представлял себе велогонки как «садись в седло и крути педали». Ко мне с первых же дней приклеился ярлык выскочки, он и впоследствии оставался со мной, быть может, незаслуженно. Я был очень молод, и мне многому нужно было научиться. Я говорил и делал много такого, чего не следовало бы, но выскочкой я никогда не был. Я был просто техасцем. «Toro de Texas», как именовала меня испанская пресса.

Во время своей первой крупной международной гонки я делал все то, что мой тренер говорил мне не делать. Это было на любительском чемпионате мира 1990 года в японском городе Уцуномия. Гонка была на 185 километров с затяжным подъемом. Дело усугублялось тем, что день был очень жаркий: около 35 градусов. Я выступал за национальную команду США, которой руководил Крис Кармайкл, молодой веснушчатый блондин, которого я тогда еще не очень хорошо знал — и не слишком внимательно слушал.

Крис дал мне строгие инструкции: большую часть гонки я должен был держаться в конце основной группы и, прежде чем предпринимать какие-либо действия, ждать его сигнала. Было слишком жарко, и трасса была слишком тяжелой, чтобы пытаться бездумно рваться в лидеры и служить для остальных ветровым

стеклом. Умнее было держаться до поры до времени в тени и беречь силы.

— Я хочу, чтобы ты выжидал, — сказал мне Крис — И не вылезай вперед, там ветер.

Я кивнул и поехал на старт. В течение первого круга я делал то, что мне сказал тренер, держась почти последним. Но долго сдерживаться не смог; мне хотелось проверить свои ноги. Я начал выдвигаться вперед. На втором круге вышел в лидеры, и на очередной точке контроля мой отрыв составлял уже 45 секунд. Проезжая мимо Криса, я взглянул на него. Он отчаянно раскинул руки, словно говорил мне: «Что же ты делаешь?»

Я ухмыльнулся и помахал рукой с оттопыренными указательным пальцем и мизинцем — «техасскими рогами». Мы их забодаем.

Крис принялся орать на весь штаб американской сборной: «Что он делает?!»

А что я делал? Я просто ехал. Это был ход, который впоследствии стал известен как «классический ранний Армстронг»: своевольная, преждевременная и очевидно неблагоразумная атака. Я проехал в гордом одиночестве еще три круга, оторвавшись на полторы минуты. Я был очень доволен собой, но жара взяла свое. Вскоре меня догнали остальные гонщики. Оставалась еще половина дистанции, а я уже изнемогал. Я все еще пытался держаться впереди, но сил уже не оставалось. Истерзанный жарой и подъемами, я финишировал одиннадцатым.

Тем не менее это был лучший результат, когда-либо показанный американцем на данной трассе. И когда гонка завершилась, Крис был скорее доволен, чем рассержен. Вечером мы пошли в бар отеля, чтобы выпить пива и пообщаться. Я не был уверен в своих чувствах к Крису. Когда я только приехал из Плано, он разделил сборную на две группы и мне отвел место в группе «В». Я еще не совсем простил ему это проявление пренебрежения. Мне еще предстояло узнать, что его внешне неуважительная манера общения с лихвой компенсировалась братской верностью и необычайной тренерской мудростью. В свое время он участвовал в Олимпийских играх и был в одной команде с Грегом Ле-мондом.

Мы потягивали пиво и вспоминали события прошедшего дня, посмеиваясь над ними. Вдруг Крис стал серьезным. Он поздравил меня с одиннадцатым местом и сказал, что ему понравилось то, что он увидел.

— Ты не боялся проиграть, — сказал он. — Ты не отвлекался на дурацкие мысли типа «А вдруг меня догонят?».

Я радостно внимал похвалам. Но Крис добавил:

— Разумеется, если бы ты понимал, что делаешь, и берег силы, ходил бы сейчас с медалью. Вот тебе и раз. Я продемонстрировал лучший результат, когда-либо показанный американцем до меня, а для Криса это было недостаточно хорошо. Фактически он исподволь намекал мне, что я провалил гонку.

— Я серьезно, — продолжал он. — Ты мог выступить гораздо лучше. Уверен, что ты способен стать мировым чемпионом. Но для этого надо еще много работать.

Крис объяснил мне, что лучшие гонщики мира, все эти Марко Пантани, Мигели Индурайны, по силе и выносливости мне не уступают, а то и превосходят.

— То же самое можно сказать обо всех, с кем тебе предстоит соревноваться на этом уровне. Так что обойти их можно лишь за счет тактики.

Мне предстояло научиться искусству велогонок, а как этому учиться, если не верхом на велосипеде? В том году я провел вдали от родины, в заморских странах, 200 дней. Я объездил всю Европу, потому что проверить свои силы ты можешь лишь непосредственно на состязаниях. Только так ты можешь узнать, научился чему-нибудь или нет.

В Америке же я поселился в Остине, в холмистой части Техаса, на берегу озера, окруженного скалами, заросшими темно-зеленой растительностью, и питаемого бурными водами реки Колорадо. В Остине никого не волновало, в какой одежде я хожу и к какому кругу принадлежу. Там вообще не встретишь двух одинаково одетых людей, а многие местные богачи выглядят как бродяги. Этот город кажется созданным для молодежи, с постоянно пополняемыми и обновляемыми рядами баров и музыкальных клубов на Шестой улице и забегаловками с мексиканской кухней, где разнообразия ради можно вкусить чего-нибудь острого.

Это, ко всему прочему, отличный город для тренировок, с бесконечными велосипедными дорожками и широкими трассами. Я снял небольшое бунгало близ кампуса Университета штата Техас — не для учебы, конечно, а для тренировок.

Велогонки, как я узнал, — очень сложный, полный интриг и гораздо более командный вид спорта, чем это выглядит со стороны. В этом спорте свой собственный язык, составленный из разных европейских слов и фраз, а также собственная — и весьма своеобразная — этика. В любой команде у каждого гонщика своя работа и каждый отвечает за ту или иную часть гонки. Самые медлительные гонщики именуются «прислугой», потому что им

достается самая неблагодарная работа — «тащить» остальных на подъеме («тащить» на велосипедном жаргоне означает закрывать собой остальных от ветра) и защищать лидера команды в различных сложных ситуациях этапа. Лидер команды — это главный гонщик, более других способный набрать скорость на финишном отрезке пути, имея за спиной 250 километров. Начинал я «прислугой», но постепенно выбился на роль лидера.

Я многое узнал о пелотоне — массивной группе гонщиков, где сосредоточена основная масса участников. Зрителям она представляется (когда проезжает мимо) пестрым, пульсирующим и жужжащим пятном, но внутри этого расплывчатого разноцветного пятна ежесекундно происходят стычки рулями, локтями, коленями, международного уровня интриги и сделки. Скорость пелотона варьируется. Когда все спокойно, эта толпа движется со скоростью 30 километров в час; гонщики неторопливо крутят педали и переговариваются. Бывает же, что от пелотона отрывается небольшая группа, и мы ускоряемся до 60 километров в час. Внутри пелотона между соперниками постоянно ведутся переговоры: ты протащи меня сегодня, я протащу тебя завтра. Уступи-и заведешь себе друга. Разумеется, сделки, компрометирующие тебя или команду, недопустимы, но, если можешь, помоги другому, и он отплатит тебе тем же.

Подобные взаимоотношения между спортсменами для начинающего гонщика могут быть сложны и двусмысленны, а порой и вызывать проблемы, и в начале 1991 года я получил на этот счет хороший, хотя и жестокий урок. Я планировал выступать в качестве любителя до Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, а потом перейти в профессионалы. А тем временем на домашних соревнованиях я продолжал выступать за команду «Subaru- Montgomery». То есть официально я был членом двух команд: на международной арене выступал под флагом американской национальной команды, возглавляемой Крисом Кармайклом, а на внутренних состязаниях — под эгидой «Subaru-Montgomery».

Во время зарубежного турне национальной сборной в течение 1991 года я принял участие, среди прочего, и в престижной гонке «Сеттимана Бер-гамаска». Эта десятидневная гонка проходит по дорогам Северной Италии и открыта как для любителей, так и для профессионалов. Там участвовали некоторые из лучших велогонщиков мира. Никто из американцев никогда эту гонку не выигрывал, но, руководимая Крисом, наша команда была на подъеме, и нам казалось, что мы могли бы добиться успеха.

Была только одна проблема. Команда «Subaru-Montgomery» тоже участвовала в состязании, и я в своей звездно-полосатой

форме оказался соперником гонщиков, которых привык считать своими товарищами по команде.

На первых этапах гонки общее лидерство захватил гонщик «Subaru-Montgomery» и мой друг Нейт Риз. Но я тоже был в хорошей форме и шел за ним по пятам. Я ликовал. Мне казалось, что лучше и быть не может: мы, друзья-соперники, возглавляем гонку. Но руководитель команды «Subaru-Montgomery» так не считал. Ему не нравилось, что я составляю конкуренцию Нейту, и он ясно дал мне это понять. В перерыве между этапами он вызвал меня к себе. «Ты должен работать на Нейта», — сказал он. Я непонимающе уставился на него. Неужели он действительно ждал от меня, что я возьму на себя роль «прислуги» Нейта? Но он имел в виду именно это. «Не атакуй». Слова звучали как приказ. После этого он прямо объяснил мне, что я обязан дать Нейту выиграть.

Я был всецело предан национальной команде. По сравнению с остальными командами мы были как бедные родственники — разношерстная компания, приютившаяся в крошечном отеле по трое в номере и не получавшая никаких денег. Наш бюджет был столь скуден, что Крис каждый вечер мыл наши фляги («бачки») из-под воды и использовал их снова и снова, в то время как наши соперники из профессиональных команд, в том числе и «Subaru-Montgomery», выбрасывали свои уже после однократного использования. Если бы я выиграл «Сеттимана Бергамаска», это стало бы большой победой американского велоспорта и государственной программы его развития. Но руководитель моей профессиональной команды приказал не высовываться.

Я пошел к Крису и признался ему, что менеджер «Subaru-Montgomery» запрещает мне особенно усердствовать. «Лэнс, — сказал мне Крис. — Эта гонка важна прежде всего для тебя самого. Ты не можешь не атаковать. Это твоя гонка. Ты должен ее выиграть».

На следующий день я крутил педали как проклятый. Только представьте: пелотон из ста человек начинает крутой подъем. Постепенно пятьдесят человек отстают, потом еще двадцать, еще десять. Впереди остаются 15–20 гонщиков. Это гонка на истощение. Но ты атакуешь, начинаешь ускорять темп. Те, кто не способен поддерживать такой темп, тоже отстают. В этом, в общем-то, и состоит суть велогонок.

Но от меня ждали другого — я должен был обеспечить победу Нейту. Чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что об этом не может быть и речи. Я говорил себе: «Если он достаточно силен, чтобы угнаться за мной, — пожалуйста. Но если он отстанет, я его ждать не буду». Он отстал. И я ждать не стал.

На этом этапе я победил и надел желтую майку лидера. Нейт

отстал от меня минут на двадцать. Менеджер команды «Subaru-Montgomery» был в ярости и после этапа набросился на меня и Криса.

— Что это ты делаешь? — спросил он у меня.

Крис встал на мою защиту.

— Это же велогонка, — сказал он. — В ней участвуют, чтобы победить.

Мы разошлись, но я был очень расстроен. С одной стороны, мне казалось, что менеджер моей профессиональной команды предал меня, а с другой- я сам мучился чувством вины из-за этого конфликта лояльности. Тем вечером мы с Крисом сели и поговорили по душам.

— Послушай, — сказал мне Крис- Если тебе говорят, что ты не должен атаковать, значит, этим

людям наплевать на тебя. Это же историческая гонка. Ни один американец никогда ее не выигрывал.

Если ты победишь в состязании с лучшими гонщиками мира, это станет отличным трамплином для твоей карьеры. Кроме того, не забывай, что ты

представляешь национальную сборную Соединенных Штатов. Если ты не покажешь лучшее, на что

способен, как это будет выглядеть?

На мой взгляд, это должно было выглядеть хуже некуда: «Простите меня за то, что я вышел в лидеры, я больше не буду — ведь я должен пропустить вперед другого парня, потому что он профессионал». Я не мог пойти на это. Но меня тревожило, что руководитель «Subaru-Montgomery» попытается злословием в мой адрес помешать моему будущему в качестве профессионала.

Крис сказал:

— Не тревожься. Просто делай то, что считаешь правильным. Если ты выиграешь эту гонку, в профессиональном спорте тебя примут с распростертыми объятиями.

Мне захотелось поговорить с матерью. Чтобы позвонить в Штаты, нужно было набрать огромное количество цифр, но я наконец дозвонился.

— Как дела, сынок? — спросила мама.

Я объяснил ситуацию. Расстроенный, я говорил, заикаясь.

— Мама, я не знаю, что мне делать. Я в числе лидеров, но менеджер «Subaru» требует, чтобы я помог победить Нейту Ризу.

Мать выслушала меня, а потом сказала:

— Лэнс, если ты чувствуешь, что можешь выиграть гонку, — выигрывай.

— Думаю, что могу.

— Тогда черт с ними. Выигрывай. Не давай ни кому запугать

тебя. Пригни голову — и вперед.

Так я и сделал. Как лидер я популярностью не пользовался — не только у команды «Subaru- Montgomery», но и среди итальянских болельщиков «Subaru-Montgomery», которым так не нравилось видеть впереди американца, что они сыпали на дорогу битое стекло и кнопки, надеясь, что я проколю колеса. Но по мере приближения гонки к финишу итальянцы стали относиться ко мне теплее, и на финишной черте уже приветствовали меня радостными криками.

Я выиграл. Я сделал это, обеспечив американской команде победу в европейской гонке. Наша команда была в экстазе, как и Крис. Когда я после награждения сошел с пьедестала, Крис произнес слова, которые навсегда остались у меня в памяти:

— Однажды ты выиграешь «Тур де Франс». Велоспорт приносит молодому гонщику больше разочарований, чем наград. После Олимпиады я, как и планировал, перешел в профессионалы — и первую же гонку в новом качестве закончил последним.

Мое выступление на Играх в Барселоне нельзя было назвать успешным: в шоссейной гонке я финишировал четырнадцатым, но мне каким-то образом удалось произвести впечатление на одну из самых влиятельных фигур в американском велоспорте — человека по имени Джим Очович, который решил рискнуть и заключил со мной контракт.

Оч, как все его называли, был руководителем команды, которая состояла преимущественно из американских гонщиков и которую спонсировала компания «Motorola». Оч был одним из пионеров американского профессионального велоспорта: еще в 1985 году он организовал подобную, преимущественно американскую, команду и доказал, что гонщики из США способны на равных соперничать в этом традиционно европейском виде спорта. Год спустя, в 1986 году, Грег Лемонд выиграл «Тур де Франс», и эта знаменитая на весь мир гонка вошла и в сознание американцев.

Оч усиленно занимался подготовкой молодых американских гонщиков, и Крис направил меня к нему. Мы познакомились между этапами «Тур Дюпон» — самой престижной многодневной гонки, проходящей по американской земле. Я отправился для разговора в гостиничный номер Оча, и наша беседа окончилась подписанием контракта. Оч, по сути, заменил мне отца, хотя тогда я этого еще не понимал.

Это был долговязый, неуклюжий мужчина сорока с небольшим лет с вечной широкой улыбкой на лице. Он говорил тихо и легко переходил на смех. Я рассказал ему о своем происхождении и послужном списке, а он объяснил, какого

именно гонщика ищет: он хотел найти молодого американца, который смог бы пойти по стопам Лемонда и выиграть «Тур де Франс». Возглавляемой им команде пару раз удавалось подниматься в этой гонке до четвертого места, но побед еще не было.

Оч спросил, каковы мои собственные амбиции.

— Я хочу стать лучшим в мире гонщиком, — сказал я.

— Я хочу поехать в Европу и выступать как профессионал. Я хочу быть не просто хорошим велосипедистом, а самым лучшим.

Очу это понравилось. Он вручил мне контракт и велел упаковывать вещи для поездки в Европу.

Моей первой гонкой в новом статусе была «Классика Сан-Себастьяна». Хоть ее называют «классикой», на самом деле это совершенно изматывающая однодневная гонка протяженностью более 150 километров, зачастую по таким дорогам, на которых жутко трясет, да еще в ужасную погоду. Эта гонка настолько же жестока, насколько престижна. Сан-Себастьян оказался чудесным приморским городком в Стране Басков, но в день моего дебюта шел дождь, было пасмурно и ужасно холодно. Нет ничего более неприятного, чем ехать на велосипеде под дождем, потому что ты никак не можешь согреться. Майка с лайкрой становится твоей второй кожей. Намокнув под дождем, она намертво приклеивается к телу, и холод, смешавшись с потом, пробирает до самых костей. Мышцы коченеют, тяжелеют, затвердевают и быстро устают.

Дождь в день моего дебюта был такой холодный и колючий, что причинял боль. Уже вскоре после старта, не выдержав этого ледяного и жалящего дождя, я, дрожа от холода и из последних сил пытаясь крутить педали, все же начал отставать и вскоре оказался самым последним. Пелотон впереди меня все редел, поскольку многие гонщики сходили с дистанции. То один, то другой съезжал на обочину и отказывался от дальнейшего участия. Мне хотелось сделать то же самое, надавить на тормоза, распрямить спину и сойти с трассы. Это было бы так просто. Но я не мог — ведь это был мой первый старт в ранге профессионала. Это было бы слишком унизительно. Что обо мне подумали бы товарищи по команде? Я не пасую перед трудностями.

Почему бы просто не сдаться?

«Сынок, никогда не сдавайся!»

С дистанции сошли 50 велосипедистов, но я продолжал гонку. Из 111 участников я пришел самым последним, отстав от победителя почти на полчаса. Пока я карабкался на последний подъем, собравшиеся испанские зрители принялись потешаться надо мной. «Посмотрите на этого бедолагу, который тащится

последним», — услышал я.

Несколько часов спустя я сидел в мадридском аэропорту, ссутулившись в кресле. Мне хотелось бросить этот спорт. Это была самая отрезвляющая гонка в моей жизни. По дороге в Сан-Себастьян я надеялся выиграть, а теперь уже сомневался, стоит ли мне вообще заниматься велоспортом. Как они смеялись надо мной!

Профессиональный велоспорт оказался труднее, чем я думал: темп выше, дистанции тяжелее, конкуренция куда более жесткая, чем я мог себе представить. Я вытащил из кармана стопку неиспользованных авиабилетов. Среди них я нашел обратный билет в Штаты и уже думал воспользоваться им. «Может, мне стоит просто вернуться домой, — думал я, — и найти себе занятие, в котором я больше преуспею?»

Я нашел таксофон, позвонил Крису Кармайклу и рассказал ему о своей печали, о своих сомнениях. Крис молча слушал, а потом сказал:

— Лэнс, из этого опыта ты можешь извлечь для себя больше уроков, чем из любой другой гонки в твоей жизни.

По его словам, я был прав в том, что решил остаться на дистанции и финишировать, ведь тем самым я доказал своим товарищам по команде, что я крепкий боец. Чтобы они могли рассчитывать на меня, они должны знать, что я не из тех, кто сдается. И теперь они знают это.

— Хорошо, — сказал я. — Хорошо, я останусь.

Я повесил трубку и сел в самолет, который доставил меня к месту следующей гонки. У меня было только два дня на передышку, а потом я должен был принять участие в чемпионате Цюриха. Мне нужно было многое доказать, себе и всем остальным, — и если только мое сердце не выскочит из груди, я никогда больше не буду последним.

В Цюрихе я пришел вторым. Я пошел в отрыв с самого начала и оставался впереди практически до конца дистанции. В тактическом плане я плохо понимал, как следовало вести эту гонку, — просто пригнул голову и устремился вперед, а когда поднялся не пьедестал, испытывал не столько радость, сколько облегчение. «Ладно, — говорил я себе, — кажется, я все-таки чего-то стою».

После гонки я позвонил Крису Кармайклу.

«Вот видишь», — сказал мне Крис.

В считанные дни я превратился из подавленного новичка в спортсмена, с которым нужно считаться. Эта метаморфоза вызвала в спортивных кругах большой переполох. «Кто он такой и что из себя представляет?» — хотелось знать людям.

Велогонщика-американца можно сравнить с французской бейсбольной командой, неведомо как попавшей на розыгрыш Мировой серии. Я нахально вторгся в достопочтенный вид спорта, не имея понятия о его правилах, писаных и неписаных, и о свойственном ему этикете. Скажу лишь что мои техасские манеры в Европе пришлись не ко двору.

Пропасть между учтивостью и сдержанностью в поведении европейских спортсменов и американским представлением о соперничестве, когда оппоненты ходят с надутым видом и поливают друг друга грязью, очень велика. Подобно большинству американцев, я рос, не имея ни малейшего понятия о велосипедном спорте. Только после победы Лемонда в «Туре» 1986 года я по-настоящему обратил внимание на этот вид спорта. В нем существуют свои правила поведения и своя психология, которых я не понимал, а когда и понимал, то не считал себя связанным ими. По сути, я их игнорировал.

Я не проявлял уважения к соперникам. Ни малейшего. Я становился в позу, громче всех высказывался, сотрясал воздух кулаками. Я никогда не уступал ни пяди территории. Журналисты любили меня; я был не похож на других, я был ярок, фотогеничен. Но среди спортсменов я постоянно заводил себе врагов.

Дорога не резиновая, она имеет определенную ширину. Гонщики постоянно перемещаются, борясь за место на дороге, поэтому зачастую умнее и дипломатичнее было бы пропустить коллегу. В продолжительнои гонке ты уступаешь в мелочи и заводишь себе друга, который впоследствии может оказаться ох как полезен. Уступи пядь дороги — заведешь себе друга. Я не уступал. Отчасти это было связано с моим тогдашним характером: я еще был очень неуверен в себе, обидчив, раним. Я все еще был парнишкой из Плано, который катил, распираемый обидой и злостью, пригнув голову и не разбирая дороги. Я считал, что не могу позволить себе уступить даже дюйм дороги.

Иногда я раздраженно кричал на соседей по пелотону: «Поднажми или уйди с дороги!» Я еще не понимал, что этот парень мог по разным причинам «отсиживаться сзади» — потому, что ему так сказал лидер команды, или потому, что просто устал. Он вовсе не обязан уступать мне дорогу или ускорять темп ради того, чтобы я мог ехать быстрее. (Сейчас меня эти вещи уже не раздражают, и я сам, устав, не прочь «отсидеться».)

Мне еще предстояло узнать, что соседи по пелотону способны полностью отравить тебе жизнь, мешая одержать победу. В велогонках есть понятие «задолбать» соперника, не дать ему жизни. В пелотоне такое случается сплошь и рядом.

Соперники «долбали» меня просто ради того, чтобы «задолбать». Они старались не дать мне одержать победу просто потому, что не любили меня. Подрезали, блокировали, не давая ускорить темп, или начинали дергаться, ускоряясь и замедляясь, чтобы я, повторяя их движения, работал интенсивнее, чем рассчитывал, и ослабел. К счастью, меня окружали верные товарищи по команде, такие ребята, как Шон Йейтс, Стив Бауэр и Фрэнки Эндрю, и они пытались мне мягко внушить, что своим поведением я только приношу вред себе и им. «Лэнс, тебе нужно научиться сдерживать себя; ты постоянно наживаешь себе врагов», — говорил Фрэнки. Думаю, они понимали, что мне еще нужно было повзрослеть, и, если я и раздражал их, они скрывали свои чувства и терпеливо наставляли меня на путь истинный.

Товарищи по команде в велоспорте чрезвычайно важны. В команде «Motorola» их у меня было восемь, и я нуждался в каждом из них. Если на крутом подъеме «сидишь на колесе» у коллеги, который «тащит» тебя, экономишь до 30 процентов энергии. В ветреный день мои восемь помощников располагались передо мной, служа щитом и позволяя мне сберечь 50 процентов сил, которые мне бы пришлось потратить, если бы я ехал в одиночку. Каждой команде нужны спринтеры, специалисты по горным трассам, ребята, готовые выполнять всю черновую работу. И очень валено ценить вклад каждого члена в общую победу — и не растрачивать их возможности впустую. «Кто станет стараться для лидера, который не выигрывает?» — спрашивал меня Оч, и это был хороший вопрос.

Шоссейную гонку в одиночку не выиграешь. Тебе нужны помощники, а также добрая воля со стороны соперников и кооперация с ними. Люди должны хотеть ехать для тебя и рядом с тобой. Но в первые месяцы моей профессиональной карьеры некоторым моим соперникам хотелось, скорее, сжить меня со свету.

Я оскорблял великих европейских чемпионов. Во время одной из моих первых гонок в ранге профессионала, «Туре Средиземноморья», у меня произошла стычка с Морено Аргентином — очень серьезным и уважаемым итальянским велосипедистом. Он был одним из грандов этого вида спорта, чемпионом мира, победителем многих гонок. Но я бросил ему вызов. На трассе собралось около 150 гонщиков, которые вели борьбу за лучшее место в группе, «долбали» друг друга, толкались, подрезали.

Когда я поравнялся с Аргентином, он оглянулся на меня с некоторым удивлением на лице и сказал: «Что ты тут делаешь, Бишоп?»

Это почему-то вывело меня из себя. Он даже не знал моего имени. Он принял меня за Энди Бишопа, другого участника американской команды. Я подумал: «Так этот парень не знает меня? Узнает!»

— Пошел ты, Кьяпуччи! — выпалил я, назвав его именем другого члена его команды.

Аржентин оторопел. Он же был капо, босс, а я для него был безвестным молодым американцем, который еще ничего не выиграл. И я еще смею посылать его. Но у меня было уже немало обещающих результатов, и я считал, что он должен был бы меня знать.

— Эй, Кьяпуччи, — сказал я. — Меня зовут Лэнс Армстронг, и к концу гонки ты это имя хорошо запомнишь.

До самого конца гонки моей единственной целью было не столько выиграть, сколько свергнуть Аржентина с его пьедестала. Но до конца я не выдержал. Гонка длилась пять дней, и я не рассчитал силы — был еще слишком неопытен. После гонки Аржентин пришел на собрание нашей команды пожаловаться товарищам на мое поведение. Это тоже было частью этикета; если с молодым гонщиком возникают проблемы, старшие товарищи должны образумить его. В приблизительном переводе Аржентин сказал следующее: «Вы должны привить ему хоть какие-то манеры».

Несколько дней спустя я вышел на старт однодневной классической гонки «Тур Лайгуэлья». В «Туре Лайгуэлья» победа Аржентина считалась чуть ли не автоматической, и я знал это. Фаворитами любой гонки на территории Италии были, разумеется, итальянцы, и особенно их лидер Аржентин. Мне еще не случалось опозорить какого-либо ветерана велоспорта на его родине, на глазах у его болельщиков и спонсоров. Но я погнался за Аржентином снова. Я бросил ему вызов там, где никто не осмеливался этого делать, и выиграл дуэль.

К концу гонки в отрыв ушли четыре гонщика, в том числе Аржентин, Кьяпуччи, венесуэлец Сьерра и я. Последний участок пути я несся на всех парах и вышел вперед. Аржентин не мог поверить, что проигрывает гонку мне, горлопану-американцу. И тогда он сделал то, что запомнилось мне навсегда. В пяти метрах от финишной черты он затормозил — нарочно — и занял четвертое место, оставшись без медали. Гонку выиграл я.

На подиуме три места, и Аржентин не хотел стоять рядом со мной. Странное дело, это произвело на меня большее впечатление, чем оказала бы любая нотация или даже драка. Тем самым он показал, насколько не уважает меня. Такая вот элегантная форма оскорбления — и эффективная.

За годы, прошедшие с тех пор, я научился любить Италию и итальянцев — их изысканные манеры, искусство, кухню и, конечно, их великого гонщика Морено Аржентина. Более того, мы стали добрыми друзьями. Я очень люблю его, и, когда нам случается встретиться, мы обнимаемся на итальянский манер и смеемся.

Мои результаты продолжали колебаться так же резко, как я выскакивал из пелотона. Я атаковал в любое время. Я просто ехал вперед. Если кто-то шел в отрыв, я устремлялся в погоню — не из каких-то стратегических соображений, а словно говоря сопернику: «Ну и чего ты добился?»

Свою долю хороших результатов я таки получал, потому что был крепким парнем и следовал тактике других гонщиков, но большую часть времени я был излишне агрессивен, снова и снова повторяя ту же ошибку, которую допустил в команде Криса Кармайкла в Японии: раньше времени вырывался вперед и, лишившись поддержки отставшей команды, «сдыхал». Иногда я даже в первую двадцатку не попадал. Потом кто-нибудь из товарищей меня обязательно спрашивал:

— Какого черта ты так делаешь?

— Я чувствовал себя достаточно сильным, — виновато отвечал я.

Но мне очень повезло с тренерами. В национальной команде я продолжал тренироваться под руководством Криса Кармайкла, а на повседневных соревнованиях в составе команды «Motorola» мною руководили Оч и менеджер команды Хенни Куйпер. Они общались по телефону, сравнивая мои результаты и графики, и сошлись в одном очень важном моменте: моя сила была фактором, которому не научишь. Можно научить пользоваться этой силой, но научить быть сильным нельзя.

Хотя из- за своей агрессивности я наживал себе врагов, однажды, полагали они, она может стать очень ценным качеством. Оч и Крис считали, что в гонке на выносливость велосипедист не только страдает сам, но и перекладывает свои страдания на других, и они видели в моей агрессивности рождение настоящего хищника. «Ты когда-нибудь слышал, что кто-то кого-то зарезал ножом и в этом не было ничего личного? — спросил как-то Крис. — Так вот, велогонки — это тоже что-то очень личное. Не надо обманывать себя. Это настоящая драка на ножах».

Оч и Крис считали, что если я когда-нибудь научусь контролировать свой темперамент, то стану гонщиком, с которым нужно считаться. И в ожидании этого события со мной следует обращаться как можно осторожнее и бережнее. Они интуитивно

понимали, что, если на меня кричать, я вообще могу уйти в себя или взбунтоваться. Поэтому они решили учить меня не спеша.

Есть вещи, которые лучше познаешь на собственном опыте, и Оч с Крисом решили дать мне такую воз можность. Поначалу я никогда не анализировал свои выступления. Я был исполнен самомнения: «Я самый сильный; никто не может тягаться со мной». Но, проиграв несколько гонок, я вынужден был задуматься, и однажды до меня дошло: «Минуточку! Если я самый сильный, то почему не выигрываю?»

Медленно, исподволь Оч и Крис передавали мне свои знания о характере различных гонок и о том, как каждая из них развивается в тактическом плане. «Бывают моменты, когда ты можешь, применить свою энергию на пользу делу, а бывают и такие, когда это пустая трата сил», — говорил Оч.

Я начал прислушиваться к другим гонщикам и позволял им сдерживать меня. В гостиницах я жил в одном номере с Шоном Иетсом и Стивом Бауэром, ветеранами велоспорта, которые имели на меня большое влияние. Они учили меня уму — разуму, помогали держаться обеими ногами на земле. Я же был сгустком живой неуправляемой энергии. От меня все отскакивало как от стенки, и, когда я говорил им: «Чего тут рассуждать? Поедем и надерем им задницу», они только закатывали глаза. Оч не только укрощал, но и просвещал меня. Мне было очень неуютно жить в Европе семь месяцев в году. Я скучал по безалкогольному пиву

«Shiner Воск», мексиканской кухне, горячим и сухим техасским полям, по своей остинской квартире, где над камином висел череп техасского длиннорогого быка, обшитый красной, белой и синей кожей, с одинокой звездой во лбу. Я скучал по красивым машинам, хорошим отелям, любимой еде. «Почему нам приходится жить в такой дыре?» — возмущался я. Но по сравнению с некоторыми из отелей, в которых мы останавливались, этот мотель показался бы верхом комфорта: на полу крошки, в постельном белье чьи-то волосы. Мясо мне казалось безвкусным, макароны недоваренными, кофе больше походил на ржавую воду. Так я узнал, что спортивные тяготы распространяются и на бытовой уровень. Но постепенно я акклиматизировался и жаловался на дискомфорт уже скорее по привычке и на потеху товарищам по команде. Когда мы подъезжали к очередной гостинице, все только и ждали, когда я начну жаловаться.

Вспоминая, каким я тогда был «зеленым» гонщиком и человеком, я испытываю смешанные чувства: неприязнь соседствует с некоторой долей симпатии. Под грубыми манерами, задиристостью и зловредностью прятался мой страх. Я

боялся всего. Боялся поездов, аэропортов, дорог. Боялся телефонов, потому что не умел правильно набирать номер. Боялся меню, потому что не понимал, что в них написано.

Однажды во время обеда, устроенного Очем для заезжих японских бизнесменов, я особенно отличился. Оч попросил каждого из нас, гонщиков, представиться, назвав имя и страну. Когда подошла моя очередь, я встал и громогласно заявил: «Привет, я Лэнс из Техаса». Все попадали со стульев. Надо мной опять посмеялись.

Но жизнь в Европе все-таки обтесала меня — это было неизбежно. Я снял себе квартиру в Комо, на берегу озера, и был очарован этим туманным и пыльным городком, окруженным со всех сторон итальянскими Альпами. Оч был большой любитель вина и привил мне свой вкус, благодаря чему я научился понимать и ценить хорошую еду и хорошее вино. Я обнаружил в себе также способность к языкам и начал кое-как изъясняться на испанском, итальянском и французском, а при необходимости мог сказать пару слов на голландском. Я исследовал миланские магазины и узнал, что такое по-настоящему красивый костюм. Однажды я зашел в Дуомо — миланский собор, — и это в одно мгновение перевернуло все мое представление об искусстве. Меня ошеломили цвета и пропорции, серая неподвижность арок, теплое пергаментное сияние свечей, как будто парящие в воздухе мозаичные окна, красноречие скульптур.

Приближалось лето, и я мужал. Мои спортивные показатели стали выравниваться. «Все приходит в свое время», — говорил Оч. Так и получалось. Один американский спонсор, компания «Thrift Drugs», предложила выплатить премию в 1 миллион долларов тому, кто выиграет «Трипл краун» — серию, состоящую из трех престижных гонок на территории США. Я нацелился на эту победу. Все три гонки были очень разными: чтобы получить приз, я должен был выиграть тяжелую однодневную гонку в Питтсбурге, потом шестидневную гонку в Западной Виргинии и, наконец, открытый чемпионат США среди профессионалов, представлявший собой однодневную гонку на 250 километров | через Филадельфию. Выиграть все три состязания чрезвычайно трудно, и компания, предложившая приз, это хорошо понимала. Для этого нужно быть универсальным гонщиком: хорошим спринтером, мастером горных трасс и одновременно «дальнобойщиком». И главное, нужно стабильно показывать хорошие результаты — а как раз этого мне пока не хватало.

Об этой премии говорили все — и тут же добавляли, насколько невозможно ее получить. Но однажды вечером я разговаривал по телефону с матерью, и она спросила:

— Какие шансы на победу?

— Хорошие, — ответил я.

К июню месяцу я выиграл первые два этапа из трех, и пресса сходила с ума в ожидании чуда. Спонсоры уже трепетали, боясь, что придется раскошелиться. Мне оставалось выиграть лишь профессиональный чемпионат США в Филадельфии — но были 119 велосипедистов, исполненных намерения не дать мне этого сделать. Ажиотаж: был огромный; по оценкам, вдоль трассы выстроились полмиллиона болельщиков.

Накануне гонки я позвонил матери и попросил ее приехать в Филадельфию. Это означало потратить на перелеты туда и обратно почти 1000 долларов, но она отнеслась к этим расходам как к покупке лотерейного билета: если она не приедет, а я выиграю, она будет жалеть, что не присутствовала при этом.

Я решил, что на этот раз буду действовать с умом, а не лететь сломя голову. «Думай на протяжении всей гонки», — уговаривал я себя.

Большую часть дня я это и делал — проявлял благоразумие. Но когда до финиша осталось чуть больше 30 километров, я рванул. Я атаковал на самом трудном участке пути — крутом склоне горы Манаюнк — и довел себя до исступления. Не знаю, что произошло, — знаю лишь, что я поднялся в седле и бешено крутил педали с криком, длившимся целых пять секунд. Отрыв получился огромный. На предпоследнем круге я был уже достаточно далеко от преследователей, чтобы позволить себе послать матери воздушный поцелуй. Финишную линию я пересек с самым большим в истории гонки отрывом. Когда я спешился, меня окружил рой репортеров, но я пробился через них и устремился к матери. Мы обнялись, положив головы друг другу на плечо, — и расплакались.

Это стало началом фантастического летнего сезона. После Филадельфии я, всем на удивление, выиграл один из этапов «Тур де Франс» — опять же за счет очень позднего рывка. В конце 183-километрового этапа от Шалона-на-Марне до Вердена я едва не сокрушил ограничительные барьеры, когда резко рванул из пелотона за 50 метров до финиша. Победа в этапе «Тура» сама по себе является значительным достижением, а уж в 21 — летнем возрасте подобного успеха до меня не добивался никто.

Но чтобы вы поняли, насколько опытным велосипедистом надо быть, чтобы состязаться в «Туре», скажу, что через пару дней мне пришлось сойти с гонки, поскольку продолжать ее у меня не было сил. Я сошел после 12-го этапа, занимая 97-е место, измученный гонкой и холодом. Альпы доконали меня; они были «слишком длинными и слишком холодными», как сказал я потом

репортерам. Я финишировал с таким отставанием, что машина команды, не дождавшись меня, уже уехала в отель. Мне пришлось возвращаться в номер пешком, ведя | велосипед рядом. «Как будто этапа мне было недостаточно, пришлось еще подниматься в гору доЯ гостиницы», — заявил я журналистам. Я был еще 1 физически не вполне зрелый, чтобы успешно состязаться на тяжелейших горных этапах.

Временами мне еще приходилось бороться со своей несдержанностью. Какое-то время я ехал «благоразумно», а потом срывался, не в силах сдержать себя. У меня просто в голове не укладывалось, как такое может быть, что для того, чтобы победить в гонке, сначала нужно ехать помедленнее. Мне потребовалось некоторое время, чтобы примириться с идеей о том, что быть терпеливым — это не значит быть слабым и что мыслить стратегически в гонке не значит выкладываться не на все сто.

За неделю до отправления на чемпионат мира я совершил ту же типичную для себя ошибку на чемпионате Цюриха и вымотал себя прежде, чем наступил критический момент гонки. Опять я не попал даже в двадцатку лучших. Оч тогда имел все основания излить на меня все свое раздражение; но вместо этого задержался на два дня в Цюрихе и, сев на велосипед, поехал на тренировку вместе со мной. Он был уверен, что я мог бы выиграть чемпионат мира в Осло — но только если буду благоразумен.

— Единственное, что тебе нужно, — сказал он мне в ходе нашей совместной тренировки, — ждать. Просто ждать. Двух-трех последних кругов тебе для отрыва хватит. Дернись раньше — и ты потеряешь все шансы на победу. Но на этих последних кругах можешь атаковать в любое время, когда захочешь.

На чемпионате мира ординарных велосипедистов нет. Мне противостояли великие гонщики, находившиеся в пике своей формы, и главным фаворитом считался Мигель Индурайн, который незадолго перед этим одержал свою третью победу в «Тур де Франс». Если я собрался победить, то должен был нарушить исторические традиции. Никто в 21 год мировым чемпионом в велоспорте еще не становился.

За несколько дней перед гонкой я снова позвонил матери и попросил ее приехать и побыть со мной. Она всегда была для меня источником уверенности в себе. Кроме того, я хотел, чтобы она увидела меня в такой престижной компании. Она взяла отпуск и, прилетев, поселилась со мной в одном номере.

Она заботилась обо мне как в прежние годы. Стирала мои вещи, кормила меня, отвечала на телефонные звонки и обеспечивала необходимый покой. Мне не приходилось говорить

с ней о сложностях спортивной борьбы и о своих переживаниях — она все понимала без слов. Чем ближе становился день старта, тем немногословнее я становился. Я замыкался в себе, мысленно планируя гонку. Мама читала при свете настольной лампы, а я смотрел в потолок или дремал.

Наконец день гонки наступил — и, когда я проснулся, шел дождь. Открыв глаза, я увидел капли на оконном стекле. Проклятый, ненавистный дождь, который так измучил и опозорил меня в Сан-Себастьяне.

Лило весь день. Но был человек, который страдал от дождя больше, чем я, — мама. Она под дождем просидела на трибуне семь часов, ни разу не поднявшись. Напротив трибуны был установлен огромный экран, на котором болельщики могли следить за перипетиями борьбы, происходившей на петле протяженностью в 18,4 километра.

В дождь европейские дороги покрываются скользкой грязе-бензиновой жижей. Гонщиков из-за этой слякоти бросало направо и налево. Я тоже упал — дважды. Но каждый раз быстро поднимался, садился в седло и вновь включался в гонку, не теряя присутствия духа.

На протяжении всей гонки я выжидал, выжидал, выжидал. Я сдерживал себя, как просил меня Оч. Последние 14 кругов до финиша я держался в лидирующей группе — и там же был Индурайн, великий испанец. Наконец на предпоследнем подъеме я пошел в отрыв. Когда я достиг перевала, вся остальная группа висела у меня на хвосте. Я скатился вниз и с лету стал подниматься на крутой склон, называемый Экеберг. Остальные следовали по пятам. Тогда я сказал себе: «Сейчас или никогда» — и, встав на педали, начал новую атаку. На этот раз между мной и остальными образовалась брешь.

По другой стороне Экеберга тянулся длинный и опасный спуск. Протяженность его составляла четыре километра, и на мокрой дороге случиться могло все что угодно. Но все повороты я прошел четко, ни разу не поскользнувшись, и уже в самом низу оглянулся, чтобы посмотреть, кто следует за мной.

Не было никого. Я запаниковал. «Ты опять наступил на те же грабли, — в отчаянии упрекнул я себя, — опять рванул раньше времени». Наверно, я сбился со счету. Наверное, впереди еще один круг, потому что такой отрыв был слишком хорош, чтобы быть правдой. Я опустил глаза на компьютер. Нет, ничего я не перепутал: это действительно был последний круг.

Я выигрывал. На последних 700 метрах я уже начал торжествовать победу, вытянув в стороны руки и сжимая-разжимая кулаки, раздавая воздушные поцелуи кланяясь

зрителям. Пересекая финишную черту, чуть ли не канкан на велосипеде отплясывал. Наконец я затормозил, спешился и первым делом принялся искать в толпе людей свою мать. Найдя, обнял ее, и так мы стояли, обнявшись, под дождем. Я повторял: «У нас получилось. У нас получилось». И мы оба плакали.

В какой- то момент всеобщей сумятицы, поздравлений, церемонии награждения мне сообщили, что меня хочет видеть норвежский король Харальд. Я кивнул и сказал:

— Пойдем, мама, познакомимся с королем.

Она сказала:

— Ладно, пойдем.

Пройдя несколько кордонов службы безопасности, мы подошли к двери, за которой меня для приватной аудиенции ждал король. Сопровождающий остановил нас.

— Она должна остаться здесь, — сказал он.

Король примет лишь вас одного.

— Я не оставляю свою мать за дверью, — ответил я.

Я взял маму за руку и повернулся, чтобы пойти прочь.

— Ну их, пойдем, — сказал я ей. Я не собирался идти куда бы то ни было без нее.

Сопровождающий смягчился:

— Хорошо, следуйте за мной.

Так мы познакомились с королем, который оказался очень милым человеком. Аудиенция была короткой и очень вежливой, и вскоре мы вернулись к своей команде, чтобы продолжить торжество.

Это событие казалось концом, финишем сложного этапа моей жизни — и жизни моей матери. Мы вышли из него победителями. Никто больше не скажет, что нам в жизни ничего не светит. Не нужно больше беспокоиться об оплате счетов и побираться на покупку снаряжения или билетов. Возможно, это было концом долгого и тяжелого подъема, называвшегося детством.

Хоть я был чемпионом мира, мне еще многому. надо было учиться, и следующие три года стали для меня временем испытаний и оттачивания моих талантов и навыков. У меня были и другие выдающиеся успехи, но теперь моя спортивная жизнь в большей мере стала процессом постепенного повышения мастерства и отыскания той тончайшей грани, которая могла бы отделить меня от других элитных гонщиков.

Существует наука побеждать. Зрители редко ви дят техническую сторону велоспорта, где за ослепительной радугой пелотона скрывается самая обыкновенная рутина, ведь на самом деле шоссейная гонка — это тщательно выверенный процесс, и выигрывается она, как правило, за счет тех маленьких подвижек в

скоростных качествах, которые нарабатываются в лаборатории, аэродинамической трубе или на велодроме задолго до начала самой гонки. Велосипедисты — рабы компьютеров; мы живем в мире цифр, отражающих скорость, эффективность, силу и мощность. Я регулярно кручу педали на велотренажере и все мое тело облеплено электродами, я ищу различные позиции в седле, которые позволили бы мне выиграть какие-то секунды, а также стараюсь найти наилучшие аэродинамические формы самого велосипеда и снаряжения.

Через несколько недель после победы на мировом чемпионате Крис Кармайкл направил меня в3 исследовательскую лабораторию при Олимпийском тренировочном центре в Колорадо-Спрингс. Несмотря на великолепно прошедший сезон, у меня было еще очень много слабых мест, поэтому несколько дней я провел в лаборатории, облепленный электродами, а врачи брали анализы крови. Идея заключалась в том, чтобы определить мои «пороги» и «критические точки», а после этого попытаться выяснить, как я мог бы увеличить эффективность своей работы на велосипеде. У меня проверяли пульс, V02max и за один только день кололи палец 15 раз, чтобы взять анализ крови.

Мы хотели определить, какова моя максимальная работоспособность и сколько я могу на этом пределе держаться. Мы постарались найти мой оптимальный каденс[1], определить, при какой скорости вращения педалей отдача получается наибольшей и нет ли пробелов в моей технике педалирования, каких-то лишних движений, где я растрачиваю силы вхолостую. Мой стиль педалирования напоминал симметричные движения сваебойной машины — вертикально вверх-вниз, поэтому я затрачивал слишком много усилий, не получая нужной скорости. Мы поехали на велодром, чтобы изучить мою посадку в седле и разобраться, в чем причина того, что энергия уходит зря. Идея велогонок заключается в том, чтобы генерировать как можно большую скорость, затрачивая как можно меньше сил. Мы решили, что мне нужна более низкая посадка, и это сразу отразилось на скоростных показателях.

Примерно в то же самое время я познакомился с легендарным бельгийским гонщиком Эдди Мерксом. пятикратным победителем «Тур де Франс», славившимся своими яростными атаками. Я слышал о нем много историй, знал, каким мужественным и стойким гонщиком он был, и решил, что сам хочу стать именно таким. Я хотел не просто побеждать. Я хотел побеждать определенным образом. Мы стали друзьями. Эдди сказал, что у меня есть все шансы когда-нибудь выиграть «Тур де Франс», но для этого мне нужно сбросить вес. У меня было

телосложение футбольного защитника: толстая шея и могучие грудные мышцы — последствия моих занятий плаванием и триатлоном. Эдди объяснил, что тащить этот вес по горам в течение трех недель очень тяжело. До сих пор я побеждал во многом лишь за счет своей силы, но, чтобы победить в «Тур де Франс», я должен найти способ сбросить вес, не потеряв при этом силу. Поэтому я перестал есть мучные продукты и отказался от прелестей мексиканской кухни; я понял, что мне нужно найти в себе силу иного рода — внутреннюю силу, называемую самодисциплиной.

До 1995 года мне так и не довелось проехать «Тур де Франс» целиком — только какие-то отрезки. Мои тренеры считали, что я еще не был готов к такому испытанию. И они были правы: у меня еще не было ни физической, ни психологической силы, чтобы выдержать все тяготы этой гонки. Молодой гонщик должен готовиться к такому испытанию постепенно, с годами накапливая силы и опыт, чтобы не просто закончить эту гонку, но закончить ее живым и здоровым. Мои результаты устойчиво улучшались: в 1994 году я занял второе место в гонке «Льеж:-Бастонь-Льеж», пришел вторым в Сан-Себастьяне и вторым в «Тур Дюпон». В первой половине 1995-го гонки классика «Сан-Себастьяна» и «Тур Дюпон» я уже выиграл. И тогда Оч решил, что мне пора выходить на новый уровень — нужно финишировать в «Тур де Франс», а не только стартовать. Настала пора узнать, что значит выиграть в самой главной гонке велосипедного спорта и что для этого нужно.

У меня была репутация гонщика — однодневщика: покажите мне линию старта, и я выиграю гонку на адреналине и злости, вырубая соперников один за другим. Я мог выдерживать болевой порог дольше, чем кто-либо еще, и для победы готов был идти по головам.

Но «Тур» — совсем другое дело. Если применять ту же тактику в нем, выдохнешься уже через пару дней. Здесь необходимо заглядывать далеко вперед, думать на перспективу. Чтобы выиграть «Тур», гонщик должен уметь применять нужные ресурсы в нужное время, терпеливо и экономно использовать свои силы, не растрачивая их почем зря. В «Туре» нужно продолжать ехать даже тогда, когда вдохновение иссякает, уровень адреналина падает и перестает толкать тебя вперед.

Если и есть качество, принципиально отличающее мужчину от мальчишки, так это, наверное, терпение. В 1995 году я наконец познал всю требовательность «Тура» и все его необыкновенные тяготы и опасности. Я закончил эту гонку, и закончил неплохо, выиграв один из завершающих этапов. Но знание и опыт дались

слишком дорогой ценой, и я предпочел бы эту цену не платить.

На одном из последних этапов гонки на крутом спуске погиб мой товарищ по команде «Motorola», олимпийский чемпион 1992 года Фабио Касар-телли. С горы пелотон спускается плотной группой, и если один из гонщиков падает, это может привести к ужасающей цепной реакции. Вместе с Фабио в завал попали 20 гонщиков. Но Фабио ударился затылком о бордюр, сломав шею и пробив череп.

Я ехал слишком быстро и мало что видел. Упала группа гонщиков — но такие вещи в «Туре» случаются часто. О том, что случилось на самом деле, я узнал лишь несколько позже по рации: погиб Фабио. Когда тебе говорят такое, поначалу далее не веришь своим ушам.

Это был один из самых длинных дней в моей жизни. Фабио был не только молодой надеждой итальянского велоспорта; он совсем недавно женился и стал отцом. Его ребенку был лишь месяц от роду.

Мы должны были ехать дальше и закончить этап, как бы плохо нам ни было. С Фабио я познакомился еще в 1991 году, когда делал только первые шаги в международных гонках. Он жил в окрестностях Комо, где и я снял себе квартиру, мы состязались с ним на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, где он завоевал золотую медаль. Он был очень жизнерадостным человеком, немного легкомысленным шутником. Некоторые из лучших итальянских гонщиков — серьезные и даже суровые мачо, но Фабио был не таким. Он был сама легкость и свежесть.

Тем вечером в команде «Motorola» было проведено собрание, где решался вопрос, продолжать нам участие в гонке или нет. Мнения разделились. Половина членов нашей команды хотела сойти с дистанции и, поехав домой, оплакивать с родными и друзьями участь своего товарища, другие желали продолжать борьбу в честь Фабио. Лично я хотел остановиться; я думал, что мне уже не хватит мужества продолжать эту жестокую гонку. Я впервые столкнулся со смертью и искренним горем, поэтому не знал, как справлюсь с этим. Однако вскоре на наше собрание пришла жена Фабио и сказала, что хотела бы, чтобы мы продолжали гонку, потому что ей казалось, что этого захотел бы и сам Фабио. Тогда мы сели кружком на траву позади отеля, помолились и решили остаться на трассе.

На следующий день пелотон ехал неторопливо и торжественно и в память о Фабио церемониально отдал победу на этапе нашей команде. Это был еще один бесконечный день: восемь часов в седле, и у всех печальные лица. Гонки как таковой не было. Это была фактически похоронная процессия. Наша

команда пересекла финишную черту первой, а вслед за нами ее пересек автомобиль технической поддержки с перевязанным черной лентой велосипедом Фабио на крыше.

Через день гонка возобновилась уже всерьез, и мы достигли Бордо. Следующий этап заканчивался в Лиможе, и накануне старта Оч обошел нас всех и сказал, что Фабио в «Туре» преследовал две цели: он хотел дойти до финиша и особенно хотел попытаться выиграть этап в Лиможе. Как только Оч замолчал, я подумал, что если Фабио хотел выиграть этот этап сам, я должен выиграть вместо него и обязательно пройти «Тур» до конца — как того хотел Фабио.

К середине этапа я оказался в лидирующей группе из 25 гонщиков. Индурайн в желтой майке лидера общего зачета отсиживался сзади. И я сделал то, что было для меня вполне естественно, — атаковал.

Проблема была в том, что я, как обычно, пошел в отрыв слишком рано. Оставалось ехать еще 40 километров, и дорога шла под уклон. Но с горы я скатился так быстро, что одним махом оторвался! секунд на тридцать. Остальные гонщики были совершенно ошеломлены. Полагаю, они недоумевав ли: «О чем он думает?»

И о чем же я думал? Я огляделся на гонщиков, ехавших рядом со мной, — никто особенных амбиций не проявлял. Было жарко, и ускорять темп никому не хотелось. Все рассчитывали подойти к финишу поближе и уже тогда начинать тактические игры. Я оглянулся еще раз: кто-то пьет воду. Оглянулся снова: кто-то поправляет шлем. И я рванул.

Когда в группе 15 человек из 15 разных команд, никакой организованности нет. Все кивают друг на друга: «Догоняй!» — «Сам догоняй!» Так я оторвался. Я летел быстрее, чем когда-либо. Это был тактический удар в лицо. Он никак не был связан с моей силой или способностями; все зависело от первоначального шока и величины отрыва. Это был неблагоразумный поступок, но он сработал.

К финишу мой отрыв составил 55 секунд. Группа технической поддержки нашей команды подъезжала ко мне на машине и доводила последнюю ин — формацию. Сначала Хенни Куйпер, наш менеджер, сообщил: «Отрыв — 30 секунд». Через несколько. минут он подъехал снова и доложил: «45 секунд».

Когда он подъехал еще раз, я сказал:

— Хенни, больше не надо подъезжать. Они меня уже не догонят.

— Хорошо, хорошо, — сказал он и приотстал.

Меня не догнали.

Выиграв почти минуту, я в момент финиша боЛи и усталости не чувствовал. Наоборот, я испытывал душевный подъем. Я знал, что в тот день у меня была высокая цель. Хоть я и пошел в отрыв слишком рано, никакой усталости не было. Мне нравилось думать, что Фабио радовался этой победе вместе с нами — просто из другого мира. Я ни минуты не сомневался, что во время гонки на моем велосипеде сидели и крутили педали два человека. Со мной незримо был Фабио.

Чувства, переполнявшие меня на финише, были такими, каких я еще никогда не испытывал. Мне казалось, что я одержал победу за Фабио, за его семью, за его ребенка и за всю погруженную в траур Италию. Пересекая финишную черту, я возвел глаза к небу, к Фабио.

После окончания «Тура» Оч построил в честь Фабио мемориал. Памятник из белого мрамора было доверено выполнить одному скульптуру из Комо. На церемонию открытия мемориала слетелись из разных стран все члены нашей команды. Солнечные часы на памятнике запечатлели три даты: день рождения Фабио, день, когда он выиграл Олимпийские игры, и день его смерти.

Я узнал, что значит участвовать в «Тур де Франс». Это не просто самая длинная велогонка, но и самая воодушевляющая, самая волнующая и самая трагическая. Это не просто велогонка. Это Жизнь. Она подвергает гонщика всем мыслимым и немыслимым испытаниям: холод, жара, горы, равнины, ямы, пробитые шины, ветер, невыразимое невезение, несказанная красота, задор, скука и — глубочайшее познание самого себя. Так же и в жизни мы сталкиваемся с различными стихиями и преградами, переживаем неудачи, несемся сломя голову в дождь — просто чтобы оставаться в строю и иметь хоть малую толику надежды на успех. «Тур» — это не просто гонка. Это испытание на прочность. Она испытывает тебя физически, психологически и морально.

Теперь я это понимаю. В этой гонке нет коротких путей, ее нельзя выиграть «на халяву». Нужно годами укреплять свое тело и характер, нужно записать в свой актив сотни побед в других гонках и откатать тысячи километров. Я не мог выиграть «Тур де Франс», пока мои ноги, легкие, мозг и сердце не обрели достаточной силы. Пока я не стал мужчиной. Фабио был мужчиной. А я еще только пытался стать им.

Глава четвертая
ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ

Мне казалось, я знаю, что такое страх, пока не услышал слова: «У вас рак». Когда приходит настоящий страх, его не спутаешь ни с чем: это ощущается так, словно вся кровь в организме начинает течь не в ту сторону. Все мои прежние страхи — боязнь не понравиться кому-то, боязнь насмешек, боязнь потерять деньги — вдруг показались мелкими и незначительными. Теперь все в жизни виделось по-другому. Повседневные неприятности — лопнувшая шина, потеря работы, транспортная пробка — были пересмотрены мною с точки зрения приоритетов: что необходимо, а что желательно, что является реальной проблемой, а что мелкой царапиной. Болтанка в самолете — это всего лишь болтанка в самолете; это не рак.

Люди есть люди: у каждого свои слабости и недостатки, и ничто человеческое им не чуждо. Но спортсмены не склонны мыслить подобным образом. Они слишком заняты созданием ауры собственной непобедимости, чтобы признавать свои страхи, слабости, обиды, свою уязвимость, подверженность ошибкам и быть особенно добрыми, участливыми, благодушными, терпимыми и склонными к прощению по отношению к себе самим и окружающим их людям. Но, сидя в одиночестве в пустом доме в тот первый вечер после диагноза, я боялся чисто по-человечески.

Я не находил в себе силы сообщить матери о своей болезни. Вскоре после моего возвращения домой из офиса доктора Ривса ко мне заехал Рик Паркер, считавший, что Мне не следует оставаться одному. Я сказал ему, что не могу заставить себя позвонить матери и сообщить ей о болезни. Рик предложил сделать это за меня., и я согласился.

Не было какого-то мягкого способа донести до нее эту новость. Когда раздался звонок, она только-только вернулась с работы и сидела в саду, читая газету.

— Линда, Лэнсу нужно поговорить с вами по этому поводу самому, но для начала я хочу ввести вас в курс дела. У него выявили рак яичка, и на завтра на 7 утра назначена операция.

— Нет, — сказала мама. — Как такое может быть?

— Мне очень жаль, но я думаю, вам стоит приехать сюда.

Мать заплакала, и Рик попытался утешить ее, но продолжал настаивать на том, чтобы она приехала в Остин как можно скорее. Взяв себя в руки, мама сказала:

— Хорошо. Скоро буду.

Она повесила трубку, даже не поговорив со мной, быстро побросала что попало в свою дорожную сумку и помчалась в аэропорт.

Когда Рик повесил трубку после разговора с мо ей матерью, я снова раскис. Рик терпеливо уговаривал меня.

— Это нормально, что ты плачешь, Лэнс, — говорил он. — Это даже хорошо. Лэнс, твоя болезнь излечима. Но нужно действовать быстро. И поскорее удалить эту заразу.

Несколько успокоившись, я прошел в свой кабинет и начал обзванивать всех тех, кому, как мне казалось, нужно было немедленно сообщить о случившемся. Я позвонил своему другу и товарищу по команде «Motorola» Кевину Ливингстону, который в это время участвовал в гонках в Европе. Кевин был для меня как младший брат; мы были так близки, что на следующий сезон даже планировали вместе снять квартиру в Европе. Ранее я уговорил его переехать жить в Остин, чтобы мы могли вместе потренироваться.

Дозвонившись до него в Италии, я был все еще как в дурном сне.

— Мне нужно кое-что сказать тебе. У меняплохие вести.

— Что, гонку проиграл?

— У меня рак.

Я хотел объяснить Кевину, что я чувствовал и как мне не терпелось его увидеть, но он жил в одной квартире с тремя членами национальной сборной США, а их я посвящать в свои проблемы не хотел. Поэтому нам пришлось общаться как заговорщикам.

— Ты знаешь, — сказал я.

— Да, я знаю, — ответил он.

На этом наш разговор закончился. Уже на следующий день Кевин вылетел домой.

Затем я дозвонился Барту Нэгсу, наверное своему самому давнему и лучшему другу в Остине бывшему велосипедисту, работавшему в недавно созданной компьютерной фирме. Я нашел его на рабочем месте — он, как всегда, работал допоздна

— Барт, у меня рак яичка, — сказал я ему.

Барт помолчал, не зная, что сказать, но потом нашелся:

— Лэнс, сейчас с раком творят чудеса, и я уверен, что все закончится благополучно.

— Не уверен, — сказал я. — Я сижу один дома и дрожу от страха.

Барт ввел в свой компьютер поисковую строчку и начал выводить на экран и на принтер все, что было известно об этой болезни. Распечатка получилась сантиметров 30 толщиной. Он

нашел всевозможные сведения о клинических испытаниях научных исследованиях, вариантах лечения, потом собрал это все и привез ко мне домой. Ему предстояло рано утром ехать в Орландо со своей невестой Барбарой, но он все-таки нашел время заехать ко мне, чтобы сказать, как он любит меня, и вручить все добытые им материалы.

Один за другим стали прибывать друзья и родные. Получив мое сообщение на пейджер, приехала Лайза. Она занималась в библиотеке, и от шока у нее был стеклянный взгляд. Затем приехал Билл Степлтон со своей женой Лорой. Билл работал в одной из остинских адвокатских контор, и я выбрал его своим агентом за преданность. Этот выпускник Университета штата Техас казался несколько медЛИтельным, но в прежние годы он был спортсменом, членом олимпийской сборной по плаванию и сохранил атлетическое телосложение. С его приходом я зациклился на своем почти неизбежном за-веРШении карьеры.

— С гонками покончено, — сказал я, — и агент мне больше не понадобится.

— Лэнс, давай не будем забегать вперед. СейЧас об этом не время думать, — ответил Билл. — ТыВедь не знаешь, что все это значит и что из этого выйдет

— Ты не понимаешь, Билл. Мне больше не нуженагент. У меня больше не будет никаких контрактов.

— Хорошо, но я здесь не как твой агент. Я здесьКаК твой друг. Могу я чем-нибудь помочь тебе?

Это был один из тех моментов, когда все в моем восприятии сместилось. При чем здесь моя Карьера, когда нужно думать о куда более важных вещах?

Можешь. Привези мою мать из аэропорта, — сказал я.

Билл и Лора тут же поднялись с дивана и поехали в аэропорт. Я был только рад, что мне самому не пришлось встречать маму, потому что, увидев Билла, она снова залилась слезами. «Как такое могло случиться? — говорила она Биллу и Лоре. — Что с нами будет?» Но пока они ехали из аэропорта до моего дома, она сумела взять себя в руки. В ней от рождения не было ни грамма жалости к себе, и, переступив порог моего дома, она снова была сильной. Я встретил ее в гостиной и крепко обнял.

— Все будет хорошо, — сказала она мне на ухо. — Нас так просто не возьмешь. Нам слишком многое пришлось пережить, и с нас хватит. На этот раз ничего плохого не случится. Нечего даже и думать.

Мы оба поплакали друг у друга на плече, но недолго, потому что нам слишком многое надо было обсудить. Я рассказал матери и друзьям, какой диагноз мне поставил доктор Ривс. Нужно

решитьнекоторые вопросы и принять кое-какие решения, а времени осталось мало, потому что на 7 утра запланирована операция. Я достал рентгеновские снимки, которые привез от доктора Ривса, и показал их всем. На них хорошо были видны опухоли, плававшие в моих легких подобно белым мячикам для гольфа.

Я попросил собравшихся держать мою болезнь в тайне, пока у меня не появится время рассказать о ней спонсорам и товарищам по команде. Пока я разговаривал с матерью, Билл позвонил в больницу и попросил соблюдать конфиденциальность в отношении моего диагноза и зарегистрировать меня в больнице под вымышленным именем. Разумеется, я обязан был рассказать о случившемся своим спонсорам, фирмам «Nike», «Giro», «Oakley» и «Milton-Bradley», а также организации «Cofidis», и созвать пресс-конференцию. Но прежде я должен был сообщить об этом людям, которые были особенно близки мне, — Очу, Крису и товарищам по команде, — а они в большинстве своем были разбросаны по разным странам и до них трудно было дозвониться.

Люди реагировали на новость по-разному. Ктото начинал заикаться, кто-то пытался успокоить меня, но всех моих друзей объединяло желание как можно скорее приехать ко мне в Остин. Оч был дома, в Висконсине. Когда я дозвонился до него, он ужинал, и его реакция была весьма своеобразной — в ней был весь Оч.

— Вы сидите? — спросил я.

— Что такое?

— У меня рак.

— Так. И что это значит?

— Это значит, что у меня рак яичка и завтра меня оперируют.

— Хорошо, я подумаю об этом, — спокойно произнес Оч. — Увидимся завтра.

Наконец подошло время ложиться спать. Забавно, но спал я в ту ночь очень крепко. Я вошел в состояние абсолютного покоя, словно готовился к важному состязанию. Если мне предстояла большая гонка, я всегда старался как следует отоспаться, и на этот раз поступил так же. На каком-то подсознательном уровне я хотел быть в абсолютном пике формы, чтобы достойно встретить то, что ждало меня в предстоявшие дни.

Наутро я прибыл в больницу к 5 часам. Я приехал на своей машине — мама сидела рядом — в мешковатом тренировочном костюме и прошел через главный вход, чтобы начать жизнь

пациента. Сначала мне предстояло пройти ряд стандартных тестов вроде магнитно-резонансной томографии (МРТ) и анализа крови. У меня была слабая надежда, что после всех этих анализов

врачи скажут мне, что они ошиблись и моя болезнь не столь уж серьезна. Но эти слова так и не прозвучали.

Мне еще не приходилось надолго ложиться в больницу — я всегда слишком спешил отбросить прочь костыли и сам удалял у себя швы, поэтому не знал даже о таких вещах, как регистрация, и не захватил бумажник. Я посмотрел на мать — и она тут же взяла на себя всю бумажную работу. Пока я сдавал анализы, она заполняла необходимые формуляры.

Операция вместе с необходимыми послеоперационными процедурами продлилась около трех часов, и эти часы показались моей матери вечностью. Она сидела в моей больничной палате с Биллом Стэплтоном и ждала, когда меня привезут. Зашел доктор Ривс и сказал, что все прошло удачно и опухоль удалили без всяких проблем. Потом прибыл Оч. Верный своему слову, он сел на первый же утренний рейс до Остина. Пока меня держали в хирургическом отделении, мама посвятила Оча в си туацию. Она решила для себя, что у меня все будет хорошо, — словно для этого было достаточно одной ее воли.

Наконец меня привезли в палату. Голова еще кружилась после наркоза, но я был в сознании и мог поговорить с Очем, склонившимся над моей постелью. «Я одолею эту штуку, что бы это ни было», — сказал я ему.

Мать осталась со мной на ночь, прикорнув на диване. Спали оба плохо. Перенесенная операция отзывалась сильной болью. Хирургический шов был длинным и глубоким, к тому же располагался в очень нежном месте, поэтому при каждом моем шевелении мама вскакивала с дивана и подходила ко мне, чтобы удостовериться, что я в порядке. Я был прикован к капельнице, и, когда мне надо было в туалет, она помогала мне подняться с койки и везла за мной всю конструкцию, пока я ковылял через палату, а потом помогала снова улечься в постель. Матрац был с пластиковым покрытием, и я сильно потел. Каждые пару часов я просыпался и обнаруживал, что простыни совершенно мокрые. Мама меняла белье и обтирала меня.

На следующее утро доктор Юман принес мне первые результаты патологического исследования и анализа крови. Я все еще цеплялся за мысль о том, что рак мог оказаться не таким уж серьезным, как все думали, но доктор Юман разубедил меня. Он сказал, что биопсия и анализ крови свидетельствуют о стремительном распространении рака. Это было типично для рака яичка: он поднимается по кровеносным сосудам в лимфатические узлы, и его следы уже обнаружены у меня в животе.

В течение суток после первоначального диагноза я узнал о

тестикулярном раке все, что можно было узнать. Я знал, что онкологи различают три стадии этой болезни: на первой стадии раковая опухоль сосредоточена в яичках и прогноз для пациента превосходный; на второй стадии рак перемещается в лимфатические узлы брюшной полости; а на третьей поражает жизненно важные органы, в частности легкие. Тесты показывали, что у меня был рак третьей стадии; фактически в моем организме были три его формы, самая злокачественная из которых — хориокарцинома, чрезвычайно агрессивная, переносимая кровью разновидность, которую очень трудно остановить.

Мне сказали, что к химиотерапии приступят через неделю — с помощью катетера, имплантированного в грудь, — и продлится она три месяца. Мне потребуется так часто брать кровь на анализ и так много лекарств вводить внутривенно, что вместо стандартных игл гораздо практичнее использовать катетер. Вздыбливаясь под кожей, катетер выглядел пугающе, а разрез на груди казался таким неестественным — как будто жабры. Была еще одна проблема, требующая обсуждения: я, по крайней мере на какое-то время, был обречен на стерильность. До начала первого сеанса химиотерапии, запланированного через неделю, доктор Юман посоветовал мне заблаговременно сдать на хранение как можно больше спермы. Вопрос о стерильности раньше не всплывал и застал меня врасплох. Юман пояснил, что после химиотерапии способность иметь детей восстанавливается не у всех пациентов: исследования показывали, что в течение года в норму приходят примерно 50 процентов больных. В двух часах езды, в Сан-Антонио, был банк спермы, и Юман посоветовал мне отправиться туда.

Вечером накануне выписки из больницы мать сходила в онкологическое отделение и получила все принадлежности для моего катетера, рецепты на противорвотные препараты и дополнительную литературу, посвященную раку яичек.

Если вы никогда не бывали в онкологическом отделении больницы, позвольте сказать вам: приятного там мало. Дожидаясь, пока ей принесут необходимые материалы, мать увидела больных, завернутых в простыни, лишенных волос, оплетенных трубками от капельниц, бледных и смертельно изможденных. Получив необходимые принадлежности и литературу, она сложила все в широкую полотняную сумку, которая превратилась у нее в походную противораковую аптечку, и вернулась ко мне в палату.

— Сынок, — сказала она, — я хочу предупредить тебя, что, когда ты отправишься туда на лечение, тебя ждет малоприятное зрелище. Но помни одно: все эти люди попали туда по той же

причине, что и ты, — чтобы выздороветь.

А потом она отвезла меня домой.

В субботу утром я проснулся рано. В ванной посмотрел в зеркало — и от неожиданности вскрикнул. Катетер был закупорен огромным кровяным сгустком, вся грудь распухла и была покрыта спекшейся кровью. Когда я вернулся в спальню, Лайза онемела от ужаса. Крикнул матери: «Мама, можешь подойти?!» Она прибежала в комнату и осмотрела катетер. Не паникуя, она намочила тряпочку, спокойно вытерла кровь, после чего позвонила в больницу. Медсестра объяснила ей, что в закупорке катетера нет ничего необычного, и рассказала, что нужно сделать, чтобы избежать инфекции. Но зрелище было ужасное.

Повесив трубку, мать помчалась в аптеку и вернулась с пакетами бактерицидного пластыря, сиявшими белизной в полумраке спальне. Она налепила пластырь на катетер, что чрезвычайно развеселило нас с Лайзой. Затем она позвонила доктору Юману.

— Катетер был закупорен. Я почистила его, но… может быть, его следовало бы достать?

— Ничего пока не делайте, — ответил Юман, — потому что я решил сдвинуть первый сеанс химиотерапии на более раннее время. Начнем лечение впонедельник в час дня.

— А почему? — спросила мать.

Я взял трубку. Доктор Юман объяснил, что более детальное исследование ткани и крови вызывает большую тревогу. Рак в своем развитии за последние сутки дал резкий скачок. Онкологи отслеживают прогресс болезни с помощью так называемых маркеров крови: измеряя уровень содержащихся в крови различных белков, таких как человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ) и альфафетопротеин (АФП), можно определить степень развития рака в моем организме. У меня эти показатели за минувший день выросли. Рак не просто распространяется, он галопирует, поэтому Юман уже и мысли не допускает, чтобы откладывать начало химиотерапии. Начинать лечение нужно немедленно, потому что при такой скорости развития рака каждый день на счету.

Совершенно упав духом, я повесил трубку. Но тосковать времени не было; у меня оставался только один шанс успеть сдать свою сперму в Сан-Антонио — ехать туда сегодня. «Как это грустно», — сказал я матери.

В Сан- Антонио я ехал в тягостном настроении. Единственное, что несколько сняло напряжение, был приезд Кевина Ливингстона, который для моральной поддержки поехал со мной. Я был рад видеть его. У него открытое лицо и живые

голубые глаза под стрижеными черными волосами, и было такое чувство, будто он вот-вот рассмеется. С ним трудно быть в плохом настроении. За рулем сидел еще один помощник — молодой человек по имени Корд Шифлет, сын моего друга архитектора Дэвида Шифлета, вызвавшийся отвезти нас.

Я долго сидел молча, и одна тревожная мысль сменяла другую. У меня был только один шанс сохранить свою сперму. Может статься, что у меня никогда не будет детей. В понедельник мне предстоит первый сеанс химиотерапии. Как я перенесу его?

Наконец мы приехали. Корд, Кевин и моя мать остались в холле, а меня медсестра отвела в специальную комнату. Кевин выдавил из себя не совсем приличную шутку, чтобы несколько разрядить атмосферу.

— Эй, Лэнс, тебе журнальчик не нужен? — сказал он. В ответ я лишь вяло улыбнулся.

Мне предложили сесть в откидывающееся кресло. Освещение было тусклое. «Для создания должной атмосферы», — догадался я. На столике выси-.; лась стопка — да! — журналов. Порно — увидел я, проникшись отвращением. Я откинулся в кресле и тяжело вздохнул, едва не плача. Меня мучила боль. След от операции был прямо над пахом и переходил на живот. После шока, вызванного диагнозом, я был в полном эмоциональном упадке, а теперь от меня ждут эрекции? Да разве такое возможно?! Лежа в кресле, я думал: «Совсем не так я себе все это представлял». Зачатие ребенка должно происходить в порыве страсти и надежды, а не быть следствием исполненной тоски и отчаяния процедуры, осуществляемой в полном одиночестве.

Я хотел стать отцом — очень хотел, — но всегда полагал, что это должно случиться, когда ты влюблен. В мои двадцать с небольшим у меня было много романтических связей. Я какое-то время встречался с девушкой, но через несколько месяцев мне это надоедало, следовал разрыв, и все начиналось сначала. Я встречался с одноклассницей, потом с голландской манекенщицей, но ни одна любовная связь не длилась больше года. Мои товарищи по команде в шутку называли меня «экспрессом» — за ту скорость, с которой я менял подружек. Я не был женат, не был связан какимито обязательствами и потому в этом отношении особенно не переживал. С Лайзой Шиле, однако, ситуация была другая. К тому времени, когда у меня выявили рак, мы стали очень близки. Она была очень умной и серьезной девушкой, всецело поглощенной учебой в Университете штата Техас, и я уже начинал задумываться о том, чтобы жениться на ней и завести детей. Я не был уверен, что наших отношений хватит надолго, но хотел жениться и стать лучшим отцом, чем те,

что до сих пор попадались в моей жизни.

Теперь у меня не было выбора, и. закрыв глаза, я сделал то, что должен был сделать.

Когда я вышел, мама и друзья сидели молча. Позже я узнал, что, пока они ждали меня, мать почти сердито сказала им: «Послушайте, мальчики, когда он выйдет, я не хочу услышать от вас ни слова. Ни единого слова!» Она понимала меня. Понимала, что это был один из самых тяжелых моментов в моей жизни, и никакие шутки тут были не уместны.

Сделав дело, я вручил пузырек врачу. Корд и Кевин молчали. Я торопливо заполнил какие-то бумаги и сказал медсестрам, что остальную необходимую информацию вышлю позже. Я хотел поскорее выбраться оттуда. Но когда мы выходили, врач остановил меня.

— Очень низкое число сперматозоидов, — сказал он.

Врач объяснил, что моя сперма содержала лишь треть положенного количества сперматозоидов. Похоже, что рак уже поразил мою репродуктивную систему. А теперь свою дань возьмет и химиотерапия

Обратный путь был еще тоскливее, чем дорога туда. Я даже не помню, останавливались ли мы перекусить. Я рассказал Кевину и Корду о журналах. «Вы представляете, они дают все это свободно смотреть!» Кевин и Корд были великолепны; они вели себя так, словно ничего особенного не произошло, не было ничего, чего следовало бы стесняться, — обычная, пусть и болезненная, но необходимая процедура. Я оценил их деликатность и перенял их стиль; после этого я уже не стеснялся своей болезни.

Выходные я провел на диване, отходя от операции. Разрез болел, от наркоза мутило. Я лежал и смотрел футбол; мать готовила еду, а потом мы читали все подряд о раке. «Все перелопатили», как выразилась мать. Между сеансами чтения мы обсуждали перспективы. «Как мы выберемся из этого?» — спрашивал я. Мы вели себя так, словно можно было каким-то образом разработать и осуществить план победы над этой напастью, — в чем мы практиковались в былые годы.

Всю первую неделю мама бегала по аптекам, приводила в порядок мою историю болезни, рыскала по книжным магазинам в поисках новых материалов по раку и планировала мой распорядок.

Она купила мне блокнот, чтобы я вел дневник, и книгу для посетителей, чтобы фиксировать, кто меня навещал. /\ля моих друзей она составила график посещений, чтобы, с одной стороны, они не толпились вокруг меня, а с другой — чтобы я никогда не

чувствовал себя одиноким и у меня не было времени впадать в депрессию.

Мама также расчертила календарь на ближайшие три месяца, чтобы отмечать в нем проведенные сеансы химиотерапии, и составила список лекарств с указанием времени приема каждого. Она взяла на себя роль своего рода менеджера. Ее оружием были цветные карандаши, таблицы и графики. Она была твердо убеждена, что хорошая организация и знания помогут лечению болезни.

Она договорилась о встрече с диетологом. Я слез с дивана, и мы поехали к нему. Диетолог дал свои рекомендации насчет борьбы с раком и список продуктов, совместимых с лекарствами, применяемыми при химиотерапии: побольше курятины, брокколи, никакого сыра и прочих жиров, как можно больше витамина С — он поможет бороться с токсинами, образующимися в организме при химиотерапии. Мать сразу же начала варить мне огромные порции брокколи.

Но за всей этой почти маниакальной активностью матери было видно, насколько ей тяжело. Когда она разговаривала со своими родными по телефону, я слышал, как дрожит ее голос, поэтому она вообще перестала звонить, когда я был поблизости.

Она старалась не показывать мне, как сильно переживает, но я знал, что вечерами она уходит в свою спальню и плачет.

В понедельник утром настало время выйти на публику. Я созвал пресс-конференцию и объявил, что заболел и в велогонках участвовать не буду. С моей стороны на пресс-конференции присутствовали Билл, Лайза, мама и несколько спонсоров. По телемосту новость сообщили также европейским журналистам. На связь вышли и представители «Cofidis», членом которой я планировал стать в следующем сезоне. Комнату заполонили корреспонденты с камерами, и я выступил с заранее подготовленной речью. Когда я произнес слово «рак», среди присутствующих пронесся ропот, и я хорошо видел удивление и недоверие на лицах репортеров и операторов. Представитель «Cofidis» по телефону вмешался в разговор: они обещали мне полную поддержку, чтобы я мог вылечиться и вернуться в велоспорт.

— Я исполнен решимости победить эту болезнь, — сказал я в заключение.

— И я выиграю.

В тот же день я вошел в еще одно непримечательное медицинское здание из красного кирпича, чтобы пройти первый сеанс химиотерапии. Меня поразило, насколько неформальной была там обстановка: небольшая комната для ожидания с

несколькими откидными креслами и всех мастей стульями, кофейным столиком и телевизором. Похоже было на гостиную. Такое чувство, что попал на какую-то вечеринку, если бы не одно «но» — все собравшиеся были с капельницами.

Доктор Юман пояснил, что стандартным средством лекарственной терапии при раке яичек является так называемый BEP, коктейль из трех препаратов — блеомицина, этопозида и цисплатина — и что все эти вещества настолько вредны, что медсестры при работе с ними используют противорадиационную защиту. Самым важным компонентом был цисплатин, который на самом деле является производной платины и который впервые при лечении рака яичек стал применять доктор Лоренс Эйнхорн, работавший в медицинском центре в Университете штата Индиана в Индианаполисе. До сделанного Эйнхорном открытия рак яичек считался практически неизлечимым, фатальным — двадцатью пятью годами ранее от него умер, среди прочих, известный футболист Брайан Пикколо, игравший за «Chicago Bears». Зато первый человек, которого Эйнхорн лечил платиной, школьный учитель из Индианаполиса, был до сих пор жив.

Если бы я жил 20 лет назад, то умер бы в течение шести месяцев, объяснил мне Юман. Большинство людей полагают, что Пикколо умер от рака легких, но начиналось все с рака яичка, и спасти его не смогли. Он умер в 1970 году в возрасте двадцати шести лет. После этого был открыт цисплатин, ставший панацеей от рака яичек, и первый пациент Эйнхорна, учитель из Индианаполиса, вылечился и живет уже больше двадцати лет — на каждый его день рождения организуется большая вечеринка, куда неизменно приглашают доктора Эйнхорна и всех его бывших медсестер.

Я подумал: «Начинайте же, дайте мне эту платину». Но Юман предупредил, что лечение может сопровождаться очень плохим самочувствием. В мой организм в течение пяти часов пять дней подряд будут вводить три различных противорако\вых токсина. Они будут оказывать кумулятивный; эффект. Вместе с токсинами мне будут давать противорвотные средства, чтобы несколько облегчить страдания, но полностью избавить меня от тошноты они не смогут.

Эти препараты настолько сильны, что постоянно их принимать нельзя. Лечение будет проводиться трехнедельными циклами; одну неделю я буду принимать препараты, а следующие две недели организм будет отдыхать, «приходить в себя» и вырабатывать новую порцию эритроцитов.

Доктор Юман разъяснял все очень обстоятельно, чтобы мы могли подготовиться к тому, что нас ждет. Когда он закончил, у

меня остался лишь один вопрос. Это был вопрос, который мучил меня и в следующие несколько недель.

— Какова вероятность успеха? — спросил я. — Какие у меня шансы?

— Шестьдесят — шестьдесят пять процентов, — ответил Юман.

Мой первый сеанс химиотерапии оказался до странности обыденным. Во-первых, никакой тошноты я не испытывал. Я вошел и сел на стул в самом углу, последний в ряду, уже занятом шестью — семью пациентами. Мать поцеловала меня и ушла по каким-то делам, оставив меня с другими больными товарищами по несчастью. Я стал одним из них.

Она подготовила меня к тому, что встреча с больными встревожит меня, но этого не случилось. Напротив, я сразу ощутил свое родство с ними. Для меня стала облегчением возможность поговорить с людьми, болевшими тем же, что и я, и поделиться опытом. Ко времени возвращения матери я уже весело болтал с соседом. Он годился мне в деды, но это нисколько не мешало нашему общению.

— Мама, познакомься, — с задором сказал я. — Это Пол, у него рак предстательной железы.

Мне необходимо продолжать двигаться» — говорил я себе.

Каждое утро в течение первой недели химиотерапии я вставал рано, надевал тренировочный костюм, брал наушники и выходил на прогулку. Я не менее часа, глубоко дыша, занимался быстрой ходьбой. Каждый вечер я выезжал на велосипеде.

Барт Нэгс вернулся из Орландо со шляпой Микки-Мауса, которую приобрел в «Disney World». Он вручил ее мне, сказав, что мне нужно будет чем-то прикрывать голову, когда выпадут волосы. Мы вместе выезжали на велосипедные прогулки, и к нам часто присоединялся Кевин Ливингстон. Барт раздобыл в дорожном департаменте кар — ты прилегающих округов, вырезал и склеил их сделав таким образом огромную карту размером почти в два метра. Мы становились на эту карту и выбирали для себя новые маршруты, долгие извилистые дороги, ведущие в никуда. Смысл был в том, чтобы для каждой поездки выбирать новую дорогу, 1 проходящую через места, где мы еще не бывали, а не ездить все время туда и обратно одним и тем же проторенным путем. Монотонные тренировки быстро надоедают, хочется чего-то нового, даже если в половине случаев ты попадаешь на бездорожье или вообще сбиваешься с пути. Иногда неплохо и заблудиться.

Почему я, болея раком, продолжал тренироваться? Велогонка — это настолько тяжелое занятие и твои страдания настолько

велики, что она ощущается как искупление. Ты стартуешь, держа на]своих плечах все мировые проблемы, а после шестичасовой гонки на пороге боли к тебе возвращается душевный покой. Боль так сильна и глубока, что на твой мозг опускается занавес. И ты забываешь, по крайней мере хоть на какое-то время, обо всех своих проблемах, отрешаешься от всего остального, потому что боль и усталость целиком, без остатка поглощают тебя.

Тяжелой работе свойственна бездумная простота, и, наверное, есть доля правды в утверждениях тех, кто говорит, что все спортсмены мирового класса от чего-то убегают. Однажды кто-то спросил, какое удовольствие мне доставляет так долго ехать на велосипеде. «Удовольствие? — переспросил я. — Не понимаю, о чем вы говорите». Я делал это вовсе не ради удовольствия. Я делал это ради боли.

До болезни я никогда не задумывался о том, что же с психологической точки зрения побуждает человека сесть на велосипед и шесть часов крутить педали. Причины меня не очень-то интересовали; многое из того, что мы делаем, кажется бессмысленным, пока это делаешь. Я не хотел подвергать это анализу, потому что боялся выпустить джинна из бутылки.

Но теперь-то я точно знал, зачем крутил педали: если я мог продолжать это занятие, значит, я вроде как и не очень болен.

От физической боли я страдал не так уж сильно, потому что привык к ней. На самом деле я не то чтобы страдал — скорее, чувствовал себя обманутым. Чем больше я думал об этом, тем больше рак мне казался похожим на гонку. Только место назначения изменилось. Рак и велогонку роднили такие физические аспекты, как зависимость от времени, точки контроля через определенные интервалы и рабская сосредоточенность на цифрах и анализах крови. Единственное различие состояло в том, что на болезни я был сфокусирован гораздо больше, чем на любой гонке. При такой болезни я не мог позволить себе проявлять нетерпение или отвлекаться; я должен был постоянно думать о своей жизни, о том, как прожить каждое следующее мгновение. И это сравнение болезни и велоспорта странным образом воодушевляло меня: выиграв жизнь, я одержал бы величайшую в своей карьере победу.

Я был так сосредоточен на успехе, что в течение первого сеанса химиотерапии ничего не чувствовал. Абсолютно ничего. Я даже сказал доктору Юману: «Может, мне нужно увеличить дозу?» Я не пони мал, насколько мне повезло в том, что мой организм так хорошо переносил эти препараты. Мне еще предстояло познакомиться с пациентами, которых выворачивало наизнанку после первого цикла, а к концу лечения я и сам

страдал от таких приступов тошноты, которые не могли смягчить никакие лекарства.

Единственным, от чего я страдал в первое время, было отсутствие аппетита. Когда ты проходишь химиотерапию, любая еда кажется отвратительной. Мама ставила передо мной тарелку и говорила: «Сынок, если ты не голоден и не хочешь это есть, я не обижусь». Но я пытался есть. Всякий раз, когда я просыпался после дневного сна, она ставила передо мной тарелку с нарезанными фруктами и большую бутылку воды. Мне нужно было есть, чтобы я мог продолжать двигаться.

«Двигайся», — говорил я себе. Я поднимался, одевался, цеплял наушники — и на прогулку. Я даже не знал заранее, куда пойду. Я поднимался на крутой холм, выходил за ворота усадьбы и шел по дороге.

Пока я мог двигаться, я был здоров.

Через пару дней после начала химиотерапии мы получили уведомление из больницы:

> *«Судя по нашим записям, у вас нет медицинской страховки».*

Я смотрел на это письмо, ничего не понимая. Это было совершенно невозможно. У меня был договор с «Motorola», и я должен быть полностью застрахован. В раздражении я позвонил Биллу Стэпл-тону и прочитал ему письмо. Билл успокоил меня и сказал, что разберется.

Несколько часов спустя Билл перезвонил. «Плохо дело», — сказал он. Я заболел в неудачное время. Я как раз сменил команду, и хотя мой контракт с «Cofidis» уже начал действовать, на мою болезнь страховое покрытие не распространялось, поскольку заболел я до заключения договора. Что лее касается моей страховки в «Motorola», то ее срок истек. Мне придется платить за лечение и госпитализацию из собственных средств, если только Билл ничего другого не придумает.

У меня был рак, а страховки не было.

В те первые дни меня ждало много ужасных открытий, в том числе и материального свойства. Мне грозило разорение. Я оглядел свой дом и стал думать о том, что бы продать. Я полагал, что меня ждет полный финансовый крах. Совсем недавно я собирался зарабатывать два миллиона долларов в год, и вот я уже ни с чем. Страховка на случай нетрудоспособности у меня была, но это все. У меня не будет доходов, поскольку компании, которые спонсировали меня или платили мне зарплату, наверняка отвернутся от меня — ведь участвовать в гонках я не буду. «Porsche», которым я так дорожил, теперь казался мне

символом роскоши и декадентского потакания своим прихотям. Мне придется оплачивать все счета за лечение до последнего пенни. Я начал планировать пожарную распродажу. Избавлюсь от «Porsche», некоторых произведений искусства и других игрушек.

«Porsche» ушел уже через несколько дней. Я продал его по двум причинам. Первой и главной было то, что мне нужно было оплатить лечение, а потом еще на что-то жить. Но, думаю, была и другая причина: я ощутил потребность жить проще.

Я стал прилежным студентом «ракового университета». Посетив самый крупный в Остине книжный магазин, я купил все, что было там на эту тему. Вернулся домой с десятком томов: правильное питание, эмоциональное преодоление, курс медитации. Я был готов принять во внимание любой вариант, каким бы дурацким он ни казался. Читал о льняном масле — «верном средстве» против артрита, инфаркта, рака и других болезней, о соевом порошке — «проверенном истребителе» раковых клеток. Я читал «Yoga Journal» и на какое-то время проникся учением радж, представленным как «приглашение в мир идеального здоровья», вырывал страницы из журнала «Discover» и собирал газетные вырезки о далеких клиниках и заморских чудо-снадобьях. Среди прочего, я внимательно изучил статью о какой-то клинике в Доминиканской Республике, обещавшей «абсолютно надежное излечение рака».

Я проглатывал все, что скачивал мне из интернета Барт, и всякий раз, когда он звонил, я спрашивал: «Что-нибудь еще есть?» Я никогда не отличался особой любовью к чтению, но теперь я стал всеяден и ненасытен. Барт обратился на сайт электронного книжного магазина «Amazon.com» и вычистил оттуда все, что было.

— Послушай, ты действительно хочешь, чтобы я заказал все, что нашел?

— Да, я хочу все. Все-все.

Таким образом я, выпускник средней школы, получивший эклектическое образование в Европе, дошел до того, что штудировал медицинскую литературу. Мне всегда нравилось почитывать журналы, посвященные финансам и архитектуре, но книгами я особенно не интересовался. Я был слишком неусидчив и не умел долго сосредоточиваться на каком-то одном предмете. А теперь я принялся за изучение состава крови и основ онкологии. Это стало моим вторым образованием, и бывали дни, когда я думал: «Я мог бы поступить в университет и попытаться стать врачом, ведь я неплохо в этом разбираюсь».

Я целыми днями сидел на диване, роясь в книгах, разговаривая по телефону, изучая контрольные Цифры. Я хотел

точно знать, каковы мои шансы, чтобы на этой основе придумать наилучшую стратегию борьбы. И чем больше я изучал этот вопрос, более высокими казались мне мои шансы хоть из прочитанного мною напрямую это никак не следовало. Знание придает больше уверенности в себе, чем неведение: по крайней мере, я знал, с чем! имею дело, или думал, что знал.

Существует странное сходство между миром рака и миром велоспорта. Там и тут огромное внимание уделяют анализу крови. В велоспорте одним из способов мошенничества является прием препаратов, ускоряющих производство организмом эритроцитов — красных кровяных клеток. В борьбе с раком, если уровень гемоглобина у меня опускался ниже определенного уровня, мне прописывали тот же самый препарат — эпоген. Существовал некий; нижний уровень параметров крови, опускаться ниже которого было нельзя, и, исследуя мою кровь, врачи-онкологи фактически делали то же самое, что и спортивные врачи: определяли мой порог физиологического стресса.

Я выучил целый новый язык, легко оперируя такими словечками, как ифосфамид (вещество, применяемое при химиотерапии), семинома (разновидность раковой опухоли), лактат дегидрогеназы (ЛДГ, маркер крови) и терапевтическая схема. Я хотел знать все, все возможные варианты и мнения.

Я начал получать горы писем и открыток с выражениями сочувствия, пожеланиями удачи и предложениями насчет лечения — и читал все подряд. Это было еще одним способом избежать тоскливых мыслей, потому по вечерам мы с Лайзой и матерью сортировали письма и по возможности отвечали.

Однажды вечером я получил письмо из медицинского центра Университета Вандербильт. Автором письма был доктор Стивен Вулф, заведующий отделением трансплантации костного мозга. В своем письме доктор Вулф представился как профессор медицины, онколог, большой любитель велоспорта и предложил любую посильную помощь. Он настоятельно советовал мне изучить все возможные варианты лечения и предложил в любое время обращаться за советом и поддержкой. В этом письме мое внимание привлекли два обстоятельства: во-первых, доктор Вулф явно хорошо разбирался в велоспорте, а вовторых, он очень настойчиво рекомендовал мне обратиться за советом к самому Лар-ри Эйнхорну в Университет штата Индиана, поскольку тот был ведущим специалистом по моей форме рака. Вулф писал: «Вы должны иметь в виду, что существуют не менее эффективные методы химиотерапии, которые могли бы минимизировать побочные эффекты, не подвергая опасности ваши спортивные

качества».

Я снял трубку и позвонил Вулфу. «Здравствуйте, это Лэнс Армстронг», — сказал я. Вулф не ожидал звонка от меня, но смог быстро собраться и после короткого обмена любезностями начал осторожно допытываться, как и чем меня лечат. Он пояснил, что вовсе не хочет ставить под сомнение профессионализм остинских врачей, а просто хочет мне помочь. Я сказал, что меня лечат по стандартной схеме химиотерапии для тестикулярного рака с метастазами в легких, BEP.

— Прогноз неблагоприятный, — добавил я.

С этого момента я стал не просто пациентом, а активным и равноправным участником лечения. Раньше я представлял медицину как определенные действия врача в отношении пациента. Врач всезнающ и всемогущ; пациент беспомощен. Но постепенно я начал понимать: нет ничего плохого в1 том, что я буду получать помощь сразу из нескольких источников, объединив усилия разных врачей, и что пациент в процессе лечения играет не менее важную роль, чем врачи. Доктор Ривс был моим:: урологом, доктор Юман — моим онкологом, а теперь доктор Вулф стал моим другом и защитником, моим «третьим глазом» и человеком, которому всегда можно задать интересующие меня вопросы. Каждый врач играл критически важную роль, но пЦ один из них не мог взять на себя всю полноту ответственности за мое здоровье. Самым же главным было то, что я начал делить эту ответственность вместе с ними.

— Какой у вас уровень ХГЧ? — спросил Вулф.

ХГЧ, как я уже знал, — это белок эндокринной системы, стимулирующий работу женских яичников, и очень важный маркер крови, поскольку мужском организме его быть не должно. Я прошуршал бумагами и нашел нужную цифру.

— Сто девять, — сказал я.

— Высокий, — произнес Вулф. — Но ничего необычного в этом нет.

Я присмотрелся и увидел напротив цифры какую-то пометку.

— Кстати, а что означает буква К? — спросил я.

Вулф мгновение помолчал.

— Это значит 109 тысяч, — ответил он.

Если уж цифра 109 была очень высокой, то что говорить про 109 тысяч? Вулф начал спрашивать меня и о других маркерах — АФП и ЛДГ. Я задавал встречные вопросы: «А что это значит?»

Вулф объяснил, что уровень ХГЧ у меня слишком высок даже с учетом опухолей в легких. Откуда это берется? Он осторожно предположил, что мне, быть может, стоило бы попробовать более агрессивную терапию. А потом поставил перед удручающим

фактом: высокий уровень ХГЧ автоматически переводит меня в категорию с наихудшим прогнозом.

Вулфа смущало и другое. Он сказал, что блеомицин чрезвычайно токсичен для печени и легких. На его взгляд, к лечению нужно подходить предельно индивидуально. То, что хорошо для одного пациента, может принести вред другому, и в моем случае применение блеомицина могло быть неоправданным. Велосипедисту нужны не только крепкие ноги, но и сильные легкие, а продолжительное применение блеомицина почти наверняка положит конец моей спортивной карьере.

— Есть ведь и другие химиопрепараты, — сказал

Вулф. — Можно выбирать. К тому же, — добавил он, — я знаю людей, которые являются лучшими

специалистами по лечению вашей болезни.

Оказалось, что он дружен с Эйнхорном и другими онкологами из медицинского центра Университета штата Индиана. Он также рекомендовал ещеЯ два центра по лечению рака — в Хьюстоне и Нью-Йорке. Кроме того, он вызвался договориться о консультациях. Я с радостью согласился.

Мать снова взялась за работу. К следующему утру она собрала всю необходимую документацию по моей истории болезни и отослала ее факсом в Хьюстон и Индианаполис для консультации. В 10 утра, когда позвонили из Хьюстона, я катался на велосипеде. С нами связались два врача-онколога. Мама внимательно слушала два бестелесных голоса, обсуждавших с ней мой случай.

— Мы проанализировали полученную информацию, — сказал один. — Может быть, стоит сделать МРТ мозга?

— А зачем это нужно? — спросила мать.

— У нас есть основания думать, что рак проники в мозг, — последовал ответ.

— Вы, должно быть, шутите? — взволнованно!

воскликнула мать.

— Когда мы видим подобные цифры, это обычно связано с поражением мозга. Мы полагаем, ваш сын нуждается в более агрессивном лечении.

Мама в изумлении возразила:

— Но ведь он ТОЛЬКО-ТОЛЬКО начал химиотерапию.

— Послушайте, — вмешался другой голос- Мы считаем, что при существующих темпах лечения ваш сын не скоро выкарабкается.

— Не говорите так, — взмолилась мать. — Я боролась за него всю свою жизнь.

— Мы думаем, вы должны немедленно приехать сюда и

приступить к лечению в нашем центре.

— Лэнс вот-вот вернется, — неуверенно произнесла мать. — Я передам ему, и мы перезвоним вам.

Я вернулся через несколько минут, и мать сказала:

— Сынок, нам надо поговорить.

Я видел, как она потрясена, и ощутил знакомое чувство страха в животе. Пока мама вкратце передавала мне, что сказали врачи, я сидел совершенно безмолвно и неподвижно — и казалось, чем серьезнее становилась проблема, тем спокойнее я к ней относился. Минуту спустя я бесстрастно сказал матери, что хочу сам поговорить с этими врачами и услышать, что они скажут.

Я перезвонил им и заново выслушал то, что они уже сообщили моей матери. В ответ на их приглашение я усталым голосом сказал, что приеду к ним в Хьюстон при первой же возможности. Закончив разговор, я позвонил Юману и пересказал ему содержание беседы с хьюстонскими врачами.

— Доктор Юман, они считают, что рак может быть в мозге. Они говорят, что мне нужно сделать магнитно-резонансную томографию мозга.

— Я как раз и собирался предложить вам это завтра, — сказал Юман. — Честно говоря, вы уже поставлены в очередь на полдень.

Доктор Юман пояснил, что тоже заподозрил Сражение мозга, потому и запланировал МРТ.

Я позвонил Стиву Вулфу и рассказал ему о состоявшихся разговорах. Когда я сказал, что намерен завтра же ехать в Хьюстон, Стив согласился, что съездить туда стоит, но опять рекомендовал поговорить также и с врачами из Университета; штата Индиана, поскольку там находится це всех исследований, посвященных раку яичек. Если все врачи строят свои терапевтические схемы на рекомендациях Эйнхорна, то почему бы не обратиться непосредственно к первоисточнику? Правда Эйнхорн в это время был в отъезде, в Австралии,! но Стив предложил связать меня с его ведущим сотрудником, доктором Крейгом Николсом. Я согласился, и Стив позвонил Николсу, чтобы договориться о консультации для меня.

На следующее утро я прибыл в больницу для прохождения МРТ. Ради моральной поддержки со мной поехали Лайза, мама и Билл Стэплтон. Из Далласа прилетела также моя бабушка. Увидев доктора Юмана, я обреченно произнес:

— Я вполне готов к тому, что рак поселился меня в голове, и уже знаю, что вы мне скажете. МРТ мозга — это страшная для страдающих клаустрофобией процедура, в ходе которой тебя

протягивают через туннель, такой узкий, что ты едя ва не касаешься его носом и лбом, при этом кажется, что ты вот-вот задохнешься. Мне она ужасно не понравилась.

Результаты сканирования стали известны почти сразу. Мать, бабушка и Билл ждали в вестибюле, но Лайзу я взял с собой в кабинет доктора Юмана. Мы сели рядом, и я сжимал ей руку. Доктор Юман;, бросил взгляд на томограмму и с трудом произнес

— У вас в мозге два пятна.

Лайза закрыла глаза. Я был готов к этому, она — нет. Не была готова и мать, ожидавшая меня снаружи. Я вышел и сказал: «Надо ехать в Хьюстон». Больше ничего говорить было не нужно; она все поняла сама.

Доктор Юман не возражал:

— Согласен. Почему бы вам действительно не поговорить с хьюстонскими специалистами? Это

очень хорошая идея. Я уже знал, что он превосходный врач, а теперь у меня еще был повод оценить его скромность. Он оставался моим местным онкологом и в дальнейшем, и я встречался с ним еще много раз по поводу анализов крови и прочих обследований, но благодаря щедрости своей души и готовности сотрудничать в моем лечении с другими врачами он стал еще и моим другом.

Лайза и мама не могли удержаться от слез. Но я, как ни странно, был совершенно спокоен. «Напряженная получилась неделя», — сказал я себе. Диагноз мне поставили в среду. В четверг оперировали, в пятницу вечером выписали из больницы. В субботу я сдавал сперму, в понедельник утром провел пресс-конференцию, объявив всему миру, что у меня рак яичка. В тот же день началась химиотерапия. Теперь уже опять был четверг, и рак нашли у меня в мозге. Этот мой соперник оказался Упорнее, чем я думал. И казалось, что нет никакого просвета, никаких сколько-нибудь хороших новостей: рак в легких, третья стадия, нет страховки, поражен мозг.

Когда мы вернулись домой, мама, собравшие! с силами, села за факс и отправила в Хьюстон новую порцию документов. Лайза сидела в гостиной совершенно потерянная. Я позвонил Барту и рассказал ему о своих планах. Барт спросил, не нужна ли мне компания для этой поездки, и я принял его предложение. Мы договорились выехать завтра, в 6 утра.

Хотите верьте, хотите нет, но, услышав самую плохую новость, я ощутил даже некоторое облегчение — поскольку казалось, что хуже быть уже не! может. Никакой врач не мог мне уже сказать ничего такого, что могло бы напугать меня; все самое страшное я уже познал.

Каждый раз, когда мне сообщали новый диагноз, я задавал врачам трудный вопрос: «Какие уменя гиансы?» Я хотел знать точные цифры. А они! с каждым днем все уменьшались. Доктор Ривс | говорил мне про 50 процентов. («Но на самом д ле я оценивал их не выше двадцати», — признался| он мне позже.) Если бы он был абсолютно от-? кровенен тогда, то сказал бы, что едва сдерживал! слезы, когда обследовал меня, потому что, как ему! тогда казалось, видел перед собой смертельно! больного 25-летнего парня и не мог удержаться от мыслей о своем собственном сыне, которому; было столько же лет, сколько и мне. Если бы пре-; дельно честен был Барт Нэгс, то сказал бы, что, когда он рассказал обо мне своему будущему тестю, врачу, тот уверенно заявил: «Твой друг практически мертвец».

«Каковы мои гиансы?» — этот вопрос я задавал себе снова и снова. Но это было абсолютно бессмысленно. Это не имело никакого значения, потому что никакие медицинские прогнозы не могут объять необъятное, не могут учесть то, что никакому учету не поддается. Нет никакой возможности оценить шансы человека, и не надо даже пытаться, потому что мы никогда не можем быть абсолютно уверены в правильности оценки, а ошибка может лишить человека надежды. Надежда же — единственное противоядие против страха.

Эти вопросы — «Почему я? Каковы мои шансы?» — не имеют ответов и слишком эгоцентричны. Большую часть своей жизни я прожил, подчиняясь простой схеме: «да-нет», «победа-поражение», но рак научил меня быть терпимым к неоднозначности. Я все больше понимал, что болезнь эта шансам не повинуется — зачастую она уничтожает крепких телом и сильных духом, но почему-то щадит слабых и отчаявшихся. Я всегда считал, что победы в гонках делают меня сильнее и достойнее других. Это совсем не так.

Почему я? А почему кто-то другой? Я не более и не менее ценен, чем любой человек, сидящий рядом со мной в центре химиотерапии. Дело здесь не в достоинствах.

Что сильнее: страх или надежда? Интересный вопрос, и, может быть, даже важный. Поначалу я очень боялся и не очень надеялся, но в то время, как болезнь пожирала мое тело, я не дал страху полностью вытеснить из себя оптимизм. Что-то подсказывало мне, что страху нельзя давать власти, и я решил не бояться.

Я хотел жить, но буду ли жить, оставалось тайной, и, осознав этот факт, в ту же секунду я подумал, что проникнуть в нее было бы совсем неплохо. Жить в страхе — бесценный урок. Когда ты боишься, то узнаешь свои слабости, свои пороки и недостатки, и

это меняет тебя как человека. Я был на краю могилы, и спасения не было практически ни в чем, кроме как в философии; болезнь заставила меня узнать о себе как личности больше, чем за всю мою предшествующую жизнь, и выйти на иной этический уровень.

За несколько дней до того, как я начал понимать все это, по электронной почте мне пришло письмо от военного, проходившего службу в Армии. Он тоже был болен раком, и ему захотелось поделиться со мной. «Ты еще не знаешь, — писал он, — как нам повезло».

Я произнес вслух: «Псих какой-то».

Что он имел в виду?

Глава пятая
БЕСЕДЫ С РАКОМ

Когда что-то чужеродное поселяется в твоей голове, оно перестает быть чужим тебе и постепенно становится пусть незваным и нежеланным, но все-таки своим, близким, личным. Я решил воспользоваться этой близостью и вступил в переговоры со своим раком. В споре с ним я старался быть твердым. «Ты выбрал не того парня, — говорил я ему. — Когда ты искал тело, чтобы поселиться, ты совершил большую ошибку, выбрав именно меня».

Но даже произнося эти слова, я понимал, что это лишь пустое бахвальство перед соперником. Лицо, смотревшее на меня из зеркала по утрам, было бледным, с затуманенными глазами, с вытянувшимся в тонкую твердую линию ртом. В звуке своего внутреннего голоса я слышал незнакомую нотку — неуверенность.

Я пытался торговаться: «Если для сохранения жизни нужно, чтобы, я никогда больше не сел на велосипед, я согласен. Покажи мне, где поставить подпись, и я распишусь. Я буду заниматься чем-нибудь другим, поступлю в университет, стану мусорщиком — что угодно. Только сохрани мне жизнь».

В Хьюстон мы выехали еще до рассвета. Мама сидела за рулем своего «Volvo», а мы с Лайзой расположились на заднем сиденье, что вообще-то было мне не свойственно. Я всегда предпочитал вести машину сам, и то, что я предоставил это право матери, свидетельствовало о степени моей озабоченности. Все три часа мы ехали практически в полном молчании, изможденные и потерянные в собственных мыслях; минувшую ночь никто из нас почти не спал. Мама так давила на педаль акселератора, словно хотела разом покончить со всей этой историей. Погруженная в свои мысли, она едва не задавила собаку.

Хьюстон — это огромная агломерация с постоянными дорожными пробками. Езда по этому городу — сплошная нервотрепка. Больницу мы нашли к 9 часам и, войдя в приемный покой, прождали там еще два часа — слишком рано приехали. Сидя в приемном покое, я ощущал себя как будто в очередной дорожной пробке.

Университетская больница с прилегающим учебным корпусом раскинулась на огромной территории. Большущие, отзывавшиеся эхом коридоры были заполнены людьми — больными, плачущими детьми, обеспокоенными родственниками, грубоватыми администраторами, издерганными медсестрами,

врачами, студентами-медиками. Никогда не гаснущие флуоресцентные лампы на потолке излучали равномерный белый свет, такой типичный для больниц, от которого даже здоровые выглядели бледными и напряженными. Казалось, нам придется ждать вечно, и я все больше нервничал. Чтобы убить время, я листал журналы, барабанил карандашом по подлокотнику кресла, далее сделал несколько звонков по сотовому телефону.

Наконец появился врач, с которым я разговаривал накануне, и мы познакомились уже очно. Он был просто образцом талантливого онколога — очень благовоспитанным молодым человеком с изысканными манерами и сухощавой статью бегуна под медицинским халатом.

— Я звонил вам, — сказал он.

— Рад вашему приезду.

Но когда с любезностями было покончено, его тон резко сменился на жесткий и холодный. Как только мы прошли в его кабинет, он очертил терапевтическую схему. Он будет продолжать лечить меня блеомицином, но резко увеличит дозировку по сравнению с той, что прописал мне доктор Юман.

— Вы выползете отсюда на четвереньках, — сказал он.

Я был шокирован. Мать изумилась не меньше моего. А врач продолжал:

— Я буду убивать вас. ьУбивать изо дня в день, а потом верну к жизни. Мы нокаутируем вас химиотерапией, потом нокаутируем снова и снова. Вы даже ходить не сможете, — он говорил совершенно бесстрастно. — Потом нам придется практически заново учить вас ходить.

Поскольку такая терапия влечет за собой бесплодие, детей у меня, по всей вероятности, уже не будет. Поскольку блеомицин разъедает легкие, о возвращении к велоспорту не может быть и речи. Я буду страдать от постоянных болей.

Чем больше он говорил, тем более живо передо мной рисовались картины моей полной инвалидности. Я спросил, почему необходима столь суровая схема.

— Положение у вас — хуже некуда, — ответил он.

— Но ваш единственный шанс — здесь, в этой |больнице.

Когда он закончил, мать вся дрожала. Лайза сидела совершенно потрясенная. Барт злился. Он пытался перебить врача и задать вопросы об альтернативных методах лечения. Барт — человек очень основательный, он умеет задавать вопросы и постоять за себя. Но доктор только отмахивался.

— Послушайте, — говорил он, обращаясь ко мне. — Шансов у вас немного. Но они будут на много выше, если вы станете лечиться здесь, а не где-либо еще.

Я спросил, что он думает о лечении, применяемом Эйнхорном в Индианаполисе. Он лишь презрительно скривился.

— Вы можете, конечно, съездить в Индиану, но я почти уверен, что потом все равно вернетесь сюда. Их терапия в таких запущенных случаях, как ваш, не помогает.

Наконец его презентация закончилась. Он хотел, чтобы я приступил к химиотерапии под его руководством незамедлительно.

— Такое лечение вы можете получить только здесь, и, если вы откажетесь, я ни за что не ручаюсь, — сказал он.

Я сказал, что мне нужно подумать над его словами и что я дам ответ после обеда.

По Хьюстону мы ехали в полной прострации. Остановились возле какой-то закусочной, но после столь прямолинейного резюме относительно моего положения, услышанного в больнице, никто особенно есть не хотел. Обстоятельства принуждали меня принимать решение очень быстро: была пятница, а лечение предполагалось начать уже в понедельник.

Я был совершенно обескуражен. Я еще мог примириться с тошнотой и болью, но идея быть низведенным до уровня немощного инвалида повергала в полное уныние. Я пункт за пунктом взвешивал все «за» и «против» сделанного предложения и спрашивал, что думают по этому поводу мать, Лайза и Барт. Как обсуждать такие вопросы? Я пытался найти в этой консультации какой-то позитив, высказывая мнение, что подобная нетерпимость врача к конкурентам и такая его уверенность в себе — это, быть может, хорошо. Но я видел, что мать от него просто в ужасе.

Схема терапии была предложена очень интенсивная — вряд ли мне предложат такую где-нибудь еще. «Я не смогу ходить, не смогу иметь детей, не смогу заниматься велоспортом», — думал я. Обычно я не жалел себя, я привык к чрезмерным нагрузкам: агрессивные тренировки, агрессивные гонки. Но сейчас я впервые подумал: «Не слишком ли? Может быть, мне столько и не нужно?»

Я решил позвонить доктору Вулфу и посоветоваться с ним. Общение с ним меня несколько успокоило. «Еще одно мнение вам не повредит», — сказал он под конец. Вулф не считал, что мне следует торопиться и принимать решение в тот же день. Прежде нужно хотя бы съездить в Индиану. И чем больше я думал об этом, тем больше мне нравился этот совет. Почему бы не съездить в Индианаполис и не встретиться с людьми, которые написали о раке яичек целую книгу и на чьи рекомендации опирались все другие врачи?

Из машины я позвонил доктору Крейгу Николсу, помощнику Эйнхорна. Я объяснил всю серьезность своей ситуации и сказал,

что хочу как можно скорее узнать, какие еще существуют альтернативы и можно ли к нему приехать?

Николе ответил, что ждал моего звонка. «Приезжайте, как только сможете». Успею ли я приехать, чтобы мы могли встретиться завтра утром пораньше? То есть он предлагал мне встретиться в субботу! Позже я узнал, что это было сделано не в виде исключения. Сотрудники медицинского центра Университета штата Индиана принимают больных и в выходные дни, в каком бы состоянии пациенты ни были, да еще ежедневно дают телефонные консультации пациентам и другим врачам со всего мира.

Но было уже три часа пополудни, а меня повергала в ужас даже сама мысль о том, чтобы вернуться в хьюстонскую больницу и забрать документы. Тамошний доктор очень хотел меня вылечить, но он очень пугал меня. Когда я сказал ему, что хочу подождать день или два, прежде чем принять решение, он любезно пожелал мне удачи. «Только не ждите слишком долго», — сказал он на прощанье.

Решение ехать в Индианаполис несколько взбодрило мою мать, и она опять взяла на себя функции менеджера. Первым делом она позвонила в офис Билла Стэплтона и сказала его секретарше: «Стей-си, нам нужно лететь в Индианаполис». Затем мы погрузились в машину и поехали в аэропорт Хьюстона. Мамин «Volvo» мы бросили на необъятной автостоянке. Ни у кого из нас не было ни смены белья, ни зубной щетки, поскольку мы собирались в Хьюстон лишь на один день. Добравшись до билетных касс, мы обнаружили, что Стейси успела заказать нам четыре места.

Когда мы приземлились в Индианаполисе, мама снова позаботилась о нас и взяла напрокат машину. Там было холодно, но мама нашла поблизости от больницы неплохой отель. Зарегистрировавшись, мы разошлись по номерам и завалились спать. Нам предстояла короткая ночь, потому что рано утром была запланирована наша встреча с Доктором Николсом.

Я поднялся еще до зари и стал причесываться перед зеркалом. В ожидании последствий химиотерапии я заранее коротко остриг волосы. Теперь на расческе остался большой клок. Я надел кепку и спустился в холл. В отеле был буфет, где с утра подавали каши и фрукты, и мама была уже! там. Сев к ней за столик, я снял кепку.

— Волосы выпадают, — объявил я.

Мама попыталась улыбнуться:

— Что ж, мы знали, что так будет.

Я зажал под мышкой свои рентгеновские снимки и прочие

документы, и мы, дрожа от предутреннего холода, пошли через дорогу к больнице. Это была типичная университетская больница, расположенная в большом, похожем на государственное учреждение здании. На лифте мы поднялись в отделение онкологии, и нас проводили в конференц-зал с огромным зеркальным окном.

Когда мы вошли, начинался восход, и комната постепенно наполнялась светом. В течение следующего часа солнце поднималось все выше, и светлее становилось не только в помещении, но и у меня на душе.

Мы познакомились с врачами, которые собирались меня консультировать. Крейг Николе оказался видным мужчиной с ухоженной бородкой. В руке он держал чашку с дымящимся кофе. Я не пил кофе уже несколько дней и ужасно по нему скучал. Я отказался от кофе потому, что так рекомендовали книги о правильном питании. Если кофеин не помогает мне спасти жизнь, он мне не нужен. Но, глядя на чашку Николса, я не выдержал.

— А можно мне кофе? — попросил я.

— Это, вероятно, не лучший вариант для вас, сказал врач, — но чашечка вас, наверное, не погубит. Угощайтесь.

Компанию Николсу составлял Скотт Шапиро, нейрохирург. Это был высокий широкоплечий мужчина, очень похожий на актера Эйба Вигоду, с такими же глубоко посаженными глазами и кустистыми бровями. Доктор Николе вкратце описал ему мое положение: у меня диагностировали тестику-лярный рак, давший метастазы. «Метастазы найдены в груди и в мозге», — сказал он.

Мы сели, и разговор начался. В больнице было тихо. Николе говорил спокойно и размеренно. Все это вкупе с ласковым солнцем вселяло в меня некую умиротворенность. Пока Николе говорил, я изучал его. У него была привычка в разговоре прислоняться к стенке, откидываться в кресле, сцепив руки за головой, и прокашливаться. Николе выглядел очень расслабленным, но за этой его расслабленностью чувствовалась большая уверенность в себе. Он мне все больше нравился.

— Мы, гм, — сказал он, прочищая горло, — оцениваем ваши шансы, гм, довольно высоко.

Я сказал Николсу, что приехал к ним из Хьюстона. Я ожидал, что он отнесется к своим хьюстонским коллегам с таким же пренебрежением, какое демонстрировали те, но он оказался великодушен. «Это отличная больница, и мы высоко ценим ту работу, которую они делают», — сказал он. Затем он взял мою историю болезни и начал просматривать ее. Прикрепив мои рентгеновские снимки к экрану с подсветкой, он стал указывать на участки аномалий в моей груди, насчитав 12 опухолей

(«множественные узелковые утолщения с обеих сторон», как он выразился). Одни выглядели мелкими крапинками, другие достигали по величине 27 миллиметров. Затем он обратился к результатам сканирования мозга и показал мне два аномальных участка в правой половине. Это были белые пятна размером с виноградину.

Я слушал очень внимательно — наличие метастазов в собственном мозге заставляет быть сосредоточенным. Николе сделал некоторые осторожные предположения насчет прогноза и насчет того, как бы он взялся за лечение болезни. Его речь была очень простой и конкретной.

— У вас запущенная форма, а поражение мозга лишь усугубляет ситуацию, — сказал он и пояснил, что обычно метастазы в области мозга химиотерапией не лечатся из-за наличия гематоэнцефалического барьера, который представляет собой своеобразный физиологический защитный ров, отделяющий мозг и не допускающий попадания в него препаратов, используемых в химиотерапии. Альтернативными вариантами была лучевая терапия и/или хирургическое вмешательство. Сам Николе отдавал предпочтение хирургии.

Как всегда, я жаждал полной и точной информации.

— Какие у меня шансы?

— Видите ли, из-за позднего старта, — сказал

Николе, имея в виду, что болезнь была обнаружена слишком поздно, — шансы не в вашу пользу. Но потенциально ваша болезнь излечима. Думаю, насчет шансов вам лучше бросить монетку.

Николе был человек трезвомыслящий и реалистичный, но и оптимист. Благодаря применению платины в отношении рака яичек вероятность излечения существует почти всегда, и ему приходилось видеть людей с куда более запущенными формами болезни, чем у меня, которые тем не менее выжили.

— Здесь мы сталкиваемся с самыми тяжелыми случаями, — сказал он. — Несмотря на то что вы относитесь к категории с плохим прогнозом, хочу вас обнадежить: мы достигали успеха и в намного худших ситуациях.

А потом Николе просто поразил меня, сказав, что намерен построить схему лечения так, чтобы впоследствии я мог вернуться к велоспорту. Об этом не упоминал еще ни один врач, за исключением Стива Вулфа. Никто. Поначалу я так растерялся, что даже не поверил. Поездка в Хьюстон, особенно описание ужасов лечения и тех чрезвычайных мер, которые нужно принять для моего спасения, очень расстроила меня, и я уже не думал ни о чем, кроме как о сохранении жизни. «Просто помогите мне

выжить», — говорил я.

Но доктор Николе был не просто уверен в том, что я выживу, он, казалось, считал, что я еще смогу и в спорт вернуться. При этом он не намеревался подвергнуть риску мои шансы на выживание; он хотел лишь так изменить терапевтическую схему, чтобы сохранить мои легкие. Существовала другая схема основанная на платине химиотерапии, называвшаяся VIP (винбластин, этопозид, ифосфамид, цисплатин), которая, с одной стороны, была сильнее по действию, чем BEP, но не так поражала легкие, как блеомицин. От ифосфамида, сказал мне врач, тошнота и дискомфорт будут еще сильнее, но если я выдержу три цикла VIP в дополнение к уже пройденному мною циклу BEP, то, возможно, не только избавлюсь от рака, но и смогу в достаточной степени восстановить физическую форму, чтобы вернуться в велоспорт.

— Вы хотите сказать, что мы можем обойтись без того, что применяют все, — спросила мать, — без блеомицина?

— Но мы же не хотим, чтобы его легкие пострадали, — ответил Николе.

Затем он продолжил. Избавиться от опухоли мозга он предпочел бы хирургическим путем. Станартным методом лечения является лучевая терапия, но радиация может иметь кратковременные побочные эффекты на центральную нервную систему; некоторые пациенты после такой терапии повреждаются в уме, страдают нарушениями координации. «После лучевой терапии они уже не такие, какими были до нее», — сказал он. В моем случае одним из потенциальных последствий могло бы стать некоторое нарушение вестибулярного аппарата. Для обычного человека в этом не было бы ничего страшного, но когда несешься на велосипеде с горы, без умения держать равновесие не обойтись.

Потом слово взял Шапиро, и я начал изучать глазами его. Кроме сходства с Вигодой, я обратил внимание на то, как он был одет: спортивный костюм «Adidas», поверх которого был накинут традиционный халат. «И этот парень — нейрохирург?» — с удивлением подумал я. Он казался мне слишком небрежным, чтобы вообще быть врачом.

— Давайте посмотрим на снимки, — легко, почти весело сказал Шапиро.

Николе протянул их. Шапиро прикрепил снимки к экрану с подсветкой и, рассмотрев их, начал медленно кивать.

— М-мм, да, — произнес он. — Я могу с этим справиться. Никаких проблем.

— Никаких проблем? — удивленно переспросил я.

Шапиро указал на мозговые повреждения и сказал, что они, судя по всему, находятся на самой поверхности мозга, поэтому добраться до них будет сравнительно несложно, используя так называемую стереотаксическую технологию, позволяющую точно определить расположение раковой опухоли и благодаря этому сделать сравнительно небольшой разрез.

— Это позволит нам изолировать новообразования еще до самой операции и сократить время работы под черепной коробкой вчетверо по сравнению с тем, как это делалось раньше.

— А риск какой? — спросил я.

— Ввиду вашей молодости проблемы с наркозом минимальны. Риск инфицирования и кровотечения также невелик, как и риск апоплексического удара. Самая большая опасность связана с тем, что после завершения операции у вас может несколько ослабеть одна половина тела. Операция сама по себе довольно простая, а характер у вас, кажется, сильный. Все должно пройти как по маслу.

Мне все еще не верилось. Голова шла кругом.

— Вы должны убедить меня в том, что действительно знаете свое дело, — устало сказал я.

— Послушайте, я сделал множество таких операций, — сказал Шапиро. — У меня еще никто не умирал, и никому еще я не сделал хуже.

— Да, но почему именно вам, а не кому-нибудь другому я должен доверить лезть в мою голову?

— Потому, что, насколько вы хороши в велоспорте, — ответил Шапиро, — настолько же я хорош — нет, намного лучше — в нейрохирургии.

Я рассмеялся и понял, что этот человек мне нравится. Время уже подходило к полудню. Я всталии сказал, что за ланчем подумаю над их словами и | тогда приму решение.

Прежде всего, мне хотелось еще раз переговорить с матерью и друзьями. Решение было трудным. Мне предстояло выбрать врачей и место лечения, а это не то, что выбирать инвестиционный фонд для вложения денег. Если бы речь шла о выборе инвестиционного фонда, я задал бы себе вопрос: «Какие дивиденды я получу через пять лет?» Но здесь все было по-другому. В этой ситуации разница, в дивидендах означала разницу между жизнью и смертью.

Мы перешли улицу и нашли небольшой пивной бар. За обедом все сидели тихо. Слишком тихо. Мама, Лайза и Барт боялись повлиять на мой выбор; они считали, что решение о том, как и где мне лечиться, я должен принять самостоятельно. Я хотел узнать, что они думают, но вытянуть из них ничего не мог.

Я не отступал:

— В Хьюстоне говорят, что есть хорошие шансы на исцеление, но здесь хотят изменить схему лечения, и это тоже может быть хорошо.

Мне никто не ответил, более того — даже не выказал ни малейшего намека на свое мнение. Они совершенно самоустранились. Они хотели, чтобы решение было принято, но чтобы это было мое, а не их решение.

Я ел и думал. Я хотел быть уверен, что правильно оценил врачей и разобрался в их планах. Я был на волосок от смерти, я уже мысленно отказался от своей карьеры, но доктор Николе и доктор Шапиро, казалось, вовсе не считали, что такая жертва с моей стороны была столь необходима. Я решил, что мне следует довериться им, их намеренно простодушному стилю общения, их великодушию по отношению к коллегам, их уверенной реакции на мои вопросы и нападки. Они были такими, какими казались: усталыми, но очень знающими врачами, и я подозревал, что лучших мне не найти.

Я пытался задавать им трудные вопросы, но Николе оставался невозмутим и сдержан. Он не дал втянуть себя в войну шансов и не пытался доказывать преимущества своего подхода, принижая другие. Он был настоящим профессионалом, надежным и достойным доверия. И тут я выпалил:

— Что ж, похоже, эти ребята действительно знают толк в своем деле. И мне они нравятся. И место нравится. Что касается операции, то Шапиро, кажется, не видит никаких оснований для беспокойства. Поэтому, я думаю, надо остаться здесь.

Лица моих друзей просветлели.

— Совершенно согласен, — сказал Барт, наконец-то прервав заговор молчания.

Мама сказала:

— Я тоже думаю, что ты прав.

Мы вернулись в медицинский центр Университета штата Индиана и снова встретились с доктором Николсом.

— Буду лечиться у вас, — сказал я.

— Хорошо, — ответил Николе- Возвращайтесь сюда через неделю, в понедельник. Нужно будет пройти кое-какие процедуры, а во вторник сделаем операцию на мозге.

Николе сказал также, что сразу после операции начнется новый курс химиотерапии по его схеме. Он представил мне старшую медсестру онкологического отделения Латрис Хейни, которая будет работать со мной. После этого мы сели обсудить план лечения.

— Вы не можете убить меня, — сказал я.

— Так что пичкайте меня всем, чем считаете нужным, и в каких угодно количествах. Все, что вы даете другим, давайте в двойной дозировке. Я хочу быть уверен, что мы выкарабкаемся. Давайте задавим эту заразу.

Николе и Латрис тут же постарались разубедить меня.

— Позвольте мне уверить вас, — сказал Николе, — что я очень даже могу убить вас. Это вполне возможный исход.

У меня сложилось неправильное представление — отчасти подкрепленное общением с хьюстонским врачом, — что для моего же блага меня должны буквально бомбардировать всевозможными препаратами. Но препараты, применяемые при химиотерапии, настолько токсичны, что вполне способны уничтожить не только рак, но и весь мой организм. Николе потому и решил подождать неделю, прежде чем приступать к лечению, что после первого цикла химиотерапии у меня все еще был очень низкий уровень лейкоцитов. Цикл VIP следует начать, только когда я буду к этому готов физически.

В разговор вступила Латрис Хейни. Она была корректной, опытной и очень умной медсестрой. В химиотерапии она разбиралась, казалось, не хуже врачей, и именно она ввела меня во все подробности предстоявшего курса лечения, объясняя не только то, что будут делать, но и то, зачем это нужно, — почти как учительница. Я старался получить максимально полную информацию, исполненный решимости оставаться полноправным участником своего лечения и принимаемых решений. Мама, естественно, все еще была обеспокоена.

— А насколько это отразится на его самочувствии? — спросила она.

— Вероятно, будут приступы тошноты и рвоты, — сказала Латрис- Но существуют новые лекарства, значительно подавляющие рвотные позывы, если не устраняющие их совсем.

Латрис сказала, что каждая капля вводимых в мой организм химических веществ будет на счету, как и все, что выходит из моего организма. Она объясняла все это так спокойно и лаконично, но вместе с тем емко, что у меня не оставалось никаких вопросов, и даже мама, казалось, успокоилась. Она поняла, что на Латрис можно положиться.

Неделю спустя я вернулся в Индианаполис. В маминой сумке была вся моя история болезни, а также огромная аптечка, битком набитая лекарствами и витаминами. Своих вещей она захватила лишь самый минимум. В Индианаполисе было холодно, а у нее не было даже свитера. Чтобы не замерзнуть, она позаимствовала в самолете плед. В медицинском центре Университета штата Индиана мы прошли утомительную процедуру регистрации.

Администратор записывала всю необходимую информацию и задавала нам различные вопросы.

— Какую еду вы предпочитаете? — спросила она среди прочего.

Я сказал:

— Мне нельзя сахар, мясо, сыр. И необходима экологически чистая курятина.

Она скучающе посмотрела на меня и сказала:

— Я спросила не что вам нельзя, а что вам можно.

Я понимал, что это университетская больница, а не ресторан, но мать пришла в ярость. Она встала и вытянулась во все 160 сантиметров своего роста.

— Послушайте, завтра нас ждет операция на мозге, так что даже не пытайтесь здесь со мной

шутки шутить. У нас есть диетолог, который рекомендовал нам определенные продукты. Если вы не в состоянии их обеспечить, мы сделаем это сами.

С этого момента каждый раз, навещая меня в больнице, мама предварительно покупала для меня продукты.

Затем мы проследовали в отведенную мне палату, но мать сочла, что там слишком шумно. Палата располагалась рядом с сестринским постом, и мама, решив, что разговоры медсестер прямо за дверью будут беспокоить меня, настояла на том, чтобы меня перевели в другое место. В итоге я разместился в конце коридора, где было поспокойнее.

В тот же день я встретился с доктором Шапиро, и мы начали подготовку к операции. В качестве первого этапа на мой череп были нанесены цветные кружочки, указывавшие расположение опухолей и места, где Шапиро намеревался делать разрезы, чтобы добраться до этих опухолей.

Эта процедура помогла мне осознать, что меня ждет впереди, и напугала. До меня дошло, что эти кружочки расставляют, чтобы Шапиро знал, где резать мой череп, вскрывать его.

— Латрис, — сказал я, — эта идея со вскрытием

черепа мне ужасно не нравится; не знаю, как я перенесу все это.

Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Как бы я ни хотел оставаться бесстрашным и позитивно настроенным, я знал, что люди с опухолью мозга долго не живут. Все остальное вылечить можно; все другие мои органы хоть и важны, но не настолько. Мозг — это что-то особенное. Я вспомнил сказанные кем-то слова: «Стоит прикоснуться к твоему мозгу — и ты уже никогда не будешь тем, кем был».

Мои друзья и близкие боялись не меньше, даже больше

моего. Я видел это на лицах каждого, кто приехал оказать мне моральную поддержку: Оча, Криса Кармайкла, Билла, Кевина. Я хотел, чтобы они были рядом, и знал, что они рады быть со мной, потому что им казалось, что так они хоть чем-нибудь могут мне помочь. Но на их лицах, их расширенных глазах и напускной веселости я видел страх и потому пытался шутить и скрывать свою собственную тревогу.

— Я готов раздавить эту штуку, — заявлял я.-

Операция мне не страшна. Я не собираюсь дрожать и вырываться.

Когда ты болен, начинаешь понимать одну вещь: в поддержке нуждаешься не только и не столько ты; бывает, что это тебе нужно поддержать близкого человека. Не всегда получается так, что твои друзья приободряют тебя: «Ты справишься». Иногда мне самому приходилось приободрять их: «Я справлюсь, не волнуйтесь».

Мы смотрели бейсбол и старались вести себ так, словно нам это было действительно интересно — насколько может интересоваться исходом матча человек, которого завтра ждет операция на мозге. Мы говорили о ситуации на фондовом рынке, о велогонках. Продолжали приходить электронные письма и открытки — от людей, которых я вообще не знал или о которых не слышал уже много лет, — и мы сидели и читали их вслух.

Мне вдруг захотелось срочно определиться со своим финансовым положением. Я рассказал о своей проблеме со страховкой Очу и Крису, и мы, вооружившись бумагой и ручками, стали подсчитывать мои активы. «Давайте посмотрим, чего я стою, — сказал я. — Нужно все посчитать. Мне нужен план, чтобы я мог чувствовать, что контролирую ситуацию». Мы определили, что мне хватит денег на колледж, если я продам дом. Мне не хотелось его продавать, но я постарался подойти к вопросу философски. Мне выпала плохая карта. Если деньги потребуются, я так и поступлю. Я сложил все наличные средства и сумму, имевшуюся на пенсионном счете.

Дом: 220 000. Бассейн и земля: 60 000. Мебель и произведения искусства: 300 000. Прочее движимое имущество: 50 000.

Позже в тот же день в палату вошел Шапиро.

— Нам нужно поговорить о завтрашней операции, — сказал он.

— А чего о ней говорить, — отозвался я. — Ведь она сравнительно простая, верно?

— Ну… все-таки немножко серьезнее. Шапиро объяснил мне, что опухоли располагались в хитрых местах: одна над

зрительным центром мозга (чем и объяснялось мое ухудшение зрения), а вторая над центром координации движений. Он сказал, что постарается провести операциюпредельно аккуратно, делая как молено меньшиеразрезы — не более чем в миллиметре от опухолей. Однако описание процедуры заставило меня содрогнуться. Не думаю, что до того момента я отдавал себе полный отчет в серьезности предстоявшей операции. Звучало все просто хирург проникнет внутрь и вырежет опухоли. Но когда Шапиро | начал вдаваться в детали, до меня дошло, что его малейшая ошибка будет стоить мне зрения или двигательных навыков.

Шапиро заметил, что я действительно испугался.

— Послушайте, — сказал он, — делать операцию на мозге никому не хочется. Не боятся ее только ненормальные.

Он уверил меня, что после операции я быстро приду в себя: денек полежу в отделении интенсивной терапии и уже через день смогу приступить к химиотерапии.

Вечером мама, Билл, Оч, Крис и остальные отвели меня поужинать в располагавшийся через дорогу уютный ресторан с европейской кухней. Есть мне не хотелось. На голове у меня оставались пятна от стереотаксиса, на запястье висел больничный браслет, но меня уже не волновало, как я выглядел со стороны. Что из того, что у меня кружочки на лбу? Я был рад выбраться из больницы и немного пройтись. Люди пялились на меня, но мне было все равно. Завтра мне голову обреют.

Как человек встречает свою смерть? Иногда я думаю, что гематоэнцефалический барьер имеет не только физическую, но и эмоциональную природу. Возможно, в психике есть некий защитный механизм, мешающий нам признать, что мы смертны, пока в этом нет крайней необходимости. В ночь перед операцией я думал о смерти. Я пытался разобраться в своих ценностях, в смысле жизни и спрашивал себя: если мне суждено умереть, то лучше сделать это, борясь и цепляясь за жизнь или мирно и спокойно сдавшись? Как я проявлю себя? Доволен ли я своей жизнью и тем, чего успел в ней достичь? Я решил, что в целом я человек неплохой, хотя мог бы быть и лучше — впрочем, раку это безразлично.

Я спрашивал себя, во что я верю. Я почти никогда не молился. Я надеялся, мечтал, но судьбу не молил. Я испытывал некоторое недоверие к религиозным организациям, но считал, что во мне есть потенциал духовности и горячая вера. В целом я считал себя хорошим человеком, то есть человеком справедливым, честным, трудолюбивым и достойным. Если я был таким, если был добр к своей семье, искренен со своими

друзьями, воздавал Должное общественной жизни и занимался благотворительностью, если не был лжецом и мошенником, то этого должно быть вполне достаточно. И я надеялся, что если я в конечном счете предстану перед судом какой-то телесной или духовной высшей силы, то меня будут судить по моим поступкам, а не на основе моей веры в какие-то книги или того, крещен я или нет. Если Бог есть, я надеялся, что он не скажет мне: «Но ты не христианин, 1 и тебе не место на небесах». Если же он скажет так, я ему отвечу: «Что ж, вы правы. Ну и ладно».

Я также верил во врачей, медицину, хирургию. Действительно верил. «Человек вроде доктора Эйнхорна — вот в кого нужно верить, — думал я. — В человека, 20 лет назад разработавшего экспериментальный метод лечения, который ныне может спасти мне жизнь». Я верил в твердую валюту его умаМ и знаний.

Я понятия не имел, где проходит черта между духовной верой и наукой. Но я верил в саму веру, в ее спасительную силу. Верить вопреки полной безнадежности, когда все свидетельствует об обратном, игнорировать очевидную катастрофу — что мне еще оставалось? И так мы верим постоянно, изо дня в день — я это понял. Мы намного сильнее, чем нам кажется, и вера является одной из самых важных характеристик человека. Верить, когда каждый знает, что ничем нельзя продлить скоротечность нашей бренной жизни, что нет средства от нашей смертности, — это проявление мужества.

Я понял, что продолжать верить в себя, во врачей, в назначенное ими лечение, во все, во что я действительно верю, было самым важным. Должно было быть.

Без веры у нас в жизни не останется ничего, кроме парализующего рока. И он одолеет нас. До болезни я не понимал, не видел повседневной борьбы людей против ползучего негативизма окружающего мира, постепенно удушающего нас цинизма. Бездуховность и разочарованность — вот истинные жизненные испытания, а не какие-то злосчастные болезни или грозящий катаклизмами роковой день миллениума. Теперь я понимал, почему люди боятся рака: потому, что это медленная и неизбежная смерть, сама суть цинизма и бездуховности.

Поэтому я верил.

Когда человек не может вспомнить что-то, тому. есть причина. Я заблокировал в памяти многое из того, о чем думал и что чувствовал в то утро, когда мне делали операцию на мозге, но одно я помню ясно: дату, 25 октября, потому что, когда все кончилось, я был бесконечно рад тому, что жив! Мама, Оч и Билл Стэплтон пришли будить меня в 6 часов утра; тут же прибежали

медсестры — готовить меня к операции. Перед операцией на мозге проводится проверка памяти. Врачи говорят: «Мы назовем вам три простых слова и старайтесь помнить эти слова так долго, как только сможете». Некоторые пациенты с опухолью мозга страдают расстройством памяти и не могут вспомнить названные слова уже через 10 минут. Если у тебя опухоль, такие мелочи не запоминаешь.

Медсестра сказала:

— Мяч, гвоздь, дорога. В какой-то момент я попрошу вас повторить эти слова.

Это могло случиться через 30 минут или через три часа, но рано или поздно меня обязательно спросят, и, если я забуду, это будет означать большую беду. Я не хотел, чтобы кто-то думал, что у меня проблемы, — я до сих пор пытался доказать, | что не так болен, как полагали медицинские светила. Я решил для себя запомнить эти слова и потому следующие несколько минут только о них и думал: «Мяч, гвоздь, дорога. Мяч, гвоздь, дорога».

Спустя полчаса врач вернулся и попросил меня назвать эти три слова.

— Мяч, гвоздь, дорога, — уверенно отчеканил я.

Пора было ехать на операцию. Меня повезли по коридору; мама шла рядом до самой двери операционной, где меня поджидала целая бригада врачей и сестер в масках. Они положили меня на операционный стол, и за дело взялся анестезиолог. Мне почему-то очень захотелось поболтать.

— Ребята, кто-нибудь из вас видел фильм «Готова на все»?

Медсестра отрицательно покачала головой.

Я с энтузиазмом принялся пересказывать сюжет: Алек Болдуин играет одаренного, но высокомерного хирурга, которого привлекли к ответственности за профессиональную небрежность, и на суде адвокат истца обвиняет его в том, что он страдает так называемым комплексом Бога — чрезмерно уверен в своей непогрешимости.

Болдуин произносит прекрасную речь в свою защиту — но потом себя же и разоблачает. Он говорит о том, какое напряжение и стресс приходится ему переживать, когда на столе лежит пациент и он должен принимать решения, касающиеся жизни и смерти, за долю секунды.

— И в этот момент, джентльмены, он заявляет: «Я не думаю, что я Бог. Я есть Бог».

Я закончил свою историю, неплохо сымитировав Алека Болдуина.

В следующий момент я издал какой — то протяжный звук и отключился — подействовала анестезия.

Самое интересное, что в истории с героем Болдуина была доля правды, абсолютной истины. Перейдя в бессознательное состояние, я передал в руки врачей свою судьбу, свое будущее. Они усыпили меня, и только от них зависело, проснусь ли я. На этот промежуток времени они стали верховными существами, моими Богами.

Наркоз подействовал так, словно выключили свет: только что я был мыслящим существом, а в следующий момент меня попросту не стало. Анестезиолог, чтобы проверить, правильно ли выбрана доза, перед самым началом операции на короткое мгновение привел меня в сознание. Проснувшись, я понял, что операция еще не закончилась; собственно, она еще даже не началась, и я разозлился. В дурмане я произнес: «Черт возьми, начинайте же».

Я услышал голос Шапиро: «Все в порядке», — и снова отключился.

Все, что я знаю об операции, стало мне известно, разумеется, лишь впоследствии, со слов доктора Шапиро. На столе я пролежал около шести часов. Просверлив череп, он извлек пораженную раком ткань и передал ее патологу, который тут же принялся изучать ее под микроскопом.

Исследовав ткань, они надеялись определить тип рака и насколько вероятно его дальнейшее продвижение.

Но патолог, оторвавшись от микроскопа, удивлением в голосе сказал:

— Это некротическая ткань.

— Клетки мертвы? — спросил Шапиро.

— Да.

Разумеется, нельзя было сказать, что мертва каждая клетка. Но выглядели они совершенно безжизненными и совсем не грозными. Это самая лучшая новость, поскольку это означало, что они не размножаются. Что их убило? Я не знаю, не знают и врачи. Некроз тканей случается не так уж редко.

Выйдя из операционной, Шапиро подошел прямо к моей матери и сказал:

— Он в послеоперационной палате и в полном
порядке.

Затем он сообщил, что извлеченная ткань оказалась мертвой, а это означало, что больше ее не будет — она извлечена полностью.

— Все прошло гораздо лучше, чем мы ожидали, — сказал Шапиро.

Я проснулся… Медленно… Стало очень светло и… кто-то говорил со мной. Я жив. Я открыл глаза. Надо мной склонился

Скотт Шапиро. Когда врач вскрывает тебе череп и выполняет операцию на мозге, а потом собирает тебя заново, наступает момент истины. Каким бы умелым ни был хирург, он всегда с тревогой ждет пробуждения и наблюдает за твоими реакциями и движениями.

— Вы помните меня? — спросил он.

— Вы — мой доктор, — сказал я.

— Как меня зовут?

— Скотт Шапиро.

— А вас как зовут?

— Лэнс Армстронг. И на велосипеде я могу надрать вам задницу хоть сегодня.

Я снова начал засыпать, но, закрыв глаза, увидел того доктора, который проверял мою память.

— Мяч, гвоздь, дорога, — произнес я.

И снова погрузился в бездонный колодец наркотического сна без сновидений.

Снова я проснулся уже в тускло освещенной и тихой палате интенсивной терапии. Какое-то время я лежал, отходя от наркоза. Было ужасно сумрачно и тихо. Мне захотелось покинуть это место. Двигаться.

Я пошевелился.

— Он проснулся, — сказала медсестра.

Я спустил ногу с кровати.

— Лежите! — воскликнула сестра. — Что вы делаете?

— Встаю, — сказал я и начал подниматься.

Двигайся. Если можешь двигаться, значит не болен.

— Вам еще нельзя вставать. Лягте.

Я лег.

— Хочу есть, — заявил я затем.

Более или менее придя в сознание, я обнаружил, что вся голова у меня замотана бинтами. Казалось, что замотаны и мои органы чувств, — наверное, сказывались последствия наркоза и протянутые к носу трубки капельницы. По ноге от пениса тянулся катетер. Я ощущал неимоверную усталость, полное бессилие.

Но голод давал о себе знать. Благодаря матери я привык полноценно питаться три раза в день, поэтому мечтал о наваленной горкой горячей еде — подливкой. Я не ел уже много часов, а последний раз меня кормили кашей. Но каша же не еда. Так, закуска.

Сестра покормила меня омлетом.

— Могу я увидеть свою мать? — спросил я.

Спустя несколько мгновений мама тихо вошла

в палату и взяла меня за руку. Я понимал, что она

испытывала, как страдала, когда видела меня таким. Я был с ней одна плоть и кровь, вся материя, из которой я состоял, каждая частица меня вплоть до последнего протона в ногте мизинца принадлежали ей, вышли из нее. Когда я был младенцем, она по ночам считала мои вдохи и выдохи. Она думала, что самое трудное осталось в том далеком прошлом.

Я люблю тебя, — сказал я. — Я люблю свою

жизнь, и ее дала мне ты. Я так признателен тебе за это.

Я захотел увидеть и своих друзей. Сестры позволили им входить ко мне не больше чем по двое или трое. Перед операцией я старался всячески по — казать свою уверенность в успехе, но теперь, когда все было позади, мне уже не нужно было скрывать, какое облегчение я испытывал сейчас и как боялся тогда. Вошел Оч, за ним Крис; они взяли меня за руки, и мне стало так легко от того, что можно было расслабиться и рассказать им, как мне было страшно.

— Я еще не кончился, — сказал я. — Я еще здесь.

Я был как в тумане, но легко узнавал каждого, кто входил ко мне, и понимал их чувства. Голос

Кевина дрожал. Он очень переживал за меня, и мне захотелось приободрить его.

— Чего ты такой серьезный? — поддразнил я его.

Он только сжал мне руку.

— Знаю, — сказал я. — Тебе не нравится видеть

Большого Брата побитым.

Пока я лежал и слушал шепот друзей, во мне боролись два противоречивых чувства. Сначала меня захлестнула гигантская волна облегчения. Но затем второй волной пришла злость, и эта вторая волна столкнулась с первой. Я был жив, и я ЗЛИЛСЯ, И одно чувство не могло существовать без другого. Я был достаточно жив, чтобы злиться. Я зло боролся, зло сопротивлялся, я был зол вообще, зол на бинты на голове, зол на то, что лежу, привязанный к койке трубками. Зол так, что выходил из себя. Зол так, что едва не плакал.

Крис Кармайкл взял меня за руку. Мы знали друг друга уже шесть лет, и не было ничего такого, что мы не могли рассказать друг другу, не было чувств, в которых мы не посмели бы признаться друг другу.

— Как дела? — спросил он.

— Отлично.

— Молодец. Ну а на самом деле, как ты себя чувствуешь?

— Крис, я чувствую себя отлично.

— Это хорошо.

— Крис, ты не понимаешь, — сказал я, и слезы начали

катиться из глаз. — Я рад всему этому. Даже знаешь что? Мне нравится все это. Мне нравится, что все шансы были против меня, ведь это всегда было так, я другой жизни и не знаю. Это такое дерьмо, но это всего лишь одна из неприятностей на моем пути. И я ее преодолею. По-другому я и не хочу.

В блоке интенсивной терапии я остался и на ночь. Ко мне пришла сестра и протянула мне трубку, сказав, чтобы я выдохнул в нее. Трубка была присоединена к измерительному прибору с маленьким красным шариком. Эта штуковина предназначалась для измерения емкости моих легких — врачи хотели удостовериться, что наркоз не повредил их.

— Дуйте сюда, — сказала сестра. — И не волнуйтесь, если шарик поднимется не выше чем на одно-

два деления.

— Леди, вы шутите? — сказал я. — Это же мойхлеб. Дайте-ка эту штуку.

Я схватил трубку и дунул в нее что было силы. Шарик поднялся на самый верх. Если бы наверху был колокольчик, раздался бы оглушительный ДИНь. Я вернул прибор сестре.

— И больше не приносите мне эту штуку, — сказал я. — Легкие у меня в порядке.

Сестра ушла, не сказав ни слова. Я посмотрел на мать. Она всегда говорила, что я несдержан на язык, и я думал, что сейчас она упрекнет меня за грубое обращение с медсестрой. Но мама только улыбалась, словно я только что еще раз выиграл «Трипл краун». Она поняла: со мной все в порядке. Я возвращался в свое нормальное состояние.

— Скоро, мой мальчик, все будет хорошо, — сказала она.

Утром я вернулся в свою обычную палату, чтобы приступить к курсу химиотерапии. Мне предстояло пробыть в больнице еще шесть дней и получить лечение, результаты которого будут иметь критическое значение.

Я продолжал читать литературу о раке и знал что если химиотерапия не остановит развитие болезни, то при всей успешности хирургической операции я не смогу выкарабкаться. Во всех книгах о моей ситуации говорилось очень лаконично. «Если болезнь прогрессирует, несмотря на цисплатиновую терапию, прогноз неблагоприятен при любой форме лечения», — было написано в одной из них.

Я штудировал один научный труд, посвященный раку яичек, где перечислялись различные способы терапии и соответствующие вероятности выживания, и на полях делах пометки и расчеты карандашом. Но все в конечном итоге сводилось к одному: «Если не удается достичь полной ремиссии

после первого курса химиотерапии, шансы на выживание невелики», — констатировал автор статьи. Таким образом, все было очень просто: химиотерапия или сделает свое дело, или нет.

Мне не оставалось ничего другого, кроме как сидеть в постели и предоставить токсинам сочиться в мое тело — и отдать себя на растерзание медсестрам с их шприцами и иглами. В больнице ты не принадлежишь себе. Твое тело как будто и не твое вовсе — оно принадлежит врачам и медсестрам, которые вольны колоть тебя и вводить всякую всячину в твои вены и отверстия. Хуже всего был катетер; приклеенный к ноге, он шел к паху, и когда его прикрепляли, а потом снимали, это было настоящей мукой. В каком-то смысле самую ужасную часть болезни составляли эти мелкие, обыденные процедуры. По крайней мере, во время операции я был в отключке, но все остальное время находился в полном сознании, и мои руки, пах были исколоты. Не успевал я проснуться, как сестры буквально съедали меня живьем.

Зашел Шапиро и сказал, что операция имела полный успех: опухоли удалены и от них не осталось и следа. Никаких умственных нарушений нет, координация тоже в порядке.

— Теперь остается надеяться, что эта напасть не вернется, — сказал он.

Через двадцать четыре часа после операции я вышел в свет.

Как Шапиро и обещал, оправился я быстро. В тот вечер мама, Лайза, Крис и Билл помогли мне подняться с постели и повели в расположенный неподалеку от больницы ресторан. Шапиро ничего не говорил о том, что мне можно, а чего нельзя, поэтому я решил придерживаться прежней диеты. Я надел кепку, чтобы прикрыть перевязанную голову, и мы покинули больницу. Билл даже купил билеты на баскетбольный матч, но это было уже слишком. Почти весь вечер я держался молодцом, но к десерту почувствовал себя неважно, поэтому игрой пришлось пожертвовать, и я вернулся в постель.

На следующий день пришел Шапиро, чтобы снять повязку с моей израненной головы. Пока он разматывал бинты и отрывал марлю от скоб, я чувствовал покалывание. Когда повязка была снята, я посмотрел в зеркало. По скальпу двумя полукругами, словно две застежки-молнии, шли скобы. Шапиро сказал:

— Моя миссия выполнена.

Я рассмотрел скобы в зеркале. Я уже знал, что под кожей мой череп был скреплен титановыми винтами. Титан — это сплав, который используют в производстве некоторых велосипедов, чтобы они меньше весили.

— Может быть, так мне будет легче подниматься в гору, —

пошутил я.

Шапиро стал моим добрым другом, и он продолжал заглядывать ко мне в палату, чтобы узнать о моем самочувствии, на протяжении всех последующих месяцев лечения. Мне всегда было приятно видеть его, как бы ни хотелось спать и как бы меня ни выворачивало от тошноты.

Ларри Эйнхорн, вернувшийся из Австралии, тоже навещал меня. Он был ужасно занятой человек, но находил время для того, чтобы периодически встретиться со мной и поучаствовать в моем лечении. Он, как и Николе с Шапиро, принадлежал к той породе врачей, которые помогают тебе понять истинное значение слова «целитель». Мне стало казаться, что они знают о жизни и смерти больше, чем другие, и понимают в людях нечто такое, чего не дано понять другим, — ведь перед ними раскрывается такой многообразный эмоциональный ландшафт. Они видят не только то, как люди живут и умирают, но и то, как мы справляемся с этими двумя обстоятельствами, лишенные масок, со всем нашим иррациональным оптимизмом, ни на чем не основанными страхами и невероятным мужеством, изо дня в день.

— Я знал многих чудесных и сильных духом людей, которым не удалось выкарабкаться, — сказал мне доктор Эйнхорн. — А некоторые никчемные и трусливые людишки выживали, чтобы продолжить свою серую жизнь.

Яначал получать хорошие известия. Никто из моих спонсоров не бросил меня в трудную годину. Мы с Биллом были готовы услышать заявления об отказе от сотрудничества со мной, но их так и не последовало. Проходили дни, а от «Nike», «Giro», «Oakley» и «Milton-Bradley» мы слышали лишь слова поддержки.

Мои взаимоотношения с «Nike» восходили еще к тем временам, когда я учился в школе и занимался бегом и триатлоном. Мне нравились их рекламные слоганы, и я считал, что иметь эту фирму своим спонсором очень почетно. Но я не никогда и не мечтал стать человеком «Nike», потому что состязался не на лучших стадионах страны и не на турнире «Ролан Гаррос», а колесил по дорогам Франции, Бельгии и Испании. И все же, когда моя карьера резко пошла вверх, я попросил Билла Стэплтона разузнать, нельзя ли заключить сделку с «Nike», поскольку мне давно этого хотелось. В 1996 году, незадолго до того, как мне поставили диагноз, компания «Nike» предложила мне спонсорскую поддержку при условии, что я буду выступать в обуви и перчатках ее производства.

Мы сразу подружились со Скоттом Макичерном, представителем «Nike», отвечавшим за велосипедный спорт, и

совсем не случайно он стал одним из первых, кому я сообщил о своей болезни. В разговоре со Скоттом, произошедшем в тот самый вечер, когда я вернулся домой из офиса доктора Ривса, я выплеснул на него все переполнявшие меня эмоции. Рассказывая Скотту о своей беде, о боли в паху, о том, какой шок я испытал, узнав результаты рентгеноскопии, я разревелся. А потом я перестал плакать, и на другом конце провода повисла пауза, после которой Скотт спокойно, почти как само собой разумеющееся произнес:

— Насчет нас, не беспокойся. Мы с тобой.

Оставалось крошечное семя надежды; может быть, я не окончательно разорюсь и не останусь один. Скотт остался верен своему слову: фирма «Nike» не бросила меня. В условиях, когда мне становилось все хуже, это значило для меня очень много. Остальные спонсоры отреагировали на мою болезнь так же. Один за другим мне выразили сочувствие и поддержку и «Giro», и «Oakley», и «Milton — Bradley».

Они не только не отреклись от меня, но и очень помогли. БИЛЛ отчаянно пытался решить вопрос о моей медицинской страховке. Он выискивал всевозможные зацепки, но ничего не получалось.

И вот однажды он позвонил Майку Парнеллу, генеральному директору «Oakley». Объяснив ситуацию, он спросил Майка, не может ли он как-то помочь.

Майк пообещал договориться со страховщиком. Это известие внушило мне определенный оптимизм, но страховая компания заартачилась: я заболел до начала действия страхового полиса, и потому оплачивать мое лечение они не обязаны.

Майк Парнелл позвонил в страховую компанию лично и дал им понять, что, если они не покроют мои расходы на лечение, его фирма прекратит всякое сотрудничество с ними.

— Заплатите ему, — сказал он.

Страховщик продолжал сопротивляться.

— Может быть, вы не поняли, что я сказал? — настаивал Парнелл.

Они заплатили.

Я до конца своих дней останусь- признателен своим спонсорам и буду оставаться спортсменом «Oakley», «Nike» и «Giro», пока живу. Они оплатили то, что причиталось мне по контрактам, сполна — хотя каждый из них имел полное право разорвать договор, — и никто даже не спрашивал при этом, когда я намерен вернуться в велоспорт. Более того, когда я пришел к ним и сказал: «Я основал фонд борьбы с раком, и мне нужны деньги для организации благотворительной велогонки», каждый с

готовностью вызвался помочь. Так что не говорите мне о бездушном мире бизнеса. Рак научил меня глубже понимать людей и отбросить свои прежние предрассудки и упрощенный взгляд на вещи.

Хорошие новости продолжали поступать всю неделю. После двух дней химиотерапии улучшился анализ крови. Уровень маркеров крови СНИжался а это означало, что рак реагирует на вводимые препараты. Но путь оставалось пройти еще очень большой, и, кроме того, начали сказыиаться побочные эффекты, о которых предупреждал меня Николе. К концу недели, когда эйфория от удачной операции и других хороших новостей проШла, начали проявляться тошнотворные эффекты ифосфамида. Я находился в состоянии перманентного отравления и ослаб настолько, что уже ниЧего не хотел, только лежать, уставившись в стеНкУ или спать. И это только начало. Впереди было еще два цикла. Через семь дней после операции на мозге я вернулся домой. Ненадолго — скоро Мне предстояло вернуться в больницу. Но, по крайней мере, я уже мог вести разговоры не только о Раке.

Глава шестая
«ХИМИЯ»

Вопрос заключался в том, кого химиотерапия убьет раньше: рак или меня. Моя жизнь превратилась в одну сплошную капельницу, тошнотворную рутину: если ничего не болело, то тошнило; если не тошнило, то думалось о пережитом; если думалось не о пережитом, то о том, когда все это закончится. Вот что такое химиотерапия.

Болезнь проявлялась в деталях, в отвратительных побочных эффектах лечения. Сам по себе рак вызывал лишь смутное чувство неблагополучия, но вот его лечение являло собой непрекращающуюся пытку, поэтому я даже начал думать, что терапия ничуть не лучше, если не хуже, болезни, которую она призвана лечить. То, что человек непосвященный связывает с проявлениями рака — облысение, болезненная бледность, истощение, — на самом деле является следствием химиотерапии. Химиотерапия — это когда огнем горят вены и все тело — вплоть до ресниц — медленно пожирается изнутри всеистребляющей рекой ядовитых химикатов. Химиотерапия — это постоянный кашель с отхаркиваемыми из глубины груди черными комочками таинственного похожего на смолу вещества. Химиотерапия — это постоянное желание сходить в туалет.

Чтобы психологически справиться с ней, я представлял себе, что это отхаркиваются сожженные химией раковые клетки. Я воображал, как препараты набрасываются на опухоль, выжигают ее, а потом выводят из моего организма. Справляя нужду и морщась от жжения в паху, я убеждал себя, что это выходят мертвые раковые клетки. «Ведь так и должно быть», — полагал я. Им же нужно куда-то выходить, не так ли? Таким образом, я выкашливал рак, мочился им, избавлялся от него всеми доступными способами.

Вся моя жизнь стала химиотерапией. Ни на что другое не оставалось ни сил, ни времени. Все праздники той осенью и зимой я либо проходил химиотерапию, либо отходил от нее. Хэллоуин я провел под капельницей, угощая медсестер пакетиками с леденцами. В День благодарения был дома, отлеживаясь на диване, пока мама пыталась уговорить меня съесть хоть кусочек индейки. Спал я по 10–12 часов в сутки, а когда просыпался, то чувствовал примерно то же, что после авиаперелета и похмелья.

Химиотерапия имела кумулятивный эффект. На протяжении

трех месяцев я прошел четыре цикла, и токсины в моем организме после каждого цикла накапливались. Поначалу самочувствие еще было ничего, но к концу второго цикла терапии я уже не чувствовал ничего, кроме постоянной тошноты и сонливости. В Индианаполис я прилетал в понедельник и в течение пяти часов пять дней подряд, по пятницу включительно, лежал под капельницей, получая химикаты. Когда наступал перерыв в лечении, я все равно круглые сутки был привязан к капельнице, подававшей в мой организм физиологический раствор и вещество, призванное максимально защитить мою иммунную систему от токсического воздействия ифосфамида, который особенно опасен для почек и костного мозга.

К третьему циклу от постоянных приступов рвоты я уже ползал на карачках. Во время такого приступа казалось, что все мои внутренние органы выворачиваются наизнанку. Когда же начался четвертый цикл — а это максимальное число, прописываемое больным раком, и только в самых тяжелых случаях, — я уже и не ползал, а только лежал в позе зародыша и непрестанно блевал.

Доктор Николс предложил мне проходить сеансы химиотерапии амбулаторно в Остине.

— Вы можете лечиться дома, а мы будем давать консультации, — сказал он.

Но я предпочел проходить лечение в Индианаполисе, чтобы быть под постоянным наблюдением.

— Если мне станет хуже, — сказал я, — я хочу, чтобы вы это видели. А если мне станет лучше, то же хочется, чтобы вы на это посмотрели.

Химиотерапия не похожа ни на что другое. Трудно было поверить, чтобы столь опасные вещества могли выглядеть так безобидно. Подававшиеся с капельницы химикаты содержались в трех пластиковых пакетах емкостью в пол-литра, снабженных ярлычками с указанием моего имени, даты, дозы вещества и объема жидкости. Прозрачную жидкость без какого-либо осадка, которая наполняла эти пакеты, вполне можно было принять за сахарную воду. Впечатление портили лишь толстые резиновые перчатки, в которых работали с этими пакетами медсестры, и предостерегающий штамп «Опасные материалы» на каждом из них. Сестра вставляла в каждый из пакетов трубку, эти трубки затем сходились и через еще одну трубку соединялись с катетером — так эти химиопрепара-ты попадали в мою кровь. Одного пакета хватало на час, второго — на 90 минут, а третьего — на полчаса.

Эти жидкости были настолько ядовиты, что могли

уничтожить всю мою кровь. Возникало ощущение опустошения вен. Медицинским объяснением этого ощущения был эффект миелосупрессии — наиболее частый и серьезный побочный эффект химиотерапии, заключающийся в подавлении производства и созревания эритроцитов. Химиотерапия разжижает кровь. В течение третьего цикла гематокрит (доля эритроцитов в общем объеме крови) у меня сократился до 25 процентов (нормальный уровень — 46 процентов). Мне прописали препарат, ускоряющий производство красных кровяных клеток, — эпоген. Вот уж ирония судьбы. В любой другой ситуации прием эпогена вызвал бы у меня большие осложнения в отношениях с Международным союзом велоспорта и Международным олимпийским комитетом, поскольку он считается запрещенным стимулятором. В данном же случае эпоген едва ли был таковым. Он служил мне не для улучшения спортивных показателей, а для сохранения жизни.

Химиотерапия убивает не только раковые, но и здоровые клетки. Вводимые химикаты атакуют костный мозг, мышцы, зубы, слизистую оболочку гортани и желудка, оставляя человека беззащитным перед разного рода инфекциями. У меня кровоточили десны, появились язвы во рту. И конечно, я потерял аппетит, что тоже было чревато серьезными проблемами. Не получая достаточного количества белков с пищей, мой организм не мог восстанавливать ткани, вплоть до волос и ногтей, пораженные химиотерапией.

Хуже всего было по утрам. Терапия заканчивалась ближе к вечеру, перед самым ужином, после чего я пытался что-нибудь съесть, а потом ложился в постель и смотрел телевизор или общался с друзьями. За ночь введенные препараты проникали во все ткани организма, а утром я просыпался и меня буквально выворачивало наизнанку. Из еды я мог терпеть только один продукт: пирожки с яблочным повидлом, которые подавали в больничном буфете. Как ни странно, эти хрустящие пирожки, посыпанные сахаром и наполненные повидлом, ласкали мой язык и желудок.

Каждое утро Джим Очович приносил целую коробку этих пирожков. Он садился у изножия кровати, и мы ели их вместе. Оч угощал меня ими изо дня день, и в конце концов они мне так приелись, что я далее смотреть на них не мог.

Химиотерапия — это одиночество. Мама после перенесенной мною операции на мозге уехала домой в Плано; время оплачиваемого отпуска у нее кончилось, а неоплачиваемый она себе позволить не могла. Ей очень не хотелось уезжать; ей казалось, что, просто оставаясь рядом со мной, она может

изменить положение к лучшему.

Когда я еще учился в школе, она привыкла считать, что, если она будет хотя бы просто наблюдать за мной, ничего плохого случиться не может. Когда наступали холода и улицы Плано покрывались снегом и гололедом, мы с приятелями любили привязывать к машине санки и катать друг друга. Мама в таких случаях ехала на своей машине следом и наблюдала за нами. «Мне кажется, когда я рядом, я могу уберечь тебя от беды», — говорила она. То же самое она чувствовала и в отношении химиотерапии, но у нее не было выбора.

Ее место занял Оч, мой второй отец и моя самая верная сиделка. Он приезжал на каждый цикл лечения из далекого Висконсина и оставался со мной день за днем. Оч хорошо понимал, как негативно воздействует химиотерапия на мое душевное состояние, потому что сам потерял отца, умершего от рака. Он знал, как это лечение деморализует человека и какие тяготы мне приходится преодолевать, поэтому всеми силами старался отвлечь меня. Оч научил меня играть в «черви», и мы резались в карты часами, пригласив для комплекта Билла и ЛаЙзу. Он читал мне газеты и почту, когда мне было слишком плохо, чтобы читать самому.

Оч гулял со мной вокруг больницы, толкая перед собой тележку с капельницей, и мы разговаривали |на самые разные темы — от велогонок до торговли ценными бумагами через интернет. Однажды, сидя ша скамейке на территории медицинского центра и греясь на солнышке, мы заговорили о смерти.

— Оч, я не готов умереть, — сказал я. — Мне кажется, я еще не отжил свое. Я не боюсь смерти, брели она неизбежна. Но я все еще верю, что справлюсь с этой бедой.

Но химиотерапия превращает тебя в живой труп. Я лежал в забытьи, теряя счет времени, не зная даже, день сейчас или ночь, — и мне это не нраавилось. Это дезориентировало и порождало чувство, что все вокруг рассыпается в пух и прах, что fee больше теряю связь с окружающим миром. Оч помогал мне следить за ходом времени. Он приносил на завтрак яблочные пирожки и болтал со мной, пока я не засыпал на середине фразы. Тогда Оч на точках покидал палату. Несколько часов спустя он возвращался с блюдом овощей на ланч или бутербродом. После ланча мы играли в карты, пока, не засыпал снова, уже посреди партии, кивая готовой и закрывая глаза. Оч осторожно вынимал карты из моей руки и клал их на стол, а сам опять тихонько уходил.

Билл и Лайза тоже были со мной на протяжении каждого

цикла, постоянно приезжали и другие друзья и спонсоры. Оч, Билл и Лайза составляли основную группу поддержки. Каждый вече они приносили мне ужин, а если я чувствовал себя достаточно хорошо, то шел с ними в кафе, волоча за собой капельницу. Не то чтобы мне хотелось есть — просто для разнообразия, чтобы развеять монотонность своего существования. Потом МЫ смотрели телевизор, пока я не начинал засыпать, тогда они оставляли меня до 7 часов утра, так что на ночь я оставался один.

Стало своеобразным ритуалом — проводить вечера вместе, прихватив за компанию других приезжавших ко мне посетителей вроде Криса Кармайкла или Скотта Макичерна. Расставшись со мной, они шли ужинать в бистро «Palomino Euro» или чудесный ресторан под названием «St. Elmo», а потом отправлялись в бар отеля «Canterbury» и курили сигары. Я был бы рад составить им компанию, но не позволяло плохое самочувствие. Когда] они уходили, я завистливо говорил им на прощанье: «Опять пьянствовать собрались?»

Когда Латрис заходила зарядить капельницу очередной порцией химиопрепаратов, я приподнимался на койке и внимательно наблюдал.

— Что приготовили на этот раз? — спрашивал я. — Какую смесь?

К тому времени я разбирал рентгенограммы не хуже любого врача, знал все названия и дозировки противорвотных препаратов. Я не давал Латрис прохода, втолковывая ей, от каких препаратов мне становится лучше или хуже с точки зрения тошноты и рвоты. Я предлагал ей попробовать давать мне немножко меньше этого или немножко больше того.

Я не был послушным пациентом. Я был строптив, агрессивен и надоедлив. Я персомодифицировал свою болезнь, называя ее «ублюдком». Я считал ее своим личным врагом, бросившим мне вызов. Когда Латрис велела мне выпивать пять стаканов воды за день, я выпивал пятнадцать, осушая их один за другим.

Химиотерапия угрожала лишить меня моей независимости и возможности самому распоряжаться своей судьбой, и это раздражало. Я был привязан к капельнице 24 часа в сутки, и мне было очень трудно согласиться перепоручить контроль над своей жизнью сестрам и врачам. Я настойчиво пытался вести себя как полноправный участник своего собственного лечения. Я внимательно изучал результаты анализа крови и рентгеноскопии и изводил Латрис вопросами, как настоящий Великий Инквизитор: «Латрис, кто из сестер сегодня дежурит?», «Латрис, как называется это лекарство?», «Латрис, а это зачем?»

Я задавал вопросы непрестанно, словно был ее начальником и проверял ее компетентность. Латрис выполняла лишь часть работы, делясь обязанностями с другими медсестрами: она ведала моим режимом дня, вводила противорвотные лекарства и наблюдала за моими симптомами. Я же следил за всем. Я точно знал, что и когда мне должны дать, и замечал любые изменения в привычном режиме.

Латрис проявляла со мной безграничное терпение. Вот типичные примеры моих вопросов на протяжении дня: «Латрис, какую дозу я получаю?»,? «А на чем это основывается?», «Это то же, что мне давали вчера?», «А почему сегодня другое?» «Латрис, во сколько начинаем?», «Латрис, когда сегодня заканчиваем?».

Определение времени окончания сеанса терапии стало для меня настоящей игрой. Я смотрел на свои наручные часы, а потом, глядя на пакеты с препаратами, капавшими по трубкам в мое тело пытался рассчитать скорость капания и когда упадет последняя капля.

— Когда будет последняя капля, Латрис? Только точно!

Со временем между нами сложились шутливые, отношения. Я обвинял ее в том, что из жестокости: она не дает мне противорвотные средства. Они помогали мне хоть как-то терпеть побочные эффекты химиотерапии. Но я мог получать лишь строго определенную дозу в день и уговаривал Латрис дать еще.

— Я не имею права, — говорила она. — Вы получали препарат 3 часа назад. Так что до следующей порции остался всего час.

— Да будет вам, Латрис. Что вы здесь цирк устраиваете? Вы лее прекрасно знаете, что можете

дать мне все, что захотите. Другое дело, что вы не хотите.

Каждый раз после этого меня начинало рвать с такой силой, что, казалось, я умираю.

— Ну вот, теперь мне намного лучше, — саркастически говорил я Латрис, придя в себя.

Иногда приступ рвоты начинался при виде еды, особенно на завтрак. В конце концов я попросил, чтобы завтрак мне не приносили вовсе. Однажды утром, глядя на тарелку с яичницей, которая представлялась мне вязкой и клейкой, и на тост, выглядевший как кусок сухой штукатурки, я взорвался:

— Что за дерьмо вы принесли? Латрис, вы бы

сами стали такое есть? Только посмотрите. Вы кормите этим людей? Может мне кто-нибудь принести то, что можно есть?

— Лэнс, вы можете получить все, что пожелаете, — безмятежно ответила Латрис.

Латрис за ответом в карман не лезла. Она могла подтрунить

надо мной, даже когда мне было слишком плохо, чтобы смеяться.

— Лэнс, скажите, это из-за меня? — могла сказать она с преувеличенным сочувствием. — Это от меня вас так тошнит?

Я только беззвучно усмехался, и меня снова рвало. Мы стали друзьями, товарищами по химиотерапии. Между циклами я уезжал на две недели домой, в Остин, чтобы отдохнуть и восстановить силы, и Латрис постоянно названивала мне, чтобы справиться о самочувствии и напомнить о необходимости побольше пить. Химиотерапия могла повредить мочевой тракт. Поэтому она всегда следила за тем, чтобы я потреблял как можно больше жидкости. Однажды вечером, когда она позвонила, я забавлялся в своем гараже, который называл автопортом, с подарком от фирмы «Oakley». Это была радиоуправляемая! модель автомобиля, выполненная из титана и способная разгоняться до 110 километров в час.

— Что там за шум? — спросила Латрис.

— Я у себя в гараже, — ответил я.

— И что вы делаете?

— Играю с радиоуправляемой машинкой.

— Ну разумеется, что же еще? — сказала

Однажды я заметил у себя на коже странные отметины, какие-то светло-коричневые на. Это были ожоги от химиотерапии.

Химикаты разъедали мои ткани изнутри. К этому времени я проходил третий цикл лечения, и уже давно был на себя не похож. Я был тенью того человека, который поступил в эту больницу. Мое тело словно уменьшилось, мышцы стали маленькими дряблыми. «Вот где главная проблема, — думал я, оглядывая себя. — Вот где эта болезнь пытается, достать меня».

«Мне нужно оставаться в форме, — твердил я про себя. — Мне нужно оставаться в форме».

Вес продолжал снижаться, как я ни пытался этому противиться. Собственно, мне изначально худеть было особо некуда — жира в моем теле был самый минимум, и токсины поедали меня, как стая мелкой рыбешки, — откусывая понемногу.

— Латрис, я теряю вес, — жаловался я. — Что мне делать? Посмотрите на мои мышцы! Посмотрите, что со мной стало. Мне нужно тренироваться, укрепляться, вернуть форму.

— Лэнс, это же химия, — отвечала терпеливая Латрис- Вес не может не снижаться, это происходит автоматически. Все пациенты, проходящие химиотерапию, теряют вес.

Я не мог вынести этого постоянного полусонного состояния и бесконечного лежания в постели. Я ощущал себя как выброшенная на берег рыба.

— Латрис, можно мне поупражняться? Латрис, здесь есть

спортзал?

— Лэнс, это больница, — ответила она со своим знаменитым вздохом долготерпения. — Но для пациентов, которые лежат у нас подолгу, и для людей вроде вас у нас есть велотренажеры.

— И мне можно? — воскликнул я.

Латрис спросила разрешения у Николса, но тот не согласился. Моя иммунная система была ослаблена настолько, что ее как будто и вообще не было, так что тренировки в моем состоянии противопоказаны.

При всем притворном осуждении моего поведения Латрис искренне сочувствовала моему стремлению больше двигаться. Однажды мне была назначена контрольная МРТ мозга, но все аппараты были заняты, поэтому Латрис отправила меня в близлежащую детскую больницу. Оба учреждения связывал подземный туннель протяженностью примерно в полтора километра. Обычным способом перемещения пациентов через этот туннель была либо машина «скорой помощи», либо инвалидная коляска.

Но я решил туда идти, а не ехать. Я сказал сестре, которая привезла инвалидное кресло: «В эту штуку я ни за что не сяду». Я сказал, что пойду в детскую больницу пешком, даже если придется идти туда всю ночь. Латрис, не говоря ни слова, только покачала головой. Пришлось сестре толкать перед собой мою тележку с капельницей.

Туда и обратно я шел медленно. Со стороны я мог бы показаться сутулым и хромым стариком. Путь в обе стороны занял больше часа. До постели я добрался уставший и мокрый от пота, но чувствовал себя победителем.

— Вам лишь бы не так, как все, — сказала Латрис и улыбнулась.

Сохранение способности двигаться стало для меня самым главным испытанием. К пятому дню третьего цикла химии я не мог даже ходить по палате. Мне приходилось целыми днями лежать в постели, пока не пришло время возвращаться домой. В воскресенье утром прибыл дежурный с инвалидным креслом, чтобы отвезти меня в приемный покой для выписки. Я сердито отказался от его услуг

— Нет, я выйду отсюда на ногах.

Француз склонился надо мной, пытаясь презентовать мне в знак уважения бутылку красного' вина стоимостью в 500 долларов. Я смотрел на него из глубины наркотического тумана, находясь в полусознании и слишком мучаясь тошнотой, чтобы ответить. Но меня хватило на то, чтобы удивиться, зачем больному раком дарить такое дорогое бордо.

Ален Бондю был менеджером команды «Cofi-dis» и, казалось, пришел с визитом вежливости. Но я был не в том состоянии, чтобы вести светские беседы. Третий цикл химиотерапии подходил к концу, и я был смертельно бледен, с черными кругами под глазами. У меня не было ни волос, ни бровей. Бондю провел в палате несколько неловких минут, уверяя меня в полной поддержке со стороны команды, после чего встал, собираясь уйти.

— Лэнс, мы вас любим, — сказал он напоследок. — И мы позаботимся о вас.

На этом он попрощался, и мы обменялись рукопожатием. Но, отойдя от меня, Бондю жестом подозвал Билла Стэплтона — не желая, чтобы я был свидетелем их разговора. Билл вышел за Бондю в коридор, и тот достаточно резко сказал ему, что им нужно обсудить некоторые деловые вопросы и для этого нужно найти какое-то место, где им никто не помешает.

Стэплтон, Бондю и вызвавшийся на роль переводчика мой друг Пол Шервен, хорошо знавший французский, уединились в небольшом тускло освещенном конференц-зале расположенного напротив больницы отеля. Бондю, куря сигарету за сигаретой, начал по-французски объяснять Биллу, что, к сожалению, организация «Cofidis» будет вынуждена пересмотреть условия контракта со мной ввиду моей болезни. Ранее мы договорились о 2,5 миллиона долларов за два года, но теперь выполнение этого договора казалось невозможным.

Билл в растерянности покачал головой.

— Простите, я, может быть, чего-то не понял? — сказал он. — Совсем недавно «Cofidis» выразила Лэнсу полную моральную поддержку в его борьбе с болезнью, — продолжал Билл. — Наверное сейчас, в разгар химиотерапии, не самое лучшее время обсуждать контракты.

— Мы любим Лэнса и готовы позаботиться о нем, — сказал по-французски Бондю. — Но вы должны понять, что это вопрос принципа и что люди Франции не поймут, как можно платить такие деньги человеку, который не работает.

Билл был потрясен.

— Ушам своим не верю, — сказал он.

Бондю напомнил, что мой контракт содержал пункт, требующий от меня пройти медицинское освидетельствование. Ясно, что пройти его с положительным результатом я не смогу. Поэтому организация «Cofidis» имела все основания аннулировать договор. Они же предлагали только пересмотреть его, что было, с их точки зрения, щедрым предложением. Часть положений контракта останется, но не все. Если я не соглашусь с новыми условиями, они будут вынуждены организовать медицинское

освидетельствование и вообще разорвать контракт. Билл встал, презрительно посмотрел на собеседника и сказал:

— Да пошел ты!

Бондю остолбенел.

Билл продолжал:

— Не могу поверить, что вы проделали весь этот путь в столь трудное для Лэнса время, чтобы сообщить такое, и теперь хотите, чтобы я передал ему ваши слова.

Билл был вне себя — не столько из-за попыток «Cofidis» избавиться от контракта — на это они имели полное право, — но скорее из-за того, насколько несвоевременно и бестактно они действовали. Незадолго до этого организация «Cofidis» громогласно заявляла, что остается со мной, чем снискала благоприятные отзывы в прессе, а за закрытыми дверями разговор оказался совсем другим. Билл яростно защищал мои интересы и отказался даже обсуждать вопросы о контракте, пока я лежу под капельницей.

— Я не сделаю этого, — сказал он. — Не буду даже обсуждать в такое время. Делайте что хотите, и пусть общественное мнение нас рассудит.

Но Бондю уходить не Спешил.

— С юридической точки зрения, — напомнилон, — вы наверняка знаете, что вам не на что опереться. «Cofidis» имеет полное право разорвать договор в любой день. Вы же понимаете, что для этого достаточно результата медицинского освидетельствования, — повторил он.

— Вы пришлете сюда своего врача? — зло спросил Билл.

— Если придется, мы можем это сделать, — ответил Бондю.

— Отлично, — сказал Билл. — А я приглашу журналистов с телекамерами, и посмотрим, кому будет хуже.

Бондю продолжал настаивать, что организация «Cofidis» хотела бы сохранить контракт со мной какой-то форме — но только на определенных условиях. Билл несколько успокоился и попытался убедить собеседника, что, несмотря на кажущуюся немощь, я иду на поправку. Наверняка можно было бы прийти к какому-то компромиссу. Но Бондю оставался непреклонен, и продолжавшиеся еще два часа переговоры ни к чему не привели. Наконец Билл встал, намереваясь уйти.

— Если вы «кинете» Лэнса, пока он в больнице, — прекрасно, я позабочусь о том, чтобы весь мир узнал, как вы с ним обошлись, — на этом Билл закончил переговоры. — Делайте то, что считаете» нужным, — сказал он.

Потрясенный случившимся, Билл вернулся ко мне в палату. Он отсутствовал больше трех часов, и я понял, что-то не так. Как

только он переступил порог, я спросил:

— Ну что?

— Ничего, — ответил Билл. — Ни о чем не беспокойся.

Но по его лицу я видел, как он расстроен, и заподозрил причину этого.

— И все-таки?

— Не знаю, как и сказать, — ответил Билл.-

Они хотят пересмотреть условия контракта и при необходимости организуют медицинское освидетельствование.

— И что нам делать?

— Я его послал.

Подумав, я устало сказал: «Будь что будет». Я много думал о том, что было истинной причиной приезда Бондю. Тогда я пришел к выводу (сейчас думаю так же), что он приехал ко мне в больницу, чтобы определиться с выбором: если я буду выглядеть более или менее здоровым, они сохранят контракт; если же я буду совсем плох, они займут жесткую позицию, настаивая на пересмотре или аннулировании контракта. Мы решили, что это была не более чем шпионская миссия: посмотреть, не при смерти ли Армстронг. По-видимому, Бондю хватило одного взгляда, чтобы решить, что моя песенка спета.

Билл сокрушенно извинялся:

— Прости, что принес тебе еще одну плохую новость.

Но у меня были более важные заботы, чем отношения с «Cofidis». Не поймите меня превратно: деньги меня, конечно, интересовали, и столь бестактное и неискреннее поведение со стороны «Cofidis» меня больно задело. Но с другой стороны, у меня была в то время более неотложная проблема, требовавшая полного сосредоточения, — тошнота и рвота.

Билл сказал:

— Еще не все потеряно. Потянем время, а потом будем вести переговоры.

Он полагал, что, если ему удастся отложить переговоры до февраля, я, возможно, уже достаточно поправлюсь, чтобы пройти медкомиссию.

— Мы еще посмотрим, кто кого, — добавил Билл.

Я только буркнул что-то нечленораздельное; было слишком плохо, чтобы вникать в эти вопросы.

Через три или четыре недели люди из «Cofidis» — вновь подняли вопрос о контракте, ясно давая понять, что они не блефуют и в случае необходимости' не преминут устроить мне медицинское освидетельствование. Они пришлют из Франции своего врача, и договор будет расторгнут. Я по-прежнему отказывался говорить с Биллом на эту тему, переживая самый

тяжелый этап химиотерапии. Но в какой-то момент Билл проявил твердость.

— Лэнс, они настроены серьезно. У нас нет другого выхода. Нужно принять их условия, — сказал он.

В конце концов сошлись на том, что «Cofidis»! выплатит мне лишь треть от суммы, предусмотренной первоначальным двухлетним контрактом, и оставляет за собой право по истечении года досрочно выйти из договора.

Это выглядело как вотум недоверия. В «Cofidis» меня считали фактически мертвецом.

Чем хуже я себя чувствовал, тем лучше становилось мое здоровье. Таковы парадоксы химиотерапии.

Со временем мне стало так плохо, что я уже не разговаривать не мог. Не мог есть, не мог смотреть телевизор, не мог читать письма, не мог даже общаться с матерью по телефону. Меня хватало лишь на то, чтобы выдавить полушепотом: «Мама, давай поговорим в другой раз».

В самые тяжелые дни я просто лежал, свернувшись калачиком под одеялом, мучаясь тошнотой и жжением под кожей. Высунув из-под одеяла один нос, я только стонал.

Сознание туманилось, и я помню тот период своей жизни лишь обрывочно. Но одно я знаю наверняка: именно в то время, когда мне пришлось хуже всего, болезнь начала по-настоящему отступать. Врачи приходили каждое утро с последними результатами анализа крови, и результаты эти становились все лучше. В этой болезни замечательно то обстоятельство, что уровень маркеров крови позволяет очень объективно судить о состоянии здоровья. Мы следили за малейшими их колебаниями; даже самая маленькая подвижка уровней ХГЧ и АФП в ту или другую сторону становилась поводом для озабоченности или торжества.

Эти цифры были чрезвычайно показательны для врачей и для меня. Например, в период со 2 октября, когда мне был поставлен диагноз, по 14 октября, когда были обнаружены опухоли в мозге, уровень ХГЧ возрос с 49 600 до 92 380. В первые дни моей болезни врачи входили в палату с весьма озабоченным видом — приговор буквально был написан на их лицах.

Но постепенно их лица становились все светлее: уровень маркеров начал снижаться. Скорость снижения росла. В скором времени они были уже в «свободном падении». Более того, цифры снижались даже слишком быстро — врачи были несколько растеряны, наблюдая за ними. У меня сохранились записи уровней маркеров крови. Всего за три недели ноября они упали с 92 000 до 9000. «Ничего себе реакция», — с удовольствием

произнес доктор Николс.

Я уходил в отрыв. Я так и знал, что если мне доведется выздороветь, то это произойдет так же, как в гонках: в результате стремительной атаки», Николс говорил мне: «Вы опережаете график». Эти цифры стали для нас главной темой дня, моим мотиватором, моей желтой майкой. (Желтую майку носит лидер общего зачета в «Тур де Франс», чтобы выделяться среди остальных.)

Я стал представлять себе свое выздоровление как гонку на время в «Туре». Державшиеся сзади; товарищи по команде держали меня в курсе происходящего за моей спиной, а после каждой контрольной точки менеджер команды по радиосвязи сообщал мне: «Отрыв 30 секунд». Это побуждало меня еще больше ускорить темп. Я начал ставить перед собой цели, касавшиеся результатов анализа крови, и воодушевлялся, когда достигал их. Николс говорил мне, например, что к следующей проверке они рассчитывают, скажем, на 50 процентное снижение уровня. Я концентрировался на этой цифре, словно мог повлиять на нее усилием воли. «Уровень сократился ровно наполовину», — говорил мне потом Николс, и я ощущал себя победителем. А однажды Николс сказал: «Уровень составляет уже четверть от того, что было».

Я чувствовал, что выигрываю борьбу с болезнью, и мой спортивный азарт заставлял меня еще больше поднажать. Я хотел оторваться от рака, как отрывался от соперников на подъеме в гору. И отрыв все более увеличивался. «Рак выбрал не ту жертву, — хвалился я Кевину Ливингстону. — Когда он искал, где бы ему поселиться, он совершил большую ошибку, выбрав меня. Большую ошибку».

И вот однажды доктор Николс вошел ко мне в палату с новой цифрой: уровень ХГЧ составлял всего 96. Это была победа. Теперь мне оставалось лишь вытерпеть самый последний и самый токсичный этап лечения. Я был почти здоров.

Но на самочувствии это, разумеется, не сказывалось. Это вам не что-нибудь, а химиотерапия.

Возвращаясь в родной Техас между циклами химиотерапии, я постепенно восстанавливал силы, чтобы вновь обрести способность двигаться. Я жаждал свежего воздуха и тренировок.

Друзья старались делать вид, что не замечают, насколько слаб я стал. Моих гостей, безусловно, шокировала моя бледность, худоба, отсутствие волос, но они тщательно скрывали свои чувства. Неделю у меня прогостили Фрэнки Эндрю, Крис Кармайкл, Эрик Хайден, великий конькобежец и олимпийский чемпион, ставший врачом, и Эдди Меркс. Они готовили мне еду и

выводили меня на пешие и велосипедные прогулки.

От дома шла извилистая асфальтовая дорога, которая вела к Маунт-Боннел, скалистому утесу, круто нависающему над рекой Остин. Прежде моим друзьям, когда мы совершали велосипедные прогулки, приходилось поднажать, чтобы не отставать от моего прогулочного темпа, но теперь мы ПОЛЗЛИ как черепахи. Я выдыхался на совершенно ровной дороге.

Думаю, я не отдавал себе полностью отчета в том, какое воздействие оказала химиотерапия на мое тело. Рак вцепился в меня клешнями, когда я был полон сил и уверенности в себе, и хотя с каждым циклом терапии я замечал, что становлюсь все слабее, по-настоящему не сознавал степени своей немощи, пока однажды чуть не рухнул без сил перед крыльцом чужого дома.

Велосипедные тренировки в список рекомендаций доктора Николса не входили. Он, правда, и не запрещал их, но сказал: «Пока еще не время пытаться поддерживать или улучшать спортивную форму. Не мучайте свое тело». Я не послушался; меня слишком страшила мысль, что под действием химиотерапии я могу настолько утратить форму, что никогда не сумею ее восстановить. Мое тело атрофировалось.

Когда я чувствовал себя лучше, то говорил Кевину или Барту: «Пошли прокатимся». Первое время мы наезжали от 50 до 80 километров, и я воображал себя непокоренным, неутомимым, летящим | по дороге навстречу ветру. Но в реальности эти поездки были совсем не такими; я был лишь жалким подобием себя прежнего, слабым и беспомощным.

К концу курса химиотерапии мы катались по полчаса, делая круг по окрестным улицам, и я говорил себе, что пока я способен на это, я еще в сносной форме. Но произошло два инцидента, которые показали мне, до чего же я на самом деле был слаб. Однажды мы отправились на велосипедную прогулку с Кевином, Бартом и его невестой Барбарой. На полпути нам встретился короткий и крутой подъем. Я считал, что еду неплохо, но это было самообманом, которому способствовало великодушие моих друзей. Просто они ехали настолько медленно, что едва держались на колесах. Время от времени они, не сдержавшись, начинали ехать чуть быстрее, и я едва поспевал за ними, жалуясь: «Вы убиваете меня». Они следили за тем, чтобы я не перетрудился, поэтому у меня не было реальной возможности оценить, быстро ли я ехал. Когда мы поднимались на холм, я держался рядом с ними и считал, что со мной все в порядке.

И вдруг слева от меня промчалась женщина. Ей было за пятьдесят, ехала она на тяжелом горном велосипеде, а пронеслась мимо меня так, словно я стоял на месте.

При этом она ехала спокойно, не задыхалась, а я на своем гоночном велосипеде пыхтел и тужился, но угнаться за ней не мог. Выкладываясь на все сто, я тем не менее отстал.

И тут я понял, что обманывал себя. Я обманывал себя, думая, что могу ездить быстрее и чувствовать себя лучше, чем это было на самом деле. И вот женщина средних лет, обогнав меня при подъеме на холм, открыла мне глаза, и я увидел реальное положение вещей. Я вынужден был признать, что моя спортивная форма хуже некуда.

Велосипедные прогулки между циклами химиотерапии давались мне все труднее, и мне пришлось признать, что ездил я уже вовсе не для поддержания физической формы. Я катался просто ради удовольствия — и это было для меня чем-то новым. Моей целью было продержаться в седле хотя бы полчаса. Никогда раньше мне не приходилось ставить перед собой столь тривиальные цели.

До болезни я не любил велосипедный спорт: Я рассматривал его просто как работу, и весьма успешную. Велоспорт был для меня лишь средством достижения цели, способом выбраться из Плано и потенциальным источником славы и богатства. Я занимался этим вовсе не ради удовольствия или романтики; это было моей профессией, средством к существованию, может быть, даже смыслом жизни, но я не сказал бы, что любил это занятие.

В прошлом я никогда не катался только ради того, чтобы покататься, — всегда имелась более основательная цель: гонка или тренировка. Раньше мне и в голову не пришло бы кататься полчаса или час. Профессиональный велосипедист не станет даже из гаража велосипед выкатывать на такое время.

Если Барт звонил мне и предлагал пойти покататься, я недоуменно спрашивал: «Зачем?»

Но теперь я не просто полюбил велосипедные прогулки — я уже не мог без них. Мне нужно былсо хоть на какое-то время отрешиться от своих проблем и развеяться. Была и другая причина: я хотел, чтобы все видели: со мной все в порядке, я еще способен держаться в седле, — и, может быть, я пытался доказать то же самое самому себе.

И я хотел, чтобы мои друзья на вопрос «Как дела у Лэнса?» отвечали: «Очень даже неплохо. Он уже ездит на велосипеде».

Может быть, мне нужно было убедить себя, что я все еще гонщик, а не просто больной раком, каким бы бессильным я ни становился. Это было моим способом противодействия болезни и возвращения ускользавшего из моих рук контроля над собственной жизнью. «Я все еще способен на это, — говорил я себе. — Пусть не так., как это было раныие, но все же способен».

Еще один инцидент произошел, когда я отправился на нашу обычную велосипедную прогулку с Кевином и Джимом Вудменом, моим другом из числа местных велосипедистов. На голове у меня оставались шрамы от операции, поэтому я надел шлем. Мы ехали очень медленно, в прогулочном темпе. Опять же, раньше мне с такой скоростью ездить не приходилось.

Мы доехали до места, где дорога немного поднималась вверх. Преодолеть этот подъем было совсем не трудно. Д, ля этого требовалось всего лишь привстать над седлом и разок-другой нажать на педали. Я проезжал его миллион раз. Раз-два, а потом садишься в седло и катишься с горы.

На этот раз я не смог. На середине подъема я чуть не задохнулся. Велосипед подо мной закачался, и я остановился, поставив ноги на асфальт. Я был почти в обмороке.

Я пытался отдышаться, но мне как будто не хватало воздуха. В глазах мельтешили черные и серебристые точки. Я спешился. Кевин и Джим развернулись и с озабоченным видом подъехали ко мне.

Я сел на бордюр перед чужим домом и опустил голову.

— Что с тобой? — с тревогой в голосе спросил подоспевший Кевин.

— Дыхание перехватило, — хрипло произнес я.-

Езжайте без меня, а я вернусь домой.

— Может, «скорую» вызвать? — сказал Джим.

— Нет, не надо. Просто посижу немного.

Я слышал свое дыхание: «ху, ху». И вдруг мне даже сидеть стало тяжело. Кружилась голова — так бывает, когда слишком быстро встаешь. Только я не стоял.

Я лег на траву и закрыл глаза.

Это смерть?

Кевин испуганно склонился надо мной.

— Лэнс! — громко позвал он. — Лэнс!

Я открыл глаза.

— Я вызываю «скорую», — сказал Кевин в отчаянии.

— Нет, — сердито возразил я. — Не нужно «скорую»; мне просто надо отдохнуть.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, успокаивая и себя, и меня.

Через несколько минут дыхание пришло в норму. Я сел. Потом, собравшись с силами, встал. Осторожно оседлал велосипед. Ноги дрожали, но катиться вниз было легче. Мы очень медленно двинулись обратно к дому. Кевин и Джим ехали рядом, не спуская с меня глаз.

Тяжело дыша, я объяснил им, что со мной произошло. Под действием химиотерапии погибают здоровые эритроциты, и в

результате снижается уровень гемоглобина в крови. Гемоглобин — это вещество, доставляющее кислород в ткани организма, и нормальный его уровень должен быть в пределах 13–15 г % (8,06-9,3 ммоль/л).

У меня же было 7. Моя кровь стала похожа на воду. Химиопрепараты методично уничтожали ее каждые две недели с понедельника по пятницу. Кислорода и так не хватало, а тут еще велосипед.

В тот день мне пришлось поплатиться за это.

Но ездить я не перестал.

Ангелы есть и на нашей грешной земле. Они могут принимать различный облик, и мне казалось, что Латрис — одна из них. Сторонний наблюдатель увидел бы в ней лишь одну из многих деловитых, вооруженных блокнотами и шприцами медсестер в накрахмаленных халатах. Она работала день и ночь, а в редкие часы отдыха отправлялась домой к мужу, водителю грузовика, и двоим сыновьям, семилетнему Тейлору и четырехлетнему Моргану. Но даже если она уставала, по ней этого сказать было нельзя. Она поразила меня как женщина, совершенно лишенная чувства обиды и прочих негативных эмоций, уверенно, ответственно и решительно делавшая свое благородное дело, и если уж это не ангельское поведение, тогда не знаю, что таковым считать.

Вечерами я частенько оставался один. Тогда Латрис составляла мне компанию, и, если я был в силах, мы разговаривали на разные серьезные темы. С большинством людей я был робок и немногословен, но с Латрис мне нравилось общаться благодаря ее мягкости и экспрессивности. Это была миловидная молодая женщина, не по годам мудрая и уверенная в себе, несмотря на то что ей не было еще и тридцати. В то время как другие люди нашего возраста прожигали жизнь по клубам и барам, она была уже старшей медсестрой онкологического отделения. Я как-то спросил, что ей нравится в ее работе. «Мне нравится хоть немного облегчать людям жизнь», — сказала она.

Она спрашивала меня о велоспорте, и я обнаружил, что рассказываю ей о своей профессии с таким удовольствием, которого прежде не ощущал. «Как это началось?» — спросила она однажды. Я рассказал ей о своих первых велосипедах, о чувстве свободы, которое они несли, и о том, что велоспорт стал для меня единственным занятием в жизни с тех пор, как мне стукнуло шестнадцать. Я рассказал о своих товарищах, об их чувстве юмора и преданности, о своей матери и о том, как много она для меня значит.

Я рассказал ей о том, что дал мне велоспорт, о европейских

гонках, о том необыкновенном образовании, которое я там получил, — и богатстве тоже. Я с гордостью показал ей фотографию своего дома и пригласил ее как-нибудь приехать в гости, показал фотографии, сделанные в разное время моей спортивной карьеры. Она смотрела на мои фотографии на фоне пейзажей Франции, Италии и Испании и время от времени спрашивала: «Где это вы?»

Я признался в своих тревогах относительно поведения моего спонсора, организации «Cofidis», и объяснил, какие у нас возникли затруднения. Я сказал ей, что меня загнали в угол, поэтому должен оставаться в форме. «Мне нужно оставаться в форме», — повторял я снова и снова.

— Лэнс, слушайте свое тело, — мягко говорила она мне. — Я знаю, что ваш разум спешит. Я знаю, он твердит вам: «Эй, садись на велосипед — и поехали». Но вы слушайте свое тело. Дайте ему отдохнуть.

Я описал ей свой элегантный гоночный велосипед, сделанный из сверхлегких труб и оснащенный аэродинамическими колесами. Рассказал, каковы цена, вес и предназначение каждой детали. Объяснил, что велосипед можно разобрать на мелкие части, что его практически можно будет унести в кармане, и что я настолько хорошо разбираюсь в его устройстве, что отрегулировать его — для меня секундное дело.

Я объяснял, что велосипед должен максимально соответствовать телосложению гонщика и что временами мне кажется, будто я сливаюсь с ним в одно целое. Чем легче рама, тем более чутко велосипед реагирует на все мои движения. Мой велосипед весит всего лишь 7 килограммов. Колеса оказывают на раму центробежное воздействие, и чем больше это воздействие, тем больше движущая сила. Оно является важной составляющей общей скорости движения. В колесе 32 спицы. Специальные рычаги (эксцентрики) позволяют очень быстро снять и заменить колесо, так что мои помощники затрачивают на замену проколотого колеса меньше 10 секунд.

— А вы не устаете все время ехать вот так, наклонившись? — спросила Латрис.

— Да, — ответил я, — утомляет так, что потом спину не разогнуть, но это цена за скорость. Руль соответствует ширине плеч и изогнут вниз полумесяцем, чтобы гонщик мог занять позицию с наименьшим аэродинамическим сопротивлением.

— А почему седло такое маленькое?

Да, седло узкое и имеет контур, соответствующий анатомии человека, — ведь когда сидишь на нем по шесть часов не слезая, тебе не нужно, чтобы ноги постоянно терлись о его края. Лучше

иметь жесткое седло, чем мучиться от боли. Даже одежда у гонщика выполняет определенную функцию. Она изготовлена из такой тонкой ткани не случайно: она должна плотно облегать твое тело, потому что ты носишь ее в самую разную погоду — ив жару, и в град. В сущности, это твоя вторая кожа. Шорты имеют замшевую вставку-седалище, а швы выполнены снаружи, чтобы не натирали.

Рассказав Латрис об устройстве велосипеда все, что мог, я стал рассказывать ей о ветре. Я описывал, как он обдувает мое лицо и развевает волосы. Я рассказывал, что это такое — быть все время открытым ветру, когда вокруг уходят в заоблачные выси вершины Альп, а вдали, в долине, блестит озеро. Иногда ветер обдувал меня как добрый друг, иногда становился злейшим врагом, а иногда подгонял в спину, как длань Господня. Я рассказывал, как летишь с горы на бешено вращающихся узеньких колесах, имея под собой опору шириной меньше двух сантиметров.

— Ощущаешь при этом такую свободу, — мечтательно произнес я.

— Вы любите велоспорт, — сказала она.

— Вы думаете?

— Я вижу это по вашим глазам.

То, что Латрис была ангелом, я понял однажды вечером, когда шел последний цикл химиотерапии. Я полудремал, лежа на боку, то засыпая, то просыпаясь, и наблюдал за тем, как прозрачные капли препаратов сочатся в мои вены. Латрис сидела рядом за компанию, хотя сил для общения у меня не было.

— Как вы думаете, Латрис, — спросил я шепотом, — выкарабкаюсь я или нет?

— Да, — сказала она. — Обязательно выкарабкаетесь.

— Надеюсь, что вы правы, — сказал я и снова закрыл глаза.

Латрис склонилась надо мной.

— Лэнс, — сказала она нежным голосом. — Я надеюсь однажды стать лишь плодом вашего воображения. Я не хочу оставаться в вашей жизни до конца ваших дней. Надеюсь, когда вы выйдете отсюда, мы больше никогда — никогда не увидимся. Когда вы выздоровеете, я хочу видеть вас в газетах, по телевизору, но только не здесь. Я надеюсь помочь вам, пока вы здесь, а потом уйти из вашей | жизни навсегда. Я хочу, чтобы вы говорили потом: «Что за медсестра была там, в Индиане? Может, она мне приснилась?»

Ничего более приятного мне никто никогда не говорил. Я навсегда запомнил каждое сказанное ее слово.

Тринадцатое декабря 1996 года было последним днем

химиотерапии. Я был почти готов ехать домой.

Незадолго до получения мною последней дозы VTP ко мне зашел Крейг Николс. Он хотел поговорить о более широких вопросах, связанных с раком, о том, что он назвал «долгом вылечившегося».

Это была тема, которая меня очень интересовала. За последние три месяца я не раз говорил Ни-колсу и Латрис: «Люди должны знать об этом». За время лечения я очень сдружился с другими пациентами, моими товарищами по несчастью. Правда, в основном я чувствовал себя слишком плохо, чтобы много общаться с ними, но однажды Латрис попросила меня сходить в детскую палату и поговорить с мальчиком, которому только предстоял первый цикл. Он был очень напуган и озабочен своей судьбой — совсем как я поначалу. Я сказал ему: «Я тоже был очень болен. Но теперь выздоравливаю». А потом показал свои водительские права.

За время лечения срок действия моих водительских прав истек. Я мог бы отложить процедуру их обновления, дождавшись, когда улучшится мое самочувствие и отрастут волосы, но решил не делать этого. Кое-как одевшись, я притащился в отдел транспортных средств и сфотографировался. Я был совершенно лысый, без бровей и ресниц, а кожа у меня была цвета голубиного подбрюшья. Но я, не смущаясь, смотрел в объектив и улыбался.

— Мне захотелось иметь эту фотографию, — сказал я мальчику, — чтобы не забыть, каким я был, когда вылечусь. Ты должен бороться.

После этого Латрис все чаще просила меня пообщаться с другими пациентами. Казалось, сам факт, что известный спортсмен был в таком положении и боролся так же, как они, помогал им. Однажды Латрис обратила мое внимание на то, что, хотя я продолжал засыпать ее вопросами, природа моих вопросов изменилась. Раньше все, что я спрашивал, относилось лично ко мне, к моему лечению, дозам, моим личным проблемам. Теперь же я спрашивал о других людях. Я как-то с изумлением прочитал, что той или иной формой рака страдают восемь миллионов американцев. Как же я мог считать свою болезнь уникальной, личной проблемой?

— Даже поверить не могу, что столько людей болеют раком, — сказал я Латрис.

— Вы изменились, — одобрительно произнесла она. — Начинаете мыслить глобально.

Доктор Николс сказал, что налицо все признаки того, что мне удастся войти в число тех счастливчиков, которым удалось обмануть рак. И быть может, по мере того как мое самочувствие

будет улучшаться, я осознаю, что у меня в жизни есть более высокое призвание, чем одно лишь достижение собственного благополучия. Преодоленный рак может стать для этого весьма благоприятной возможностью, он же накладывает на человека определенные обязательства. Доктор Николс знал многих бывших пациентов, которые посвятили свою жизнь борьбе с этим злом, и надеялся, что я стану одним из них.

Я тоже на это надеялся. Я начинал видеть рак как нечто такое, что было дано мне во благо другим. Я хотел основать благотворительный фонд и спросил у доктора Николса, что он мог бы посоветовать на этот счет. Мне было еще не совсем ясно, какой будет основная цель этой организации; я знал лишь, что моя миссия — служить людям так, как мне еще не доводилось, и что я буду относиться к этому делу как к самому важному в своей жизни.

В моей жизни появился новый смысл, и он никак не был связан с моими подвигами и славой на поприще велоспорта. Кто-то, может быть, меня не поймет, но я перестал считать, что моя главная роль в жизни — быть велогонщиком. Отныне моей главной ролью станет другая — «человек, переживший рак». Я чувствовал, что накрепко привязан узами сочувствия к людям, страдающим от этой болезни и задающимся тем же вопросом, который не так давно мучил меня: «Я умираю?»

Я поговорил о своих чувствах и намерениях со Стивом Вулфом, и он сказал:

— Я думаю, рак был послан вам судьбой. Вопервых, потому, что вы были способны одолеть его, а во-вторых, потому, что ваш потенциал как человека гораздо выше вашего потенциала как велосипедиста.

В конце третьего цикла химиотерапии я позвонил Биллу Стэплтону и сказал ему: «Разузнай, что нужно предпринять, чтобы открыть благотворительный фонд». После этого Билл, Барт и еще один мой близкий друг, велосипедистлюбитель Джон Кориот, встретились со мной в одном из остинских ресторанов, чтобы обсудить этот вопрос. Мы еще не знали, что нужно сделать, чтобы открыть фонд, и где взять деньги, но к концу ланча нам пришла идея устроить благотворительную велогонку вокруг Остина. Мы назвали ее «Гонка за розами». Я спросил, у кого есть время, чтобы заняться воплощением этого проекта, и руку поднял Кориот. Он работал барменом в ночном клубе, где я в прошлом, бывало, прожигал свою жизнь, а иногда и подрабатывал барменом. Джон сказал, что его рабочий график позволяет ему посвятить данному проекту достаточно времени. Это было наилучшее решение: мы не хотели слишком увеличивать накладные расходы, нанимая

людей, чтобы все, что нам удастся собрать, отдать на благотворительные цели.

Но основная цель создания благотворительного фонда долгое время ускользала от меня. Я понимал, что мой случай исцеления был достаточно уникальным, поэтому люди непременно прислушаются ко мне, но не хотел превращать фонд в свою личную трибуну. Я не считал себя кем-то особенным и не знал точно, какой была моя личная заслуга в собственном исцелении. Так что с целью существования фонда я еще не вполне определился. Я лишь хотел сказать людям: «Боритесь изо всех сил, как боролся я».

Разговаривая с доктором Николсом о возможных формах помощи раковым пациентам с моей стороны, я понял, что нужен фонд, который финансировал бы научно-исследовательские программы. Я чувствовал себя в таком долгу перед доктором Эйнхорном и доктором Николсом за их эрудицию, что мне захотелось попытаться хоть както; отплатить им за всю ту энергию и заботу, которую они и их подчиненные вложили в мое излечение. Я представлял себе во главе фонда ученый совет, который будет рассматривать заявки на финансирование и выделять нужные средства на наиболее ценные и полезные, на их взгляд, программы.

Но фронтов войны с раком слишком много, чтобы я мог сосредоточиться на каком-то одном из них. У меня появилось множество новых друзей, прямо или косвенно вовлеченных в эту войну, — пациентов, врачей, сестер, членов их семей и ученых, — и некоторые из них мне стали далее ближе, чем многие друзья-велосипедисты. И фонд мог бы помочь мне сохранить узы дружбы с ними.

Я хотел, чтобы фонд занимался всеми теми вопросами, с которыми мне пришлось иметь дело за месяцы моей болезни: преодоление страха, важность альтернативных мнений, основательное знание природы болезни, роль пациентов в процессе лечения и, главное, понимание того, что рак отнюдь не равносилен смертному приговору. Он может стать путевкой во вторую жизнь, духовную и лучшую.

По окончании последнего сеанса химиотерапии я оставался в больнице еще пару дней, восстанавливая силы и проходя завершающие лечение процедуры. Одной из них стало удаление катетера из груди. Тот день, когда его удалили, стал знаменательным для меня — ведь я жил с этой штуковиной почти четыре месяца. Накануне я спросил у Николса:

— Эту штуку уже можно удалять?

— Конечно, — ответил он.

Я испытал чувство облегчения. Раз ее можно удалять, значит, она больше не понадобится. Больше никакой химии.

На следующий день ко мне в палату пришел студент — практикант — удалять из моей груди это уродливое орудие пыток. Но без осложнений не обошлось: катетер так долго оставался в моей груди, что врос в кожу. Студент ковырял его, но достать не мог. Пришлось звать на помощь более опытного врача, который буквально вырвал катетер из моей груди. Было очень больно. Мне даже показалось, что я услышал хруст. Затем оставшаяся дырка загноилась, поэтому пришлось промывать рану и снова зашивать ее. Боль была ужасная; это была, быть может, худшая из процедур, пережитых мною за четыре месяца. Тем не менее я потребовал отдать катетер, потому что хотел сохранить его на память, и сохранил — он до сих пор у меня.

Оставалось обсудить еще одну деталь: Николс сообщил мне последнюю информацию, касающуюся моего здоровья. Меня ждал некоторый период неопределенности. Довольно часто химиотерапия не уничтожает до конца все следы рака, и мне придется каждый месяц сдавать анализы крови и проходить обследование, чтобы удостовериться, что с болезнью покончено. Он предупредил, что уровень маркеров крови у меня был еще не вполне нормальный и что на рентгенограммах еще виднелись признаки рубцовой ткани от опухолей.

Видя мою озабоченность, Николс ободряюще сказал: «Такое часто бывает. Это мелкие аномалии, и мы уверены, что они тоже исчезнут». Если я действительно вылечился, проблемы с рубцовой тканью и маркерами должны со временем решиться сами собой. Но полной гарантии не было; все должен был показать первый год. Если болезнь вернется, то в течение этого времени.

Я хотел быть здоровым, здоровым сейчас. Я не хотел ждать год, чтобы выяснить это.

Я вернулся домой и постарался наладить нормальную жизнь. Поначалу мне это удавалось: я просто играл в мини — гольф и строил планы создания фонда. Мой организм постепенно очищался от остатков химических препаратов, и я с облегчением узнал, что никакие органы ими не повреждены. Но я продолжал ощущать себя пациентом, и те чувства, которые я хранил в себе последние месяцы, все чаще выходили на поверхность.

Однажды меня пригласили сыграть партию в мини — гольф Билл Стэплтон и наш общий друг Дру Данворт, который в свое время переболел лимфомой. Волосы у меня еще не отросли, так что не следовало долго оставаться на солнце, поэтому я надел одну из тех дурацких шапочек, которые натягиваются на уши, и зашел в магазин купить несколько мячиков для гольфа. За

прилавком работал молодой парень. Он посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал:

— Ты что, собираешься ходить в этой шапке?

— Да, — сухо ответил я.

— А тебе не кажется, что на улице достаточно тепло?

Я сорвал с себя шапку и нагнулся, чтобы он увидел мою лысую голову и шрамы на ней-

— Видишь эти чертовы шрамы? — рявкнул я.

Парень попятился.

— Потому я и ношу эту шапку. У меня рак.

Я натянул шапку на голову и вышел из магазина, дрожа от злости.

Я жил в постоянном напряжении, по-прежнему проводя много времени в кабинетах врачей. Каждую неделю доктор Юман брал у меня кровь на анализ и сообщал результаты в Индианаполис. Я находился под постоянным наблюдением. При такой болезни, как рак, постоянный мониторинг чрезвычайно важен, и ты жить не можешь без результатов анализа крови, компьютерной томографии и МРТ. Ты живешь знанием своего прогресса. В моем случае рак быстро пришел и быстро ушел — но так лее быстро мог вернуться.

Однажды — со времени окончания лечения прошло несколько недель — Латрис позвонила доктору Юману, чтобы узнать результаты тестов. Она записала их и передала доктору Николсу. Он посмотрел на цифры, потом улыбнулся и вернул листок с записями медсестре.

— Почему бы на этот раз вам не позвонить ему? — сказал он.

Латрис набрала мой домашний номер. Как я уже говорил, цифры анализов были очень важны для меня, и я всегда с волнением ждал любых результатов. Я снял трубку.

— Мы получили результаты анализа крови,-

сказала Латрис.

— И что? — нервно спросил я.

— Лэнс, они в норме, — сказала она.

Услышав это, я понял: я больше не болен. Конечно, болезнь могла вернуться; у меня впереди еще был целый год, поскольку, если болезни суждено вернуться, вероятнее всего, это случится в ближайшие двенадцать месяцев. Но по крайней мере, в данный момент, в это короткое и бесценное мгновение в моем организме не оставалось ни единого физического следа рака.

Я не знал, что сказать. Я боялся, что, если открою рот, из него вырвется лишь протяжный и нечленораздельный крик облегчения.

— Я так рада, что смогла сообщить вам столь

приятную новость, — сказала Латрис.
Я вздохнул.

Глава седьмая
КИК

Любовь и рак — странные спутники, но в моем случае они шли рука об руку. Моя болезнь едва ли была идеальной ситуацией для знакомства с будущей женой — но именно это и произошло. Зачем люди женятся? Для совместного будущего, разумеется. Но было ли у меня будущее, оставалось вопросом.

Я уже не был болен, но еще и не был здоров. Я находился в подвешенном состоянии, называемом ремиссией, и был одержим идеей, что болезнь может вернуться. Я просыпался по ночам с придуманными болями в груди и лежал в темноте, покрываясь потом и прислушиваясь к своему дыханию, уверенный, что вернулась опухоль. Наутро я отправлялся к врачу и просил, чтобы мне для спокойствия сделали рентген груди.

«Химиотерапия или помогает, или не помогает, — как-то сказал доктор Эйнхорн. — Если она пмогает, пациент живет нормальной жизнью, избавленной от рака. Если же она не помогает и рак возвращается, то обычно уже через три-пять месяцев наступает смерть». Вот как все просто.

Возвращение к нормальной жизни оказалось для меня делом непростым. Химиотерапия закончилась 13 декабря 1996 года, а месяцем позже на пресс — конференции, где было объявлено о создании моего фонда против рака и проведении «Гонки за розами», я познакомился с Кристин Ричард. Мы с ней перебросились всего парой фраз. Это была стройная блондинка, которую все называли Кик; она работала в рекламной фирме, взявшейся за продвижение нашего мероприятия. Я знаю, что должен был бы сказать, что безумно влюбился с первого взгляда, но на самом деле ничего такого не было. Я просто нашел ее умной и привлекательной. Позже она мне призналась, что и ее первое впечатление обо мне было столь же неконкретным. Я был просто «интересный лысый парень с широкой улыбкой». Более глубокие чувства между нами возникли только к весне, а к активным действиям мы перешли летом. Причин тому было несколько. Во-первых, каждый из нас в то время с кем-то встречался, а во-вторых, нашей первой продолжительной беседой была перебранка.

Все началось с телефонного разговора. Она представляла интересы компании, являвшейся важным титульным спонсором «Гонки за розами», и считала, что я недостаточно стараюсь, чтобы им понравиться. Накануне нашего разговора она раздраженно

отчитала одного из сотрудников нашего фон да.

«За кого эта цыпочка себя принимает?» — подумал я и позвонил ей. Как только она сняла трубку, я сказал:

— Это Лэнс Армстронг. Кто дал вам право разговаривать с моими сотрудниками в таком тоне? -

И продолжал в том же духе. На другом конце провода Кик закатывала глаза и думала: «Этот парень

ведет себя так, споено он тут самый главный».

Мы спорили минут десять.

— Послушайте, — сказала она наконец. — Я вижу, что этот разговор ни к чему не приведет.

— Согласен, совершенно бессмысленный разговор, — ответил я.

— Знаете что? Давайте поговорим об этом за кружкой пива, — предложила Кик.

Я растерялся:

— Гм, да? Ну хорошо, давайте попьем пивка.

Мы встретились в баре. Я пришел с друзьями.

Не думаю, что перед встречей кто-то из нас полагал, что нас так потянет друг к другу. Я все еще был бледен, слаб и изможден болезнью, но ее это, казалось, не заботило. Она оказалась куда более забавной и общительной, чем я ожидал, — и очень умной. Я пригласил ее принять участие в наших еженедельных заседаниях правления фонда, проходивших у меня дома, и она согласилась. Фонд казался мне отличным ответом на то состояние неопределенности, в котором я оказался: курс химиотерапии был завершен, рак, по крайней мере на время, побежден, но я еще не знал точно, что меня ждет, и еще предстояло решить, чем я буду заниматься дальше. Общественная деятельность в такой ситуации выглядела наилучшим решением. Я решил для себя, что в первую очередь являюсь человеком, пережившим рак, а спортсменом — лишь во вторую. Слишком многие спортсмены живут так, словно мировые проблемы их совершенно не касаются. Наше богатство, узость интересов и элитарность изолируют нас от общества. Но одна из форм служения спортсменов обществу, оправдывающая их существование, — менять представление о человеческих возможностях. Мы побуждаем людей пересмотреть очерченные ими границы возможного, помочь им понять, что кажущиеся непреодолимыми преграды — это на самом деле не более чем психологический шлагбаум. Преодоление болезни в этом смысле сродни высоким спортивным результатам: мы еще многого не знаем о человеческих способностях, и я чувствовал, что мой долг — сообщить это людям.

Одним из самых важных событий в моей жизни в тот период стало знакомство с Джеффом Гарви, остинским бизнесменом. Со временем он стал моим близким другом, а тогда я просто рассчитывал на его помощь в создании фонда. Нас представил друг другу наш общий знакомый, и Джефф пригласил меня на ланч. Я приехал к нему в шортах и майке. Ланч получился долгий; мы много говорили о велоспорте — Джефф горячо любил его, и каждый год на велосипеде совершал путешествие по Испании, следуя по знаменитому маршруту паломников «Камино де Сантьяго». У Джеффа от рака умерли отец и мать, и он искал возможность помочь людям в борьбе с этой болезнью. Несколько недель спустя я пригласил Джеффа на ланч и за едой спросил у него, не возьмется ли он за управление фондом. Он согласился и стал нашим генеральным директором.

Следующие два месяца мы с Кик энергично занимались делами фонда. Поначалу я видел в ней лишь симпатичную девчонку, которая за словом в карман не полезет. Постепенно, однако, я стал обращать внимание на ее длинные светлые волосы и на то, как стильно на ней смотрится самая, казалось бы, обычная одежда. А еще улыбка — как из рекламы зубной пасты «Colgate». Ее было трудно не заметить. Еще мне нравилось то, что у нее был колкий язык.

Кик тем временем тоже занялась изучением моей биографии — под тем предлогом, что это нужно ей для дела. Но никто из нас еще не был готов открыто поделиться своими чувствами.

Первую «Гонку за розами» мы провели в марте, и она имела большой успех. Мы собрали более 200 тысяч долларов, с концертом выступила группа «Wallflowers», со всех концов света съехались мои друзья и коллеги, включая Мигеля Индурайна, Эдди Меркса и Эрика Хайдена.

Одно из пожертвований я никогда не забуду. Я сидел за столом и раздавал автографы; очередь выстроилась на целый квартал, поэтому я подписывался так быстро, как только мог. Я подписывал то, что мне подавали, почти не глядя на людей, стоящих передо мной.

И тут передо мной легла раскрытая чековая книжка.

— Сколько ты хочешь? — спросил голос.

Не поднимая глаз, я произнес:

— Черт побери.

Меня разбирал смех. Я узнал голос. Это был давно забытый Джим Хойт, владелец велосипедного магазина из Плано, человек, который посадил меня на мой первый велосипед, а потом отнял у меня мою любимую машину. И вот он стоял прямо передо мной вместе со своей женой Рондой. После той размолвки,

случившейся десять лет назад, мы ни разу не виделись. Я пристально посмотрел Джиму в глаза.

— Простите меня, — сказал я. Мне казалось, что я должен был извиниться.

— Извинения приняты, — сказал Джим. — Так сколько мне выписать?

— Джим, вам не нужно этого делать.

— Нет, — настаивал он. — Я хочу помочь.

— Пожалуйста, не надо.

— Может, пять тысяч? Нормальная сумма?

Я рассмеялся, вспомнив, что именно пять тысяч я в свое время вложил в отнятый у меня «Camaro».

— Отлично, — сказал я.

Он выписал чек, и мы пожали друг другу руки.

С тех пор Джим приезжает на «Гонку за розами» каждый год. И каждый раз выписывает сумасшедшие суммы, абсолютно ничего не прося взамен.

Чуть позже ко мне подошла еще одна запоминающаяся фигура: маленькая девочка, почти такая же лысая, как и я. Наши глаза встретились, и в одно мгновение нас соединила незримая нить. Пока я ставил свой автограф, она перечисляла все мои спортивные достижения — она знала о моей карьере все. Ее звали Келли Дэвидсон, и она болела раком. Много дней после этого она не выходила у меня из головы. Потом я узнал, где она живет, и позвонил ей. Мы стали добрыми друзьями.

Я должен был бы понять, что у нас с Кик не обычные отношения, мы продолжали настойчиво искать встречи друг с другом после «Гонки». Мы обменивались электронными письмами, общались по телефону, находили поводы встретиться не только на заседаниях правления фонда. Она продолжала приходить на эти еженедельные собрания в моем доме, а однажды вечером, когда все уже разошлись, осталась. Мы сидели в гостиной, потягивая пиво и разговаривая. Помню, я подумал тогда: «Что же я делаю? Зачем я сижу с ней здесь наедине?» Она подумала то же самое. Наконец она встала и хотела вызвать такси, но я предложил отвезти ее домой.

Мы ехали по пустым темным улицам. Мы мало разговаривали, но между нами определенно возникли какие-то чувства. Между нами что-то происходило, но мы еще не были готовы к тому, чтобы сделать наши отношения более определенными. Поэтому мы просто ехали.

К весне 1997 года я еще не вполне созрел возвращения к полноценной жизни. Неопределенность со здоровьем сохранялась, постоянна терзая меня. «Что со мной будет? —

спрашивал я у доктора Николса. — Я буду жить или умру? Что?»

Мне очень хотелось вернуться к велогонкам, но и я еще не был уверен в своих силах. Я считал и пересчитывал свои финансовые активы и каждый очередной платеж за дом как от сердца отрывал, не зная, удастся ли мне получить от велоспорта еще хотя бы цент. Наконец я решил попробовать. Если бы я принял участие хотя бы в четырех гонках, это вынудило бы «Cofidis» продлить действие контракта на второй год и позволило бы несколько улучшить мое финансовое положение. Я сказал Биллу: «Давай найдем для меня пару подходящих гонок».

Через месяц после выписки из больницы я уже вылетел во Францию, чтобы принять участие в пресс-конференции команды «Cofidis». Руководители команды были потрясены моим появлением но я хотел, чтобы они поскорее узнали, что я уже не та бледная и прикованная к постели жертва рака, которую они видели в Индианаполисе. Я сказал им, что уже этой весной хотел бы попробовать вернуться в большой спорт, и даже провел пару дней на командных тренировках. Казалось, они остались довольны.

Я начал тренироваться уже всерьез, по четыре часа в день, накручивая по полторы сотни километров по своим старым излюбленным маршрутам, доезжая до Уимберли, Дриппинг-Спрингса, Нью-Суидена — городков, где, куда ни кинь взгляд, сплошные хлопковые поля, трактора и одинокие колокольни. Но мне не нравилось мое самочувствие. Иногда уже после часа езды на крейсерской скорости я совершенно выдыхался и после этого долго отсыпался. Я ездил в умеренном темпе, не позволяя пульсу превысить 130 ударов в минуту, тем не менее в один день я чувствовал себя полным сил, а в другой — разбитым корытом.

Мне стало казаться, что примерно так же я чувствовал себя перед постановкой диагноза. Когда я это понял, по телу пробежал холодок. А потом я простудился. Целую ночь я лежал без сна, парализованный страхом, уверенный в том, что это вернулся рак. Простудой я никогда не болел — я болел только раком. И в любом недомогании мне чудился рак.

Наутро я помчался к доктору Юману, не сомневаясь, что он объявит мне о возвращении болезни. Но это оказалось самой обычной инфекцией, которую мой изможденный организм не смог отразить. Иммунная система все еще была ослаблена; врачи называли это состояние «нейтрофилией»: уровень лейкоцитов в крови был низок, а это означало, что я был восприимчив к любой заразе, — попадающей в мой организм.

Рентгеновские снимки тоже были еще не совсем чистыми: в животе наблюдалось какое-то пятнышКо Врачи точно не могли

сказать, что это такое, и решили пока ограничиться наблюдением. Я был на грани нервного срыва.

Доктор Николс посоветовал мне как следует ОТдохнуть — дать своему организму годичный от пуск, — и я согласился. Возвращение в больше спорт придется отложить. Как объяснил мне Николс, процесс моего выздоровления еще не закончился, моя иммунная система еще не вполне восстановилась после химиотерапии, которая оказала на мое тело куда более сильное воздействие, чем полагал. «Усилием воли, — продолжал Николс, физическую форму не вернешь. Нужно просто подождать, когда болезнь выйдет из меня».

Мои друзья и коллеги переживали не меньше меня самого.

— Послушай, — сказал мне Оч. — Что бы ты не решил для себя, ставь врачей в известность о том что ты делаешь и сколько тренируешься. Посвящай

их во все детали, чтобы они могли посоветовать насколько интенсивно тебе можно работать.

Я вынужден был признать: состязаться на самом высоком уровне, возможно, мне уже никогда! не доведется. Мой организм попросту может не справиться с такими нагрузками.

Как- то позвонил Крис Кармайкл — хотел узнать, как у меня продвигаются дела.

— Крис, мне страшно, — сказал я ему. — Я боюсь тренироваться. Боюсь, что, если слишком сильно поднажму, все может вернуться.

Странно: болеть раком оказалось легче, чем выздоравливать. По крайней мере, пока я болел, я хоть что-то предпринимал, а не просто сложа руки ждал возможного возвращения болезни.

Временами я продолжал именовать себя велогонщиком, а временами — считал «пенсионером». Как-то мы играли с Биллом в гольф в местном клубе и он выполнил великолепный удар.

— Когда-нибудь и я так смогу, — с восхищением произнес я.

— Ну, до пенсии тебе еще далеко, а чтобы непрестанно так бить, нужно много тренироваться,-

сказал Билл.

— Билл, ты забываешь, что я уже на пенсии, — возразил я.

По этому поводу мы с Биллом спорили непрестанно. Я был непостоянен — то мечтал о своем громком возвращении в велоспорт, то окончательно хоронил свою спортивную карьеру.

На первой лунке я говорил: «Ну что ж, Билл, теперь мы с тобой просто друзья, потому что как агент ты мне больше не нужен. С велоспортом покончено». А уже через несколько минут, на следующей лунке, размахивая клюшкой, спрашивал: «У тебя есть план, с чего мы начнем, когда я вернусь в велоспорт?» На

третьей лунке мои слова опять менялись на противоположные.

— Надеюсь, ты возишься со мной не потому, что рассчитываешь со мной заработать? — говорил я

— Не рассчитывай, я уже не гонщик.

Билл привык к этим моим метаниям из стороны в сторону и старался обратить все в шутку или просто отмахивался от меня: «Ладно, хватит поговорим об этом завтра».

А потом произошло событие, усугубившее моя психологическое состояние: у помощницы Билла, нашей общей подруги Стейси Паундс, обнаружили рак легких. Стейси очень помогла мне во время МОей болезни и была нашим полноправным партнер ром в делах фонда. В свои пятьдесят пять эта уроженка Техаса отличалась красотой, изяществом манер и… хриплым голосом — она много курила. Даже если бы Стейси сказала вам, что вы просто ничтожество, чтобы вы больше не смели ей звонить и что от вас воняет, то, повесив трубку, все равно подумали бы: «Какая приятная леди».

Стейси, в отличие от меня, не повезло: ее рак оказался неизлечим. Мы все были потрясены, но могли лишь морально поддержать ее — остальное было не в наших силах. Мама как-то купила мне два серебряных распятия на цепочке. Одно я стал носить сам, а другое отдал Стейси. Она, как и я была совершенным агностиком, но я сказал: «Стейси, я хочу подарить вам этот крестик, а другой такой же буду носить сам. Они незримо свяжут нас друг с другом. Носите его в процессе лечения или когда; хотите. Я же свой буду носить всегда». И мы носили их не как религиозные символы, а как символы» универсальные, символы нашего родства в раке.

Состояние Стейси стремительно ухудшалось. Доктор Юман пытался лечить ее, но ничего не помогало. От химиотерапии самочувствие только ухудшалось, а толку не было никакого. В конце концов она отказалась от лечения и врачи сказали, что жить ей осталось лишь несколько недель.

У Стейси был сын Пол. он служил в военно-морском флоте, и мы хотели чтобы он приехал повидаться с матерью, но с корабля его не отпускали. Мы звонили конгрессменаМ; сенаторам — всем подряд, но все было без толку. Наконец я решил пойти обходным путем. Я знал четырехзвездочного генерала Чарлза Бойда, кот0рый долгое время служил в Германии, а потом ушел в отставку и поселился в Вашингтоне. Я позвонил ему и сказаЛ:- Генерал Бойд, окажите мне усЛугу.

Я объяснил ему положение Стейси и сказал:

— Эта женщина умираеТ а ее сын служит накорабле.

Генерал остановил меня

Лэнс, сказал он, Ничего больше объяснять не нужно. У меня самого жена два года назад умерла от рака. Я сделаю всв; что СМОгу.

На следующий день сын уже летел ДОМой. Вот что такое раковое сообщество

Но незадолго до приезда Пола, Стейси перебралась в хоспис. Мы с Биллом и мамой навестили ее там и обнаружили убогое переполненное заведение, где явно не хватала перСонала. Стейси пожаловалась:

— Меня мучают такие боли, а когда я звоню ночью, болеутоляющее принести некому.

Я был в ужасе.

— Стейси, давайте договоримся. Мы сейчас соберем ваши вещи и уедем отсюда. Вы вернетесь домой, и я найму вам сиделку.

Начальница хосписа начала возражать:

— Вы не можете забрать ее.

— Она уезжает, и точка, — заявил я. — Прямо сейчас.

Биллу же я сказал:

— Возвращайся к машине и открой дверцу.

Мы уехали. Последние недели своей жизни

Стейси провела дома. Приехал сын, и мы нашли медсестру из хосписа, согласившуюся ухаживать за Стейси. Стейси боролась изо всех сил и продержалась на три недели дольше, чем предсказывали врачи. Диагноз ей поставили в январе, вскоре после того, как я закончил лечение. В феврале она! оставила работу, а в марте была уже тяжело больна. А потом она умерла, разбив наши сердца.

Я был подавлен и продолжал тревожиться за свое собственное здоровье. Одновременно я испытывал далее какое-то чувство вины за то, что мне так повезло и я остался жив. После смерти Стейси велоспорт окончательно для меня отошел на второй план, тем более что возвращение к гонкам казалось мне уже нереальным. Стив Льюис как-то приехал в гости из; Плано и нашел, что я сильно изменился. Думаю, он не вполне представлял себе, как сказалась на мне болезнь, пока не разглядел меня, худого и бледного, с выступавшими скулами. Я показался ему сломленным духом. Потом я показал ему снимки моих легких и сказал: «Я действительно был уверен, что умираю».

Я все- таки пытался думать о чем-то другом, кроме своего состояния, но никак не мог понять, с чего мне начать. Участие в гонках и отношения с «Cofidis» стали для меня уже вопросами неактуальными. Я не знал, чего я хочу, не знал, что я могу, и не мог избавиться от мысли, что велоспорт мне больше не

интересен, — как вещь слишком тривиальная.

Стив, увидев фотографию моего победного финиша на этапе «Тур де Франс», спросил:

— Когда собираешься возвращаться?

— Я почти уверен, что с этим покончено, — ответил я. — Слишком тяжелая работа для моего организма. Ты шутишь? — изумленно произнес Стив.

— Я уже никогда не смогу участвовать в гонках, — повторил я.

Стив был ошеломлен. Он даже представить не мог, что я вообще способен сдаться.

— Думаю, для меня все потеряно, — сказал я.-

Я уже не тот.

Я рассказал ему о том, как боялся потерять свой дом и как мне приходилось на всем экономить. Я старался смотреть на вещи реально и пытался составить альтернативный план своего будущего, в котором места велоспорту не было. Стив знал меня как хвастливого задиру, а сейчас я ныл, как последний слабак. Того пыла, который он помнил во мне, уже не было.

В личной жизни я был столь же осторожен и осмотрителен. Нам с Лайзой надо было принимать какое-то решение насчет нашего совместного будущего, и я всерьез задумывался о браке. Она была со мной на протяжении всей моей битвы с раком, прошла рядом каждый ее шаг, а это что-то значило. Она подарила мне котенка, которого мы назвали Хими.

— Мне кажется, это та женщина, которая мне нужна, — сказал я Стиву. — Она прошла со мной все эти испытания, оставаясь рядом, несмотря ни на что.

Но когда Стив через пару месяцев приехал снова, мы с Лайзой уже расстались. Это говорило о том, что наши чувства друг к другу были нестабильными. На взаимоотношения между людьми рак может воздействовать двояко: он либо сближает их, либо разводит. В нашем случае, когда я начал понемногу поправляться, мы обнаружили, что у нас остается все меньше общих тем для разговора. Нам становилось скучно в обществе друг друга. Может быть, просто сказалась усталость; мы потратили на борьбу с болезнью столько сил и прошли через такие тяготы, что друг на друга душевной энергии уже не осталось. Как-то в марте она сказала мне:

— Давай больше встречаться с другими людьми.

— Давай, — согласился я.

Но получилось так, что мы стали все меньше встречаться друг с другом. Лайза, конечно, понимала, что я был болен, но ей труднее было понять, куда подевались мои эмоциональные силы.

Время от времени мы продолжали встречаться — такую долгую и тесную связь одним рывком не разорвешь. Но все кончается — кончились и наши отношения.

Я был в полном замешательстве, не зная, чем заняться. Однажды во время велосипедной прогулки с Биллом (в прежние времена я бы с таким дилетантом ездить не стал), неторопливо крутя педали по окрестным улицам, я сказал:

— Пойду в колледж и стану онкологом. А может, податься в школу бизнеса?

Билл только головой покачал. У него была степень магистра в области бизнеса и диплом юриста.

— Знаешь, я учился в колледже одиннадцать лет, — сказал Билл. — Я там потел, и теперь мне приходится потеть до конца моих дней. Не делай этого, дружище. Зачем тебе каждый день ходить на работу, просыпаясь в полпятого утра, если ты можешь жить по-другому?

— Ты не понимаешь, Билл, — возразил я. — Я же тебе говорю: я уже не велосипедист.

На какое- то время Кик перестала мне звонить. Я не мог поймать ее по телефону, как ни старался. Она сомневалась во мне, потому что знала мою репутацию сердцееда и не хотела стать моей очередной жертвой. Я не привык, чтобы мной пренебрегали, и это сводило меня с ума. Я оставлял на ее автоответчике одно сообщение за другим. «Вы собираетесь мне когда-нибудь позвонить?» — настойчиво спрашивал я.

Наконец Кик сдалась. Тогда я этого не знал, но в ее жизни тоже был некий переходный период. Она порвала с мужчиной, с которым встречалась, сменила место работы — и все это в течение нескольких недель. В конце концов на очередной мой звонок она ответила.

— Что новенького? — спросил я.

— Много чего. Я устроилась на новую работу и очень занята.

— А-а-а, — сказал я и глубоко вздохнул. — А я думал, ты скажешь мне, что одинока.

— Забавно, что ты упомянул об этом. Я действительно одинока. Мы расстались два дня назад.

— Правда? — Я старался, чтобы мой голос звучал небрежно. — Ты свободна?

— Да.

— И что ты делаешь сегодня вечером? — спросил я.

— Что угодно, если с тобой, — ответила она.

С тех пор мы вместе.

Я мгновенно понял, что встретил свою половину. Кик хорошо владела собой; она была напориста, самостоятельна, разумна,

рассудительна и неиспорченна. Хотя она росла в богатой семье — ее отец был директором очень крупной компании, — но привыкла сама о себе заботиться и не ждала, что что-то свалится ей с неба. «Кажется, это то, что мне нужно», — думал я про себя.

С ней я чувствовал себя в безопасности. Она полюбила меня лысым и больным, без бровей и без гарантий в отношении моего здоровья и будущего вообще. Кик стала моим парикмахером. Она стригла меня до тех пор, пока я не становился похож на астронавта 1960-х годов.

Я привык верховодить в своих взаимоотношениях с женщинами, но не с Кик. В каких-то случаях вел я, но большей частью я шел туда, куда хотела она. И так продолжается до сих пор. Тем летом Кик планировала отправиться в Европу. Она никогда не была за границей, а тут ее пригласила погостить подруга по колледжу, испанская студентка, учившаяся в Америке по обмену.

— Ты хочешь ехать в Испанию? — сказал я. — Испания — это жара и пыль.

— Заткнись, — сказала Кик. — Не разрушай мою мечту. Я лелеяла ее много лет.

Она собиралась уехать больше чем на месяц, и я счел это совершенно неприемлемым для себя. Оставалось только одно — ехать с ней. Я, кстати, и собирался появиться на «Тур де Франс» в знак уважения к спонсорам и чтобы показать, что я все еще потенциально жизнеспособный гонщик, поэтому решил совместить это с путешествием Кик. Мне было интересно увидеть «Тур» глазами зрителя, и я надеялся, что это оживит мою страсть к велоспорту. Я попросил разрешения поехать с ней, и она согласилась.

Это было как откровение. У меня создалось впечатление, что я никогда раньше не видел Европу: И это, наверное, было правдой. Я видел ее с велосипеда на скорости 60 километров в час, но я не видел ее как турист и не видел как влюбленный. Мы побывали всюду. Мне удалось продемонстрировать свое знание французского, итальянского и испанского.

У меня не было молодости. С пятнадцати лет я был вынужден зарабатывать на жизнь и был лишен возможности делать то, что делали люди моего возраста: развлекаться так, как развлекались Кик и ее друзья по колледжу. Эта стадия выпала из моей жизни, и теперь у меня появился шанс вернуться и пережить ее. Я все еще не знал, что будет с моим здоровьем, не знал, сколько мне осталось жить — день, два года, долгую жизнь. «Carpe diem, — сказал я себе, — лови момент». Все, что мне осталось, я должен прожить красиво. И именно для этого мы с Кик нашли друг друга.

Я никогда не жил полной жизнью. Я чего-то добивался, за что-то боролся, но никогда не испытывал от жизни особого наслаждения.

— Ты много пережил и много видел, — говорила Кик. — Ты можешь научить меня по-настоящему любить жизнь, потому что ты был на самом краю и уже видел ее обратную сторону. Ты можешь показать мне жизнь во всей ее красе.

Но получилось так, что это она мне показала жизнь. Она хотела успеть увидеть как можно больше, и я, призванный стать ее гидом, сам узнавал то, что должен был показать.

В Италии мы сидели за столиком уличного кафе и ели ветчину с тертым пармезаном. Кик пошутила:

— До встречи с тобой я видела тертый пармезан только в банках.

Мы побывали в Сан-Себастьяне, где во время моей первой профессиональной гонки шел такой сильный дождь и где я под хохот толпы финишировал последним. На этот раз, глядя на черепичные крыши этого города, раскинувшегося на берегу Бискайского залива, и окружавшие его степи, я решил, что, вопреки моему прежнему утверждению о жаре и пыли, ничего прекраснее старой Испании нет.

В Памплоне мы видели бой быков. Кик сказала:

— Давай не спать всю ночь.

Я спросил:

— Зачем?

— Для прикола. Тебе что, никогда не приходилось бодрствовать всю ночь и приходить домой на рассвете?

— Нет, — сказал я.

— Ты правду говоришь? Тебе никогда не приходилось не спать всю ночь? — переспросила она.-

Ты что, ненормальный!

Мы не спали всю ночь. Мы обошли все ночные заведения и танцевальные клубы Памплона и вернулись в отель, когда солнце уже поднялось и осветило серые улицы, мгновенно ставшие золотыми. Кик, казалось, считала меня чувственным и романтичным — хотя мало кто из моих друзей отозвался бы обо мне так. Разве что Крис Кармайкл, который всегда считал меня похожим на айсберг — «видна верхушка, но гораздо большее скрыто под водой». Кик в этом не сомневалась.

В Монако я сказал ей, что люблю ее.

Мы одевались к ужину в своем гостиничном номере, когда оба вдруг замолчали. До того момента нас влекло друг к другу неосознанно. Но теперь, глядя на нее, я вдруг отчетливо понял, что я чувствовал к ней. Только в отношениях с Кик для меня все

было ясно; во всем остальном я жил в состоянии полного замешательства; я не знал, умру я или буду жить, и не представлял, что мне делать со своей жизнью. Я не знал, вернусь ли когда-нибудь в большой спорт. Не знал, чего я хочу — то ли гонять на велосипеде, то ли поступить в колледж, то ли стать биржевым маклером. Но я знал одно: я любил Кик.

— Кажется, я люблю тебя, — сказал я.

Кик замерла перед зеркалом и спросила:

— Кажется или уверен? Мне нужно, чтобы ты знал точно. И чтобы я знала.

— Знаю.

— Я тоже знаю, — сказала она.

Если ты надеешься кого-то встретить и полюбить, это должно случиться именно так, как случилось с нами — как блаженство, как само совершенство. Наши отношения проявлялись не столько в словах, сколько во внимательных взглядах и сложных переплетениях чувств. Забавно, что мы никогда не обсуждали мою болезнь — впервые мы вспомнили о ней, лишь когда заговорили о наших будущих детях. Я сказал Кик, что очень хочу иметь детей, и поведал о своей поездке в Сан-Антонио.

Но наши отношения одновременно и пугали нас. Кик любила говорить: «Я никогда ничего не сделаю ради мужчины. Я не стану менять свою жизнь по его прихоти». Она была похожа на меня, такая же сдержанная в проявлении эмоций, независимая, не дающая себя в обиду, ничего ни от кого не ожидающая, слишком гордая для этого. Но эта наша самооборона таяла на глазах. Как-то ночью она сказала мне: «Если ты захочешь погубить меня, то легко сможешь это сделать. Потому что я полностью беззащитна перед тобой и уже не смогу тебя остановить. Так что будь осторожен в том, что делаешь».

Мы поехали на «Тур де Франс». Я пытался описать ей эту гонку, эту шахматную партию между велосипедистами с миллионами болельщиков, выстроившихся вдоль дорог. Но когда она увидела пелотон сама, эту палитру красок, движущуюся на фоне Пиренеев, ее восторгу не было предела.

У меня были там некоторые дела — нужно было повидать спонсоров, поговорить с репортерами. Но я был так увлечен Кик и так наслаждался своей второй жизнью., что мне стало уже совершенно безраз — лично, смогу ли я когда-нибудь вернуться в велоспорт.

«Я утратил свой былой боевой дух, — сказал я репортерам. — Я уже не спортсмен, а так, велосипедист-любитель, катающийся в свое удовольствие. Даже если я вернусь в велоспорт, то лишь как участник, а не конкурент. Участие же в «Туре» кажется мне

чрезвычайно маловероятным. Я уже не рассматриваю велоспорт как свою основную работу, — продолжал я. — Да, это была хорошая работа. Я занимался ею пять или шесть лет, объездил всю Европу. А теперь у меня есть возможность больше времени проводить в обществе друзей и родных и делать то, чего я был напрочь лишен в юности».

К концу лета я выглядел уже вполне здоровым человеком. Волосы отросли, и никаких признаков болезни не осталось. Но я продолжал тревожиться по поводу ее возможного возвращения и периодически бегал по врачам с воображаемыми болями в груди.

Мне снились кошмары. Безо всяких видимых причин меня бросало в пот. Достаточно было малейшего стресса или беспокойства, чтобы мое тело стало мокрым от пота.

Пока шло лечение, я активно боролся с болезнью, но как только терапия закончилась, я вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным. Я ничего не мог сделать, мне приходилось ждать, когда: на меня свалится очередная беда. Я бы, наверное, чувствовал себя намного лучше, если бы химиотерапия продолжалась еще год. Доктор Николс пытался успокоить меня: «Многие люди переживают больше проблем после лечения, чем во время него. Это нормально. Ведь всегда труднее пассивно ждать возвращения беды, чем активно атаковать».

Хуже всего были ежемесячные обследования. Мы с Кик прилетали в Индианаполис и снимали номер в гостинице рядом с медицинским центром. Утром я просыпался в 5 часов, чтобы выпить контрастное вещество для прохождения разных форм сканирования и рентгена. На вкус эта жидкость напоминала смесь мандаринового сока с жидким металлом. Это было так тоскливо: опять просыпаться в том же отеле и опять идти к врачу, от которого только и ждешь слов: «У вас рак».

Кик тоже просыпалась и сидела рядом со мной, пока я с несчастным видом давился коктейлем с контрастным веществом. Пока я глотал эту гадость, она поглаживала мне спину. Однажды из солидарности попросила даже попробовать. Сделала глоток и скривилась. Я всегда знал, какая она отважная.

Потом мы шли в больницу делать анализы крови и МРТ. Врачи прикрепляли рентгенограммы к экрану с подсветкой и включали свет, а я зажмуривался, боясь снова увидеть те страшные белые пятна. Кик рентгеновские снимки читать не умела и напряженно вглядывалась в них. Однажды она ткнула куда-то пальцем и нервно спросила:

— А это что?

— Это ребро, — сказал я.

Сидя рядышком, мы думали об одном и том же: «Наконец-то я нашел (нашла) любовь своей жизни, человека, который значит для меня больше всего на свете, и если что-то помешает нашему счастью, я этою не вынесу». Это вызывало нервную дрожь тогда, вызывает и сейчас — стоит только подумать об этом.

Но каждый раз рентгенограммы оказывались чистыми, кровь тоже соответствовала норме. С каждым месяцем вероятность рецидива болезни становилась все меньше.

Строго говоря, я уже не был выздоравливаю щим. Я по всем параметрам был здоровым. По мере приближения годичного «рубежа» Крис Кармайкл снова начал уговаривать меня вернуться в спорт. Сначала по телефону, а потом явился в Остин самолично. Он считал, что мне нужно возобновить серьезные тренировки, что в спорте у меня? остались незаконченные дела и что, он не побоится этого сказать, моя жизнь без велоспорта выглядит какой-то пустой.

Перед встречей со мной Крис долго разговаривал с Биллом Стэплтоном, которому, среди прочего, пожаловался: «Все советуют ему заниматься тем, что ему нравится, но почему-то никто не скажет про велоспорт». Он считал, что меня нужно подтолкнуть и что наши с ним отношения всегда строились на его умении сделать такой толчок, когда я в том нуждался.

Я прекрасно понимал, зачем приехал Крис, Я сказал Джону Кориоту: «Кармайкл, конечно, попытается уговорить меня вернуться в спорт, а я не знаю, хочу ли я этого». Мы с Крисом договорились пообедать в моем любимом мексиканском ресторане, и мой прогноз сбылся.

— Лэнс, — сказал Крис, — что это ты так увлекся гольфом? Твое призвание — велосипед, а не клюшка.

Я скептически покачал головой.

— Не уверен, — сказал я.

— Ты боишься?

Да, я боялся. Раньше на велосипеде я был силен, как бык, а что, если это уже не так? А что, если от гонок я опять заболею?

— Никакой врач не скажет тебе, что ты можешь снова состязаться, — продолжал Крис. — Но и обратного никто не говорит. Я думаю, что тебе нужно попробовать, дать себе шанс. Я знаю, что это большой риск, большое испытание, большая неизвестность, которая страшит тебя. Никаких гарантий нет. Но ты же вернулся к жизни — а теперь попробуй вернуться к большой жизни.

Пару дней я размышлял. Одно дело — вылечившись от рака, вернуться на работу в бухгалтерию. Но снова стать велогонщиком? Я не знал, что и думать. По сравнению с

химиотерапией самая крутая вершина Альп выглядела равниной.

Следовало принять во внимание еще один фактор: я был застрахован на случай утраты трудоспособности и пять лет мог получать деньги по этому полису. Но если я вернусь в спорт, страховка будет аннулирована. Возобновив участие в гонках, я рисковал сорваться в финансовую пропасть.

Крис уезжать не торопился. Он познакомился с Кик и снова принялся наседать на меня, уговаривая вернуться в велоспорт. Я объяснял ему, что пока еще не знаю, в чем мое жизненное призвание, но он отказывался меня слушать. В какой-то момент он повернулся к Кик и спросил:

— Как вы думаете, стоит ему вернуться в большой спорт?

— Мне все равно, — сказала она. — Я его люблю.

Крис посмотрел на меня и сказал: — Ладно, женись на ней.

Наконец я созрел: решил все-таки испытать себя. После нескольких пробных заездов я остался доволен собой. «Кажется, получается», — сказал я Биллу и Кик. Затем попросил Криса соя ставить для меня программу тренировок и начал заниматься уже по-настоящему. Но странное дело: мое тело отказывалось вернуться в прежнюю форму. Прежде я весил 80 килограммов. Теперь мой вес составлял 72 килограмма; у меня было поястребиному заостренное лицо, а на ногах виднелась каждая прожилка.

Билл позвонил в «Cofidis» и сказал, что я готов к работе: «Я хочу обсудить с вами программу гонок; он действительно готов вернуться». Представители команды предложили Биллу приехать во Францию и обсудить все на месте.

Наутро Билл прилетел в Париж, а потом ехал еще четыре часа в офис «Cofidis». Прибыл он прямо к ланчу. Среди прочих за столом сидели Ален Бондю и директор «Cofidis» Франсуа Мигрен.

Мигрен выступил с пятиминутной речью, приветствуя Билла на земле Франции, а потом сказал:

— Мы благодарны вам за ваш приезд, но хотим поставить вас в известность, что мы намерены воспользоваться своим правом на прекращение действия контракта. Мы хотим изменить направление.

Билл повернулся к Бондю и спросил:

— Он серьезно?

Потупив взгляд, тот произнес: — Да.

— И я летел сюда только затем, чтобы вы мне это сказали? — спросил Билл.

— Мы считали важным сообщить об этом лично, — сказал Бондю.

— Послушайте, — сказал Билл. — Платите ему самый

минимум, но дайте ему возможность поучаствовать в гонках. Он очень хочет вернуться. И это очень серьезно. Мы не просто думаем, что он способен соревноваться, мы знаем это.

В «Cofidis» не были столь уверены, что я снова смогу состязаться на прежнем уровне. Мало того, если я возобновлю участие в гонках, а потом вдруг заболею, это станет плохой рекламой для «Cofidis».

Вопрос не подлежал обсуждению. Билл был в отчаянии.

— Послушайте, он же был членом вашей команды; вы платили ему. Ну предложите нам хоть какой-то вариант.

В конце концов ему сказали, что подумают.

Билл встал из-за стола, не дождавшись окончания завтрака, сел в машину и покатил обратно. До самого Парижа он не мог заставить себя сообщить Мне эту новость. И только устроившись в маленьком кафе близ Эйфелевой башни, он вытащил из кармана сотовый телефон и набрал мой номер.

— Ну что? — спросил я.

— Они прекращают сотрудничество.

Я помолчал, а потом спросил:

— Зачем же они предложили тебе приехать?

Следующие пять дней я тешил себя надеждой что в «Cofidis» передумают. Наконец они позвонили и предложили мне 180 тысяч долларов плюс премиальные, которые я буду получать за бонусные очки Международной федерации велоспорта (ICU)J начисляемые по результатам гонок, если, конечно сумею их заработать.

Базовая зарплата, которую они предложили соответствовала установленному в лиге миниму, но на большее мы рассчитывать не могли.

У Билла был и запасной план. В первую неделю сентября в Анахайме проводилась ежегодная международная велосипедная выставка «Interbike Expo», и там собирались представители всех ведущих команд. Билл решил, что, если я покажусь там бодрым и здоровым и объявлю о своей готовности вернуться в велоспорт, кто-нибудь обязательно клюнет.

— Лэнс, нам нужно показаться прессе и дать всем понять, что ты серьезно намерен вернуться в спорт и готов рассмотреть любые предложения, — сказал он.

Четвертого сентября 1997 года мы с Биллом отправились на «Interbike Expo», чтобы объявить о моей готовности вернуться в большой спорт в сезоне 1998 года. Я созвал пресс-конференцию, на которую собралась толпа журналистов и экспертов, и сообщил, что намерен возобновить участие в гонках. Я объяснил свою ситуацию с «Cofidis» и дал, понять, что чувствую себя обманутым.

Из-за рака я пропустил целый сезон, и «Cofidis» продолжает сомневаться во мне даже сейчас, когда я вполне здоров и готов к соревнованиям. Теперь весь веломир знал, что я выставлен на аукцион. Я сидел и ждал, какие последуют предложения.

Предложений не было.

Я никому не был нужен. Один из известнейших французских менеджеров коротко переговорил с Биллом, но когда услышал, что я прошу за свои услуги 500 тысяч долларов, скривился. «Это зарплата чемпиона, — сказал он. — Вы слишком много хотите». Представитель еще одной команды, «Saeco-Cannondale», предложил Биллу встретиться на другой день, чтобы обсудить условия, но на встречу не пришел. Биллу пришлось разыскивать этого менеджера, и ему удалось найти его на другой деловой встрече.

— Что происходит? — спросил Билл.

Тот ответил:

— Мы не можем ничего предложить.

Ни одна европейская команда не хотела меня брать. Из каждых двадцати менеджеров, которым звонил Билл, перезванивали максимум трое.

Время шло, достойных предложений все не было, и я становился все злее. Свою злость я изливал преимущественно на Билла Стэплтона, и этот период стал тяжелым испытанием для нашей дружбы. Полтора года этот человек доставлял мне только плохие новости. Это на его долю выпало сообщить мне, что у меня нет страховки и что «Cofidis» обкорнала мой контракт. А теперь он мне сообщал, что я никому не нужен.

Я позвонил матери и рассказал об условиях «Cofidis», добавив, что никакая другая команда брать меня вообще не хочет. Ни одна. Я чувствовал, как она напряглась, но услышал в ее голосе былую твердость и мужество. «Знаешь что? — сказала она. — Они еще пожалеют об этом. Держись и докажи им, какую ужасную ошибку они совершили».

Я то и дело натыкался на людей, которые уже списали меня в архив или считали, что я уже далеко не тот, что был. Однажды мы с Кик пошли на вечеринку, устроенную для сотрудников компании, в которой она работала. Мы держались несколько в сторонке, и Кик то и дело покидала меня, чтобы пообщаться с коллегами. Один из них, ее начальник, спросил:

— Это твой новый приятель? — А потом грубо «прошелся» насчет моих яичек. — Ты уверена, что он достаточно хорош для тебя? — сказал он. — Это же вроде как только половина мужчины.

Кик застыла.

— Не смешно, и отвечать на такое я не собираюсь, — ледяным тоном промолвила она и, вернувшись ко мне, рассказала о случившемся. Я был вне себя. Сказать такое мог только или непроходимый идиот, или человек перепивший, но спускать ему я не собирался. Я пошел к бару под предлогом того, чтобы взять очередной коктейль, и, проходя мимо этого хама, сильно толкнул его плечом. Кристин сочла мой поступок неправильным, и теперь уже мы вступили в ссору. Я был слишком зол, чтобы адекватно реагировать на ситуацию. Проводив Кристин домой, я вернулся к себе, сел за компьютер и стал сочинять злое электронное послание этому грубияну, объясняя природу тестику-лярного рака и приводя некоторую статистику. Я написал и забраковал не одну дюжину вариантов. «Не могу поверить, — писал я, — что вы могли сказать такое, а тем более моей подруге. И если вы думаете, что сказали что-то смешное, у вас явно проблемы с головой. Такими вещами не шутят — это же вопрос жизни и смерти. А сколько у меня «яиц» — одно, два или пятьдесят, — здесь ни при чем». Но это занятие так расстроило меня, что я среди ночи отправился к Кик, и у нас состоялся продолжительный разговор. Больше всего ее беспокоило, что после случившегося ее уволят, и мы говорили, среди прочего, о том, что важнее — принципы или работа.

Билл продолжал поиски команды, которая согласилась бы меня взять. Он чувствовал себя так, словно представлял интересы какого-то второсортного пловца, с которым никто не хотел иметь дела. Он так всем надоел, что от него бежали как от чумы. Билл, однако, держался, хотя ему приходилось выслушивать самые презрительные замечания на мой счет. «Перестаньте, — сказал ему один. — Этот парень уже никогда ничего не покажет. То, что он сможет вернуть свою прежнюю скоРость, можно считать только глупой шуткой».

Наконец Билл нашел то, что показалось ему хорошей возможностью — недавно созданную американскую команду «U. S. Postal Service». Главным спонсором команды тоже был американец, финансист из Сан-Франциско Томас Вайзель, мой старый друг и бывший владелец команды «Subaru- Montgomery». Единственной проблемой были деньги. Команда «Postal» тоже могла предложить мне лишь очень небольшую базовую зарплату. Билл вылетел в Сан-Франциско и вступил в переговоры с генеральным менеджером команды Марком Горски. Переговоры были очень трудными. За несколько напряженных дней ни к какому результату прийти не удалось.

Я уже был готов опустить руки. Предложение от «Cofidis» оставалось в силе, но я был так зол на них, что предпочел бы

вообще уйти из спорта, чем работать на них. Выплаты по нетрудоспособности составляли 20 тысяч долларов в месяц в течение пяти лет, а это давало в сумме 1,5 миллиона — и никаких налогов. Если же я попытаюсь вернуться в спорт, как проинформировала Билла лондонская фирма «Lloyds», полис будет аннулирован. И я решил, что если уж идти на такой риск и возвращаться к гонкам, к этому должно лежать сердце. А в противном случае нет никакого смысла суетиться и отказываться от страховых сумм.

Прежде чем Билл покинул Сан-Франциско, мы решили, что ему следует напоследок заехать в офис Тома Вайзеля, чтобы попрощаться и поговорить с ним с глазу на глаз — а вдруг что-нибудь получится. Шикарный офис Тома располагался в величественном небоскребе «Transamerica», и Билл входил туда не без трепета.

В кабинете Тома Билл застал и Марка Горски. Они сели, и Том спросил напрямик:

— Сколько он хочет?

— Он хочет базовую зарплату в 215 тысяч долларов, — сказал Билл, — Плюс система материального поощрения.

Международная федерация велоспорта вознаграждает гонщиков бонусными очками на основе результатов, показанных ими в основных гонках, так что, достаточно регулярно занимая высокие места, я мог бы за счет бонусов получать премии, сравнимые с величиной зарплаты. Билл сказал, что я хочу получать 500 долларов за каждое бонусное очко, пока сумма очков не достигнет 150, и 1000 долларов за каждое очко, набранное сверх этой цифры.

— А как насчет лимита на число оплачиваемых очков? — спросил Том.

В каком- то смысле этот вопрос можно было считать комплиментом, потому что он выдавал беспокойство руководителей команды, что я могу стоить им больших денег, если буду выступать достаточно хорошо.

— Никакого лимита, — ответил Билл.

Том уставился на Билла долгим немигающим взглядом опытного переговорщика. Мы уже несколько недель вели безрезультатные переговоры с разными командами, и Том Вайзель был столь жетверд и непреклонен, как и остальные. Но он знал меня и верил в меня. Когда он открыл рот, чтобы сказать свое последнее слово, Билл напрягся.

— Я согласен, — сказал Том. — Будем считать, что договорились.

Билл чуть не застонал от облегчения. У нас получилось — я

снова буду гонщиком! Я подписал соглашение, и мы созвали большую пресс-конференцию, на которой я был представлен как новый член команды «U. S. Postal». На пресс-конференции я сказал: «Я, конечно, потерял форму, но, думаю, не навсегда». В ноябре и декабре я усиленно тренировался на территории Штатов, а в январе перебрался за океан, чтобы впервые за долгие 18 месяцев выступить на соревнованиях. Я вернулся к своей прежней походной жизни, намереваясь вновь объехать весь европейский континент.

Но теперь было одно осложнение — Кик. Я съездил в Плано, чтобы повидаться с матерью. В субботу утром за чашкой кофе я сказал: «Давай сегодня посмотрим бриллианты». Мама просияла. Она поняла, что я имел в виду, и мы це-лый день посвятили посещению лучших ювелирных магазинов Далласа.

Затем я вернулся в Остин, и мы с Кик устроили ужин на двоих. Мы сидели на краешке дамбы за моим домом, любуясь закатом над озером. Наконец я сказал:

— Я должен ехать в Европу, а без тебя ехать нехочу. Я хочу, чтобы ты поехала со мной.

Солнце скрылось за горизонтом, и сгустились сумерки. Было тихо и темно, если не считать света из окон моего дома.

Я встал.

— Сегодня необычный день. Я хочу тебе кое-что показать.

Я сунул руку в карман и достал оттуда маленькую бархатную коробочку.

— Подойди ко мне, — сказал я.

Я открыл коробочку, и бриллиант засверкал.

— Выходи за меня замуж, — сказал я.

Кик не возражала.

Мы никогда не говорили о моем здоровье. Она ездила со мной на все ежемесячные обследования, рассматривала со мной все рентгеновские снимки, но у нас не было необходимости обсуждать общую картину. Однако когда мы объявили о помолвке, кто-то из друзей ее матери сказал: «Как ты позволяешь ей выходить за больного раком?» Это заставило нас задуматься. Кик сказала мне: «Знаешь, я предпочитаю прожить год в счастье, чем семьдесят в серости. В любом случае жизнь — величина неизвестная. Что будет дальше, ты не знаешь. Никто не знает».

Мы с Кик собрали кое-какие вещички и поехали через полстраны в Санта-Барбару, где был назначен двухмесячный тренировочный сбор команды. Там мы сняли небольшой домик на побережье и решили там же и пожениться. Свадебное путешествие мы запланировали на май. Прежде, однако, нам предстояло отправиться в Европу, где начинался очередной сезон

велогонок.

Я стал постоянным посетителем тренажерных залов, чтобы восстановить силу мышц, и поступательно увеличивал интенсивность велосипедных тренировок. Все поражались тому, какие хорошие результаты я показывал на пробных заездах в Санта-Барбаре. Как-то я ехал вместе с Фрэнки Эндрю, и он сказал: «Вот это да, ты же побьешь любого — и это после рака».

Теперь я был здоровым человеком уже вполне; официально. Второго октября я отпраздновал годовщину постановки ракового диагноза, и это означало, что из состояния ремиссии я перешел в разряд полностью излечившихся. По мнению врачей, вероятность того, что болезнь вернется, отныне была совершенно минимальной. Примерно тогда же я получил от доктора Крейга письмо. «Пора продолжать жить дальше», — писал он.

Но как жить дальше? Здесь совета вам не даст никто. Что это значит? Как только лечение заканчивается, врачи говорят: «Вы вылечились, так что езжайте домой и живите себе. Счастливого пути». Но нет никакой системы поддержки, которая помогла бы вам справиться с эмоциональными трудностями, связанными с возвращением к нормальной жизни, когда бороться за само свое существование больше не нужно.

Невозможно просто проснуться утром и сказать: «Ладно, рак я победил, и теперь пора вернуться к нормальной жизни». Это доказала мне Стейси Паундс. Физически я восстановился, но душа еще только начала выздоравливать. Я вошел в особую стадию жизни, которую можно было бы назвать «возвращением с того света».

Как пойдет моя дальнейшая жизнь? Что дальше? И как быть с периодически повторявшимися ночными кошмарами, снами из прошлого?

Глава восьмая
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ТОГО СВЕТА

Во время болезни я говорил себе, что никогда не, буду больше сквернословить, пить пиво, выходить из себя. Я собирался стать самым лучшим, самым правильным человеком, какой только бывает. Но жизнь продолжается. Ситуация меняется, намерения забываются. Я опять пью пиво. Опять сквернословлю.

Как вернуться в «обычный» мир? Эту проблему мне пришлось решать после выздоровления, и известные слова, что каждый день нужно проживать так, словно он последний, не очень-то мне помогали. Это все красиво звучит, но на практике все не так просто. Если бы я жил только настоящим, то стал бы очень милым бездельником — пропойцей с вечной трехдневной щетиной на подбородке. Поверьте мне, это я уже пробовал.

Люди считают мое возвращение к жизни триумфом, но на самом деле поначалу оно было полной катастрофой. Когда ты целый год живешь по; страхом смерти, тебе кажется, что ты заслужил, чтобы остаток жизни превратился в нескончаемый праздник. Это, конечно, невозможно; нужно возвращаться к семье, друзьям, работе. Но какая-то часть моего «я» не хотела возвращаться к старому. В январе мы уехали в Европу с командой «U. S. Postal». Кик бросила работу, отдала в хорошие руки свою собаку, сдала внаем своей дом и упаковала все свои вещи. Мы сняли квартиру в Кап-Ферра, на полпути между Ниццей и Монако, и я оставил там Кик одну, пока колесил по дорогам вместе с командой. На соревнованиях женам и подругам находиться нельзя. Это работа, как и любая другая, — на завод ведь с женой не ходят.

Кристин было одиноко в чужой стране, без друзей и родных, без знания языка. Но она не унывала: записалась на курсы французского, обустраивала квартиру и вообще относилась ко всему так, словно это было большим приключением, не подавая и признака страха. Она ни разу не пожаловалась. Я гордился ею.

Мое собственное настроение было похуже. На трассах у меня получалось не так, как хотелось бы: мне приходилось заново приспосабливаться к трудностям европейских гонок. Я уже забыл, что это такое. Последний раз я был в Европе, когда у Кик был отпуск — тогда мы были настоящими туристами и жили в лучших отелях. Теперь же приходилось вновь привыкать к ужасной пище, скрипучим кроватям в грязных придорожных пансионах и бесконечным переездам. Мне это не нравилось.

В глубине души я не был к этому готов. Если бы я лучше понимал себя в то время, то вынужден был бы признать, что моя попытка вернуться в большой спорт вызывала серьезные психологические проблемы. Если день складывался неудачно, я говорил: «Что ж, просто я слишком много перенес: три операции, три месяца химии и год ада, — вот в чем причина. Я не способен соревноваться на прежнем уровне. Организм уже не тот». Хотя на самом деле я должен был бы сказать: «Да просто день неудачный».

На меня давил тяжелый груз внутренних сомнений и обид. Моя зарплата составляла лишь малую толику того, что я зарабатывал в прежние дни, а новые спонсоры не объявлялись. Я саркастически называл это «80-процентным налогом на рак». Я надеялся, что в ту самую минуту, когда я вернусь в велоспорт и громогласно объявлю об этом, вся корпоративная Америка поспешит оказать мне спонсорскую поддержку, а когда этого не произошло, стал винить во всем Билла. В конце концов мы сильно поругались по телефону — я был в Европе, а он в Техасе. Я опять стал жаловаться на отсутствие каких-либо подвижек на спонсорском фронте.

— Послушай, что я тебе скажу, — сказал Билл.-

Я найду тебе другого агента. Меня это все уже до

стало. Я знаю: ты думаешь, что мне это нужно, но это не так. Я ухожу.

Я помолчал и пошел на попятный:

— Это совсем не то, чего я хочу.

Я перестал давить на Билла, но меня продолжал тяготить тот факт, что я никому не нужен.

Моей первой за 18 месяцев профессиональной гонкой стала «Рута дель Соль» — пятидневный велопробег по Испании. Я финишировал четырнадцатым и вызвал большой переполох, но меня самого этот результат нисколько не обрадовал — скорее наоборот. Я привык лидировать. Кроме того, на меня давило всеобщее внимание, прикованное к этой первой после болезни гонке. В результате я слишком переживал за результат и отвлекался на отчеты в прессе. На самом деле я предпочел бы проехать трассу никем не замеченный, борясь со своими собственными сомнениями. Я просто хотел ехать вместе со всеми в пелотоне и дать своим ногам возможность вспомнить былое.

Две недели спустя я принял участие в гонке «Париж-Ницца», одной из самых тяжелых многодневок, уступающей разве что «Тур де Франс». Восемь дней пути запомнились прежде всего сырой и ветреной погодой. Начиналась гонка с пролога — заезда с раздельным стартом на время. Это своеобразная система

распределения мест на старте; результаты пролога предопределяют, кто возглавит пелотон. Я финишировал девятнадцатым — объективно это было неплохо для человека, недавно пережившего рак, но я так не считал. Я привык побеждать.

Наутро моросил серый дождь, дул сильный ветер, температура была чуть выше нуля. Открыв глаза, я понял, что не хочу ехать в такую погоду. Позавтракав без всякого аппетита, я пошел на собрание команды, где обсуждалась стратегия борьбы на первом этапе. Было решено, что если лидер команды Джордж Хинкэйпи по какой-то причине отстанет, вся команда должна ждать его и помочь ему выйти вперед.

В зоне старта я сел в машину, чтобы не замерзнуть, думая только о том, как мне не хочется здесь находиться. Когда начинаешь так думать, ничего хорошего ждать не приходится. Как только я вышел из машины, настроение испортилось окончательной С мрачным видом я натянул гетры, чтобы не мерзли ноги, ежась и стараясь, чтобы хоть маленький'; кусочек моей кожи оставался сухим.

Дали старт, и мы отправились в долгий и скучный поход. Дождь и холодный встречный ветер заставляли думать, что реальная температура еще даже ниже объявленных 2 градусов тепла. Ничто! так не деморализует, как долгий и однообразный; путь под дождем по совершенно ровной дороге. На подъемах, по крайней мере, хоть немного согревайешься, потому что приходится работать интенсивнее, но на ровной дороге промерзаешь и промокав ешь до самых костей. Не помогает никакая обувь, никакая куртка. В прошлом я добивался успеха во многом благодаря тому, что был способен выдержать такие погодные условия, которые оказывались не под силу всем остальным. Но не в тот день.

Хинкэйпи проколол колесо. Мы все остановились. Пелотон, увеличив темп, удалился. К тому времени, когда мы вернулись на трассу, отставание от лидеров составляло 20 минут, и на пронизывающем ветру нам потребовался час неимоверных усилий, чтобы компенсировать потерянное время. Мы мчались под дождем, пригнув головы. Ветер продувал одежду и мешал удерживать равновесие на тряской дороге. Внезапно я переместил руки на середину руля, выпрямился в седле и съехал на обочину. Я остановился. Я сдался. Я сошел. Срывая с себя номер, я думал: «Неужели на это я хотел потратить свою жизнь — мерзнуть, мокнуть, валяться в канаве?»

Фрэнки Эндрю ехал сразу за мной, и он помнит, как я выглядел, когда вдруг выпрямился и съехал с дороги. По моему

виду он сразу понял, что я, наверное, не скоро — если вообще когда-нибудь — в следующий раз выйду на дистанцию. Впо — следствии он мне признался, что первой его мыслью было: «Лэнс кончился».

Когда остальные члены команды после окончания этапа собрались в гостинице, я уже паковал вещи. «Я уезжаю, — сказал я Фрэнки. — Я больше не гонщик — возвращаюсь домой». Меня не волновало, как отнесутся к моему поступку товарищи по команде. Я попрощался, повесил сумку на плечо и ушел.

Мое решение бросить спорт никак не было связано с моими физическими кондициями. Физически я был силен. Просто я не хотел там оставаться. Я не знал, хочу ли до конца своих дней терпеть холод и боль, крутя педали.

Когда я позвонил Кик по сотовому телефону, она после занятий французским покупала продукты.

— Я сегодня приеду, — сказал я ей.

Связь была неважная, и она меня плохо слышала, поэтому все время повторяла:

— Что? Что случилось?

— Потом расскажу, — сказал я.

— Ты ранен?

Она думала, что я разбился.

— Нет, я не ранен. Увидимся вечером.

Через пару часов Кик встретила меня в аэропорту. В тягостном молчании мы сели в машину и поехали домой. Наконец я заговорил:

— Знаешь, мне просто не нравится этим заниматься.

— Почему?

— Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я не хочу потратить все эти годы на велогонки, — сказал я. — Я ненавижу все это. Ненавижу плохую погоду. Ненавижу быть вдали от тебя. Ненавижу здешний образ жизни. Я не хочу оставаться в Европе. В «Рута дель Соль» я доказал самому себе что еще что-то могу, продемонстрировал, что способен вернуться и преуспеть. И больше мне не нужно ничего доказывать ни себе, ни раковому сообществу.

Я ждал, что она скажет: «А как же мои занятия, моя работа? Зачем ты заставил меня приехать сюда?» Но она этого не сказала. Сказала она другое:

— Ну что ж, будь по-твоему.

В самолете, на котором я возвращался из Парижа в Кап-Ферра, в одном из журналов я увидел рекламу фирмы «Harley-Davidson», хорошо резюмировавшую мои чувства. Там говорилось: «Если бы мне довелось прожить свою жизнь заново, я бы…» — и

перечислялись разные вещи типа «чаще любовался закатом». Я вырвал этот листок из журнала и показал его Кик, объясняя свои чувства:

— Вот что мне не нравится в велоспорте. Не такой должна быть жизнь.

На следующий день Кик отправилась на курсы французского, а мне делать было нечего. Я целый день просидел в квартире, отказываясь даже смотреть на велосипед. В школе, где занималась Кик, было строгое правило: по телефону не разговаривать. Я звонил ей трижды.

— Я не могу сидеть целый день дома и ничего не делать, — сказал я, когда она наконец ответила. — Я звонил в турагентство. Все, мы уезжаем.

— У меня урок, — коротко промолвила Кик.

— Я еду за тобой. Эти занятия — пустая трата времени.

Кик вышла из класса и, сев во дворе на скамейку, заплакала. Она несколько недель боролась, чтобы преодолеть языковой барьер. Она обустроила наш новый дом, научилась разбираться в местных обычаях и валюте, освоила местные правила дорожного движения. И оказалось, что все усилия были напрасны.

Когда я приехал за ней, она все еще плакала. Я встревожился.

— Почему ты плачешь?

— Потому, что мы уезжаем, — ответила она.

— Что ты имеешь в виду? У тебя же здесь нет друзей, языка ты не знаешь, работы нет. Почему ты хочешь здесь остаться?

— Потому, что я уже на это настроилась и хотела бы закончить начатое. Но если ты считаешь, что нам надо ехать домой, — поедем.

Весь вечер мы собирали вещи, и Кик занималась этим с такой же энергией, как еще совсем недавно распаковывала их. За 24 часа мы успели сделать столько, что большинству людей на это потребовалось бы недели две. Мы позвонили Кевину Ливингстону и отдали ему все барахло: полотенца, столовое серебро, лампы, цветочные горшки, кастрюли, тарелки, пылесос. Я сказал Кевину: «Мы сюда больше не вернемся, и этот хлам мне не нужен». Кевин не пытался меня отговаривать — он понимал мое состояние и знал, что это бесполезно. Поэтому он в основном помалкивал. По его лицу я видел, что он не считает мое поведение правильным, но ни слова неодобрения от него не услышал. Он всегда с беспокойством относился к моему возвращению в спорт. «Следи за своим организмом, — говорил он. — Не перетрудись». Он пережил вместе со мной всю мою болезнь, и единственное, что его действительно волновало, это мое здоровье. Когда я нагрузил его всеми этими коробками, он так расстроился, что, казалось,

вот-вот заплачет. «Забирай это, — говорил я ему, подавая очередную коробку с кухонной утварью. — Забирай все».

Это был кошмар, и единственным приятным воспоминанием о том времени была Кик, ее внешняя безмятежность, резко контрастирующая с моей растерянностью. Я был бы не вправе обижаться на нее, если бы она сорвалась; из-за меня ей пришлось бросить работу, переехать во Францию, пожертвовать всем — а я почти в одночасье передумал и решил вернуться в Остин. Но она оставалась со мной. Кик меня понимала, поддерживала и была исполнена безграничного терпения.

Пока я возвращался в Штаты, никто не мог понять, куда я делся. Кармайкл был дома, когда в 8 часов утра у него зазвонил телефон. Это был французский репортер.

— Где Лэнс Армстронг? — спросил он.

— Он участвует в гонке «Париж-Ницца», — ответил Крис.

Тогда репортер на ломаном английском произнес:

— Нет, он стоп.

Крис повесил трубку. Через минуту телефон зазвонил снова — меня искал уже другой французский журналист.

Крис позвонил Биллу Стэплтону, и Билл сказал, что ничего не знает, что я не объявлялся. Оч тоже ничего не знал. Крис пытался звонить мне и на сотовый, и на квартиру. Никакого ответа. Он оставил сообщения, а я не перезвонил — это совершенно необычно.

Наконец я позвонил Крису из аэропорта.

— Я вылетаю домой, — сказал я. — Меня все это больше не интересует. Мне надоели вонючие гостиницы, погода, паршивая еда. Какой мне от этого прок?

Крис сказал:

— Лэнс, делай, что хочешь. Но не спеши. — Он говорил спокойно, пытаясь потянуть время. — Не разговаривай с прессой, не делай никаких заявлений, не говори никому, что уходишь, — предостерег он меня.

После Криса я позвонил Стэплтону:

— Все кончено, дружище. Я доказал, что мог бы вернуться, и с меня хватит.

Билл отреагировал хладнокровно:

— Ну что ж…

Он уже успел переговорить с Крисом и все знал.

И, как и Крис, он попытался меня придержать, сказав, что мне следует подождать с какими-либо заявлениями.

— Пусть пройдет хотя бы неделька. Торопиться в этой ситуации было бы безумием.

— Нет, ты не понимаешь. Я хочу сделать это прямо сейчас.

— Лэнс, — пытался урезонить меня Билл. — Я понимаю, что ты уходишь из спорта. Прекрасно, но нам нужно обсудить кое-какие детали. Подожди хотя бы пару дней.

После этого я позвонил Очу, и между нами состоялся вполне типичный для нас разговор.

— Я сошел с «Париж-Ницца», — сказал я.

— Невелика беда.

— Я пас. Я больше не гонщик.

— Не надо принимать сегодня никаких решений.

Мы с Кик вернулись в Остин. Меня пошатывало после долгого перелета, но я был вынужден отвечать на бесконечные телефонные звонки: все искали меня, недоумевая, почему я исчез. Наконец телефон стих, и, проспав целый день — сказывалась разница в часовых поясах, — мы с Кик отправились в офис Билла.

— Я приехал, как ты просил, но говорить о том, буду ли я еще соревноваться, не собираюсь, — сказал я Биллу. — Это обсуждению не подлежит. С меня хватит, и мне все равно, что ты думаешь по этому поводу.

Билл посмотрел на Кик, но она только пожала плечами. Они оба понимали, что я находился в таком состоянии, что спорить было бесполезно. Кик к этому времени была тенью самой себя — усталая, разочарованная, но, когда она ответила на взгляд Билла, между ними что-то произошло, какой-то безмолвный разговор. Взгляд Кик сказал Биллу: «Проявите терпение, он не в себе».

Прежде чем Билл открыл рот, прошло не меньше 20 секунд. Наконец он сказал:

— Хорошо, тогда нам нужно все основательно подготовить и правильно оформить. Давай этим и займемся.

— Просто распространи пресс-релиз, — сказал я.

— В чем проблема?

— Это плохая идея.

— Почему?

— Это ты знаешь про эти «Рута дель…» и «Па-

Риж…» что там дальше? — сказал Билл. — Но в Америке о них никто слыхом не слыхивал. Никто даже не подозревает о твоем коротком возвращении в велоспорт. Поэтому тебе все-таки следует соззвать пресс-конференцию и объявить о своем ухо де. Я понимаю, что ты считаешь свое возвращение в спорт большим подвигом, и в этом я с тобой согласен. То, что ты сделал, воистину поразительно; Уже одно то, что ты победил рак, можно назвать] великим возвращением. Но дело в том, что никто другой этого не знает.

— Я пришел четырнадцатым в «Рута дель Соль», — возразил я, защищаясь.

— Лэнс, ты станешь для всех человеком, который победил рак, но в спорт не вернулся. Вот что будет.

Наступила очередная долгая пауза. Я видел, как была озадачена Кик.

— Да, ты прав, так нельзя, — сказал я наконец.

Стэплтон ухватился за меня всерьез, перечислив тысячу дел, которые мне нужно было сделать, прежде чем я смогу формально уйти в отставку.

— Я понимаю, что ты уходишь, — сказал он. — Вопрос в том, как ты уйдешь.

Он спросил, готов ли я созвать «живую» прессконференцию, посоветовал встретиться и поговорить со спонсорами. А потом он сказал:

— А может, устроим хотя бы одну прощальную гонку?

Я не мог достойно уйти из спорта, не выступив напоследок в США.

— Почему бы тебе не выступить на национальном чемпионате в июне и не сделать это своей последней гонкой? — сказал Билл. — Ты можешь там выиграть, я знаю. Вот это и станет твоим возвращением; это будет то, о чем люди узнают и что запомнят.

— Ну… не знаю, — нерешительно произнес я. — Что-то мне не хочется снова садиться на велосипед.

Билл терпеливо манипулировал мною, стараясь не дать мне объявить о своем уходе. Он придумывал все новые причины, почему мне следует с этим подождать. Билл сказал, что в любом случае я не могу уйти раньше «Гонки за розами», а она состоится в мае.

В конце концов Билл меня уломал. Я сказал, что пока воздержусь от заявлений, но, как бы там ни было, устрою себе несколько дней выходных.

Команда «Postal» проявляла терпение. Том Вайзель дал указание ждать. Но несколько дней превратились в неделю, неделя превратилась в месяц. За это время я даже не распаковал свой велосипед. Он лежал разобранный в гараже и пылился.

Я вел себя как последний бездельник. Каждый день играл в гольф, катался на водных лыжах, пил пиво или просто лежал на диване и смотрел телевизор.

Я стал завсегдатаем мексиканского ресторана «Chuy's», нарушая все правила спортивной диеты. Я и раньше, когда прилетал домой из Европы, ехал туда прямо из аэропорта и заказывал буррито под томатным соусом и пару «Маргарит» или пива «Shiner Bock». Теперь же я ел там практически все.

Я больше не намерен был ни в чем себе отказывать; мне дан

второй шанс — и я был намерен использовать его на всю катушку.

Но это не приносило мне радости. Легче на сердце не становилось, я не чувствовал себя свободнее и счастливее. Я пытался воссоздать то на» строение, которое было у нас с Кик во время совместного путешествия по Европе, но на этот раз! все было иначе, и я не понимал почему. Правда! заключалась в том, что мне было стыдно. Меня терзали сомнения и чувство вины по поводу содеянного мною во время гонки «Париж-Ницца».; «оСынок, никогда не сдавайся». А я сдался.

Я вел себя так, как было совершенно несвойственно моему характеру, и причина тому — мое возвращение с того света. Это была классическая ситуация. Что дальше? У меня была работа, была своя жизнь, а потом я заболел, и это перевернуло все с ног на голову. Теперь же, пытаясь вернуться к жизни, я был совершенно дезориентирован — и не мог с этим справиться, не мог все поставить на свои места.

Я ненавидел велоспорт, но при этом думал «Ачто еще я могу делать? Быть мальчиком на побегушках в какой-нибудь конторе?» Я не знал, что мне делать, и просто хотелось спрятаться, убежать от проблем — чем я и занимался. Я избегал всякой ответственности.

Я знаю, что пережить рак — это не только восстановить здоровье тела. В выздоровлении нуждалась и моя душа.

Никто этого не понимал по-настоящему — кроме Кик. Она держала себя в руках, хотя имела все основания злиться. Пока я играл в гольф, она осталась без дома, без работы, без собаки, читая объявления в рубрике «Требуются» и беспокоясь о том, как нам удастся сводить концы с концами. Моя мать очень сочувствовала ей. Она звонила нам, просила передать трубку Кик и спрашивала у нее: «Как твои дела?»

После нескольких недель моего гольфа, пьянства и мексиканской кухни Кик решила, что так больше продолжаться не может — кто-то должен попытаться повлиять на меня. Однажды утром мы сидели в патио и пили кофе. Закончив, я отставил чашку и сказал:

— Ладно, пока, у меня гольф.

— Лэнс, — промолвила Кик, — а что у меня сегодня?

— То есть?

— Ты не спрашиваешь меня, чем я собираюсь заниматься сегодня. Ты не спрашиваешь, чем хотела бы заниматься и не возражаю ли я против

твоего гольфа. Ты просто говоришь, что ты намерен делатъ. А тебя интересует, чем я занимаюсь?

— О прости, — пробормотал я.

— Так чем мне сегодня заняться? — настаивала она. — Скажи.

Я молчал. Я не знал, что сказать.

— Тебе нужно принять какое-то решение, — сказала Кик. — Тебе нужно определиться, уходишь ли ты из спорта окончательно и превращаешься в бездельника, который только и знает, что играет гольф, пьет пиво и не вылазит из мексиканского ресторана. Если так, то пожалуйста. Я люблю тебя и выйду за тебя при любом раскладе. Но мне нужно это знать, чтобы и я могла решить, отправляться ли мне на поиски работы, чтобы ты и дальше мс спокойно играть в гольф. Просто скажи. Но если ты не собираешься уходить из спорта, — продолжала она, — тогда тебе нужно отказаться от того образа жизни, который ты ведешь сейчас, потому что то, что сейчас происходит, — это решение ничего решать. И это на тебя не похоже. Это не ты. Я не могу понять, кто передо мной. Я все равно тебЯ люблю, но ты должен найти какой-то выход.

Говоря все это, Кик вовсе не сердилась. И она была совершенно права: я действительно не знал чего пытался добиться, и я действительно был бездельником. Внезапно я взглянул на себя ее глазами и увидел молодого пенсионера, и мне это не понравилось. Она не хотела продолжать жить этой праздной жизнью, и я не мог винить ее в этом.

Она спокойным тоном продолжала:

— Подумай и скажи, остаемся ли мы в Остине. Если да, я пойду искать работу, потому что не собираюсь сидеть дома, пока ты играешь в гольф. Мне скучно.

Ни от кого другого я подобных упреков слушать бы не стал. Но Кик говорила все это ласково, безо всякого надрыва. Она знал, насколько упрям я бываю, когда кто-то пытается уломать меня, — это мой сохранившийся с давних времен рефлекс противодействия всякому внешнему давлению. Я не дюблю, когда меня загоняют в угол, и, если такое случается, отбиваюсь изо всех сил — физически, логически и эмоционально. Но Кик говорила со мной так, что я не ощущал ни агрессии, ни попыток манипулировать мною, не чувствовал обиды; я просто знал, что все, что я слышу, — чистая правда. Это была, при всем ее сарказме, очень душевная беседа. Я встал из-за стола и сказал:

— Хорошо, я подумаю.

Я все равно пошел играть в гольф, поскольку знал, что Кик против этого ничего не имела. Вопрос был не в гольфе. Вопрос был в том, как мне вновь найти себя.

Кик, Стэплтон, Кармайкл и Оч вступили в заговор против меня, постоянно шушукаясь о том, как бы усадить меня на

велосипед. Я продолжал твердить, что из спорта ушел окончательно, но с течением времени моя решимость становилась все слабее. БИЛЛ убедил меня выступить в последний Раз, только в одной гонке — на чемпионате США среди профессионалов, который должен был пройти в мае в Филадельфии.

Крис Кармайкл прилетел в Остин. Заглянув в Мой гараж и увидев, что велосипед так и лежит упакованный в сумке, он лишь покачал головой. Как и Кик, он считал, что мне нужно было принять сознательное решение насчет моих взаимоотношений с велоспортом. «Ты вернулся к жизни, и пора начинать жить по-настоящему», — повторял Крис. Но он понимал, что я не был готов к очередному полноценному возвращению в спорт, поэтому формальным поводом его приезда в Остин была раss работка плана тренировок к чемпионату США. Кроме того, предстояла вторая «Гонка за розами» и участие в ней должно было стать свидетельство» моей хотя бы минимальной готовности к чемпионату. «Ты не можешь выступать в таком виде, сказал Крис, указывая на мое терявшее форму тело. — Ты же не хочешь скомпрометировать свои фонд».

Крис настаивал, что, какое бы окончательное решение насчет своей отставки я ни принял, мнt необходимо пройти восьми-десятидневный тренировочный сбор, чтобы восстановить физическую форму, и что Остин для этого не годится.

— Давай уедем отсюда; здесь слишком много соблазнов — гольф и прочее.

Мы стали думать, куда поехать. В Аризону? Слишком жарко. В Колорадо? Слишком высоко. Тогда я сказал:

— Помните Бун? Тот маленький городок хиппи в Северной Каролине?

Бун располагался в Аппалачских горах на трассе «Тур Дюпон», и у меня сохранились самые нежные воспоминания об этих местах. Там я дважды выиграл «Тур Дюпон», и крутые склоны располагавшейся там горы Бич, на которых я немало намучился, были критически важным горным этапом гонки. Ездить там тяжело, но места очень красивые. Сам Бун населен преимущественно студентами и преподавателями близлежащего Аппалачского университета. При университете, что особенно удобно, находился тренировочный центр и легко можно было снять хижину в лесу.

Через интернет я заказал там домик, затем пригласил в качестве партнера для тренировок своего старого друга Боба Ролла. Ему было 38 лет; раньше он был шоссейным гонщиком, потом переключился на горный велосипед, так что уговорить его составить мне компанию на 10 дней было нетрудно.

Самолетом мы добрались до Шарлотта, а потом три часа ехали на машине по горам. Нашей первой остановкой стал спортивный центр Аппалачского университета, где Крис договорился о том, чтобы меня протестировали на велотренажере и мы могли знать возможные недостатки в моей спортивной форме. У меня проверили VO2max и порог лактата. Цифры подтвердили то, что и так было ясно: я слишком разжирел и находился в паршивой физической форме. Обычно по этим физиологическим показателям я был лучшим из лучших. VO2maxy меня всегда был 85, а теперь он уменьшился до 64.

Тренерам из спортивного центра, которые нам помога м, Крис сказал: «Вот увидите: когда мы приедем сюда в следующий раз, VO2max достигнет 74 — а вернемся мы всего через неделю».

Крис знал, как быстро мой организм реагирует на нагрузки, и был уверен, что я смог бы достичь пика всего за несколько дней. Но чтобы «подогреть», он предложил поспорить, что за неделю я не смогу существенно увеличить мощность педалирования. Я «Ставлю сто баксов, что ты не сумеешь подняться выше 500», — сказал он. Я принял вызов.

Отныне я только ел, спал и ездил на велосипеде. В горах только-только начиналась весна, сопровождаясь постоянными туманами и моросью. Мы: каждый день тренировались под дождем. Холод обч жигал легкие, и с каждым выдохом изо рта вырывались клубы белого тумана, но я не жаловался. Мне казалось, что таким образом мой организм, очищается. Мы ездили по извилистым горным дорогам, далеко не все из которых имели твердое покрытие и были нанесены на карты, — по гравийкам, по грунтовым проселкам, по тропам, выстланным густым ковром сосновых игл, над которыми свисали тяжелые сучья.

На ужин Крис готовил макароны или печеную картошку, и мы, голодные как волки, сидели за столом и вели непечатные разговоры. Со смехом вспоминали старые истории времен начала моей профессиональной карьеры и нашей дружбы.

Каждый вечер я звонил домой, и по моему голосу Кристин слышала, что я становлюсь прежним — веселым, забавным, позабывшим про всякую депрессию. Говоря о холоде и дожде, о том, в какую глушь нас занесло, я только смеялся. «Я очень хорошо себя чувствую», — говорил я и сам тому удивлялся.

Мне снова стали нравиться тренировки, когда ни о чем другом не можешь думать, когда целый день работаешь изо всех сил и вечером возвращаешься в хижину, почти не чувствуя ног. Даже ужасная погода мне чем-то нравилась. У меня было такое ощущение, словно я заново вернулся на трассу «Париж-Ницца» и

заново все переживаю. Только в Париже холод и сырость сломили меня, а здесь я находил удовольствие в их преодолении — совсем как в прежние дни.

К концу тренировочного сбора мы решили съездить на гору Бич. Крис хорошо все продумал, когда сделал такое предложение, потому что хотел напомнить мне то время, когда я был истинным хозяином этой горы. Это тяжелый подъем длиной в 1500 метров к покрытой снежной шапкой вершине, и внушительная победа именно на этом этапе в свое время обеспечила мне успех в двух гонках «Тур Дюпон». Я хорошо помнил, как на пределе сил преодолевал этот подъем, а толпы зрителей, выстроившихся вдоль трассы, криками поддерживали меня и даже вывели краской на дороге: «Армстронг, вперед!»

В этот холодный, дождливый, туманный день нам предстояло проехать петлю в 160 километров, в конце которой нас ждал этот самый финишный подъем. Крис следовал за нами в машине, так что на вершине горы мы планировали погрузить велосипеды на крышу и вернуться к ужину уже в качестве пассажиров.

Мы ехали и ехали под непрерывным дождем — Четыре часа, пять… К тому времени, когда мы достигли подножия горы Бич, я был в седле уже шесть часов, промокший насквозь. Но на подъеме я встал на педали и устремился вверх, оставив Боба Ролла позади. И вдруг моим глазам открылось нечто невероятное: на асфальте по-прежнему красовалось мое имя.

Колеса велосипеда пересекли уже выцветшие желтые и белые буквы, складывавшиеся в «Да здравствует Лэнс!».

Я продолжал подъем, который становился все: круче. Мои ноги, как молоты, долбили педали, я, обливался потом и наполнялся радостью. Мое тело инстинктивно реагировало на требования момента. Я бессознательно все выше поднимался в седле, чтобы удержать темп. Внезапно сзади оказался ехавший на машине Крис; он опустил стекло и стал подбадривать меня: «Вперед, вперед, вперед!» Я оглянулся на него. «Алле, Лэнс, алле, ал-ле!» — вопил он. Я, чувствуя, как ускоряется мое дыхание, еще поднажал и увеличил скорость.

Этот подъем что-то изменил во мне. Поднимаясь в гору, я заново прокрутил в голове всю свою, прежнюю жизнь, детство, первые гонки, болезнь и то, как она все перевернула. Этот трудный подъем заставил меня наконец попытаться ответить на все те вопросы, которых я избегал многие недели. «Пора заканчивать с этим, — понял я. — Двигайся, — сказал я себе. — Если ты можешь двигаться, значит, ты не болен».

Я снова опустил взгляд на дорогу, на брызги, разлетавшиеся из-под колес, и снова увидел на асфальте свое имя, полустертое и

размытое дождями: «Армстронг, вперед!».

Продолжая двигаться к вершине, я увидел свою жизнь во всей ее полноте, как одно целое. Я понял, в чем заключается мое призвание. Смысл моей жизни был прост: я был рожден преодолеть длинный и тяжелый подъем.

Я стремительно приближался к вершине. Ехавший за мной Крис уже по моей осанке в седле понял, какая перемена произошла в моей душе. Он почувствовал, какой тяжкий груз свалился с моих плеч.

Наконец я достиг вершины подъема. И остановился. Крис тоже съехал на обочину и вышел из машины. Мы и словом не обмолвились о том, что произошло в эти секунды. Он только посмотрел на меня и сказал:

— Я поставлю велосипед на крышу.

— Нет, — ответил я. — Дай мне дождевик. Я поеду своим ходом.

Я вернулся. Я снова был гонщиком. Крис улыбнулся и сел за руль.

Остаток пути я ехал, испытывая истинное благоговение перед красотой, покоем, душевностью этих гор. Бун стал казаться мне святой землей, местом паломничества. Я знаю, что, если у меня когда-нибудь еще возникнут серьезные проблемы, я приеду в Бун и найду здесь ответ. Именно здесь я вернулся к настоящей жизни.

Через день или два мы отправились в университетский спортивный центр, чтобы проверить мои показатели. Я педалировал с такой силой, что велоэргометр зашкалило. Цифры мелькали с такой скоростью, что Крис не успевал их прочитывать. С улыбкой он шмякнул в мою ладонь 100 долларов. За ужином я небрежно сказал Крису:

— Может, мне съездить на соревнования в Атланту?

— Давай, — согласился Крис.

Тем же вечером мы стали составлять план моего возвращения. Крис сделал массу звонков, пытаясь найти для меня новые гоночные колеса. Потом он позвонил Биллу Стэплтону и сказал:

— Готово. Он стал другим человеком. Таким, каким мы его знали.

Я не то чтобы вернулся в спорт и сразу стал выигрывать все гонки подряд. Были взлеты и падения, хорошие результаты перемежались плохими. Но я больше не давал неудачам сбить меня с толку.

После Буна я наслаждался каждым своим днем, проведенным на велосипеде. Каждым. Даже если я был в неважной форме, страдал, падал, я уже больше никогда не допускал и мысли о том,

чтобы снова все бросить и уйти.

Я даже на собственную свадьбу приехал на велосипеде. В Бун я ездил в апреле 1998 года, а уже в мае мы с Кик поженились — в Санта-Барбаре. Мы пригласили на свадьбу около сотни человек и во время скромной католической церемонии (Кик — католичка) поклялись вечно любить друг друга. После этого были танцы — до утра и до упаду. Той ночью никто не сидел, всем было так весело, что нам с Кик хотелось, чтобы этот праздник никогда не кончался. Потом мы в свадебных нарядах сидели с гостями в баре, пили коктейли и курили сигары.

В доме на берегу мы оставались несколько дней, но наш медовый месяц нельзя было назвать идеальным — после Буна я весь горел желанием тренироваться. Я выезжал на тренировки каждый день. К началу «Гонки за розами», проводившейся во второй раз и уже получившей большую известность, мы вернулись в Остин. Город был частично перекрыт для автомобилистов. На улицах были раз — вешаны праздничные гирлянды. Гонку я выиграл с приличным отрывом. Когда я взошел на подиум, Кик кричала и прыгала от радости. Она была так взволнована, словно я выиграл «Тур де Франс». Тогда до меня дошло, что ей еще не приходилось видеть моих побед. «Это мелочь», — сказал я ей, пожав плечами. Но в глубине души я, конечно, был очень рад.

Приятно было вновь ощутить дух соревнований. В следующий раз мне удалось ощутить его в июне, на чемпионате США среди профессионалов, где и было официально объявлено о моем возвращении. Финишировал я четвертым, а выиграл гонку мой друг и товарищ по команде Джордж Хинкэйпи.

Однажды утром я сказал Кик: «Пожалуй, пора возвращаться в Европу». Она только радостно кивнула и начала собираться. Я мог сказать ей: «Едем в Европу», а по приезде в Европу сказать: «Возвращаемся в Остин», а в Остине заявить: «Знаешь что, я ошибся, мы снова едем Европу», — и она стерпела бы все это без единой жалобы. Ей не были страшны никакие переезды.

Кик даже нравились эти испытания — новое место жительства, новый язык, — поэтому, когда я говорил: «Давай попробуем еще раз», она относилась к этому легко. Некоторые жены так жить не смогли бы, но потому-то я и не женился на них. Моя жена — молодец.

Мы с Кик сняли скромную квартиру в Ницце, и она снова занялась изучением французского. А я уехал на соревнования. Сначала я принял участие в «Туре Люксембурга» — и выиграл его. После первого этапа я позвонил домой, и Кик удивилась отсутствию воодушевления в моем голосе, но я слишком

остерегался психологических ловушек, связанных с возвращением в большой спорт, и старался сдерживать свои эмоции и надежды. Это была всего лишь второстепенная четырехдневная гонка — успех в ней никакой крупный гонщик не стал бы считать своей большой победой. Но с точки зрения психологической эта победа была очень важна для меня, поскольку означала, что я снова способен выигрывать, и, кроме того, принесла мне несколько бонусных очков ICU. Она изгнала из меня последние остатки сомнений.

После этого я финишировал четвертым в недельном «Туре Голландии». Начавшийся в июле «Тур де Франс» я пропустил, потому что еще не был готов к этой изматывающей многодневке длительностью в три недели. Я наблюдал за этой гонкой, оказавшейся в том году самой драматической и неоднозначной за всю ее историю, со стороны. В ходе нескольких рейдов на технические машины команд французская полиция обнаружила огромные запасы эпогена и анаболических стероидов. Некоторые члены команд и официальные лица были брошены за решетку, под подозрением же оказались все. Велосипедисты были возмущены столь бесцеремонным поведением французских властей. Начала гонку двадцать одна команда, а до финиша добрались лишь четырнадцать. Одна команда была снята с соревнований, а шесть других сошли в знак протеста.

Допинг — печальный факт велосипедного мира, как и любого другого вида спорта, где все решает выносливость спортсменов. Некоторые команды и гонщики видели в допинге своего рода гонку ядерных вооружений — ты вынужден применять эти препараты, если не хочешь отстать от других. Лично я так никогда не считал, а уж после химиотерапии идея их использования стала мне и вовсе отвратительна. В общем и целом «Тур-1998» вызвал у меня смешанные чувства: я сочувствовал гонщикам, попавшим под раздачу, — некоторые из них были мне хорошо знакомы, — и в то же время полагал, что в будущем эти события помогут «Туру» стать более честным состязанием.

На протяжении всего лета я продолжал устойчиво улучшать свои результаты, в августе мы с Кик уже настолько уверовали в мое успешное будущее, что решили купить дом в Ницце. Пока Кик на своем еще неуверенном французском решала вопросы с банкирами и покупала мебель, готовясь к переезду в новый дом, я отправился со своей командой на трехнедельную «Вуэльту» («Тур Испании»), одну из самых тяжелых гонок из всех существующих. Вообще в велоспорте есть три великих «тура» — итальянский, испанский и французский.

Первого октября 1998 года, почти через два года после того,

как у меня обнаружили рак, я закончил «Вуэльту», финишировав четвертым, что было не менее весомым достижением, чем победа в любой другой выигранной мною гонке. Я проехал за 23 дня 3778 километров и отстал от призового места всего на шесть секунд. Победитель, испанец Абрахам Олано, выиграл у меня каких-то 2 минуты 18 секунд. Мало того, я почти выиграл труднейший горный этап при сильнейшем ветре и почти нулевой температуре. Гонка была настолько тяжелой, что половина участников сошла, не добравшись до финиша. Я не сошел.

Четвертое место в «Вуэльте» означало больше чем просто возвращение в спорт. В своей прежней жизни я считался специалистом по однодневным гонкам, но в гонке продолжительностью три недели соперничать не мог. «Вуэльта» показала, что я не просто вернулся, но и я стал лучше. Теперь я был способен выиграть абсолютно любую гонку на свете. Бонусы ICU сыпались на меня со всех сторон, и внезапно оказалось, что я заключил с «U. S. Postal» лучшую в своей жизни сделку.

Пока я состязался на этапах «Вуэльты», Кик проходила испытание на выносливость, называемое переездом. Наша квартира находилась на третьем этаже, и ей приходилось раз за разом вызывать лифт, загружать его вещами — коробками с одеждой, велосипедными запчастями, кухонной утварью, — а затем съезжать со всеми этими вещами вниз, выносить их из лифта в парадное, из парадного на крыльцо, а оттуда в машину. Потом она ехала к новому дому, выгружала вещи из машины, переносила их по крутой лестнице (дом стоял на склоне холма) к крыльцу, а затем в дом. После этого она возвращалась на квартиру, и вся процедура повторялась снова и снова. Кик трудилась без передышки два дня, пока от усталости у нее не потемнело в глазах.

Когда я приехал в наш новый дом, все вещи были уже разложены, а в холодильнике полно еды. Кик вручила мне новую связку ключей. Переезд в новый дом наполнил меня счастьем. Это казалось мне кульминацией успешного года. Нам все удалось: мы прочно обосновались в Европе, моя карьера явно шла в гору, Кик уже сносно говорила по-французски, у нас были общий дом и общая жизнь, и это значило для нас все. «О Боже, — сказала Кик. — У нас получилось. Мы смогли начать все сначала».

Чтобы отпраздновать окончание сезона, мы несколько дней провели на озере Комо, которое стало одним из моих самых любимых мест. Мы остановились там в прекрасном отеле, выбрав номер с гигантскои террасой и умопомрачительным видом на окрестности. Мы только спали, гуляли и посещали роскошные рестораны.

После отдыха в Альпах мы вернулись в Остин. Незадолго до нашего возвращения в Америку я получил электронное письмо от менеджера команды «U. S. Postal» Иохана Брюнеля. Он поздравлял меня с успехом в «Вуэльте». «Полагаю, четвертое место — лучший результат, чем молено было рассчитывать».,- писал он. И за этим следовала интересная и загадочная фраза: «Вы будете отлично смотреться на подиуме «Тур де Франс» в будущем году».

Так заканчивалось послание. Я сохранил это письмо в памяти компьютера, распечатал его и снова стал вчитываться в слова. «Тур»? Иохан не просто верил, что я мог снова стать хорошим гонщиком, он считал, что я был способен на равных соперничать в «Тур де Франс». Он полагал, что я был способен победить.

Над этим стоило задуматься.

В течение нескольких последующих дней я читал и перечитывал это письмо. Теперь, после года мучительных сомнений, я точно знал, чего хотел в жизни. Я хотел выиграть «Тур де Франс».

Пережив тяжелую болезнь, после всех пролитых слез, после того, как отчаяние осталось позади, после того, как ты примирился с фактом болезни, а потом отпраздновал выздоровление и возвращение к таким старым привычкам, как бриться по утрам, ходить на работу, любить жену и воспитывать детей, начинаешь понимать, что эти, казалось бы, мелочи и являются той нитью, которая связывает твои дни воедино и дает им право именоваться жизнью.

Город Бун я полюбил, среди прочего, благодаря тому виду, который мне однажды там открылся. Когда во время тренировки я ехал по дороге, она вдруг резко повернула, деревья словно расступились, и моим глазам открылся потрясающий ландшафт: тридцать горных кряжей, тянувшихся до самого горизонта. Точно так же мне начинала открываться и моя жизнь.

Я хотел иметь ребенка. Когда я был болен, отцовство оставалось для меня чем-то далеким, даже недостижимым. Теперь, увидев эти горные цепи, я понял, что это вполне реально, и мне больше не хотелось откладывать. К счастью, Кик была к этому готова так же, как и я. Несмотря на пережитые ранее потрясения, мы прекрасно понимали друг друга и жили в гармонии и любви, той любви, которая побуждает людей тянуться друг к другу и дать жизнь новому человеческому существу.

По иронии судьбы процесс этот оказался не менее сложен, чем лечение рака: потребовалось множество исследований, опять шприцы, лекарства — и две хирургические операции. Я был стерилен. Чтобы забеременеть, Кик нужно было пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО),

используя сперму, которую я сдал на хранение в Сан-Антонио.

На следующих страницах я постараюсь максимально правдиво и откровенно рассказать об этом опыте. Многие супружеские пары предпочитают не распространяться насчет ЭКО, и это их право. Мы же решили ничего не скрывать, хотя понимаем, что, возможно, нас кто-то будет критиковать за такую откровенность в деталях. Тем не менее мы решили поделиться этим своим опытом, поскольку знаем, что многие пары страдают от бесплодия и боятся остаться бездетными. Мы хотим, чтобы они, познакомившись с подробностями ЭКО, знали, что это такое.

Мы запланировали зачать ребенка сразу после Нового года, и я занялся изучением вопроса оплодотворения в пробирке так же интенсивно, как ранее вникал в вопросы лечения рака, рыская в интернете и консультируясь с врачами. Мы даже запланировали съездить в Нью-Йорк, чтобы побеседовать со специалистами по ЭКО в Корнеллском университете. Но по мере приближения намеченной даты отъезда мы все больше сомневались, стоит ли туда ехать. За год мы так устали от всех переездов, что сама идея жить еще несколько недель в гостинице вызывала такую же реакцию отторжения, как и цикл химиотерапии. Поэтому мы нашли нужного специалиста дома, в Остине, — им оказался доктор Томас Вон.

Двадцать восьмого декабря состоялась наша первая консультация с доктором Боном. Сидя на диване у него в приемной, мы оба нервничали, и я по привычке принял, как называла это Кик, «больничный вид»: плотно сжатые губы, настороженный взгляд. Кик старалась больше улыбаться, чтобы хоть немного компенсировать мой мрачный вид и не дать доктору Бону повода усомниться в нашей готовности стать счастливыми родителями.

В процессе обсуждения самой процедуры ЭКО я заметил, что Кик слегка покраснела. Она не привыкла к откровенности медицинского языка, зато меня после перенесенного рака яичка публичное обсуждение сексуальных вопросов уже нисколько не смущало. Мы покинули клинику, имея приблизительный план действий и несколько удивляясь тому, как быстро все должно было произойти: если план сработает, то Кик могла забеременеть уже к февралю. Расчет времени был очень важен, потому что, если я хотел выиграть «Тур де Франс», нам надо было согласовать время рождения ребенка с моим графиком соревнований.

Два дня спустя Кик отправилась на рентген. Медсестры пристегнули ее к скользящему столу и с помощью какого-то пыточного инструмента ввели контрастную жидкость. Рентгеноскопия должна была показать, выяснить, нет ли у Кик

закупорки маточных труб или каких-то иных проблем. Процедуру пришлось повторить дважды, пока не получилось как надо, и Кик все это довело до слез. Правда, надо признать, что у нее вообще глаза на мокром месте.

Следующий вечер — канун Нового года — стал последним, когда Кик позволила себе выпить. С Нового года она твердо решила воздерживаться от алкоголя и кофеина. Наутро она мучилась похмельем и ей ужасно хотелось кофе, но она осталась верна своей клятве. Мы не хотели навредить будущему ребенку.

Неделю спустя мы прибыли в больницу, чтобы, как мы думали, просто встретиться и поговорить с медсестрой, ответственной за процедуру ЭКО. Как мы ошибались! Когда мы вошли в указанный кабинет, нам сразу стало не по себе от царившей там тягостной атмосферы. За двумя длинными столами, поставленными друг напротив друга, сжимая руки, сидели напряженные пары. Шустрая — даже, как нам показалось, чересчур — медсестра сказала, что ей нужны наши фотографии для архива, и мы через силу улыбнулись в камеру. Потом мы два часа слушали лекцию на тему полового воспитания, закончившуюся старым фильмом про то, как сперматозоиды плывут по трубам. Все это мы уже видели в средней школе, и второй раз смотреть не хотелось. Затем нам вручили пакеты с информационными материалами и стали объяснять их содержание страница за страницей. Я ерзал на стуле и развлекал Кик картинками и скабрезными шутками, чувствуя себя как на собрании «Анонимных алкоголиков»: «Здравствуйте, меня зовут Лэнс, и у меня нет спермы».

Я то и дело брал Кик за локоть, чтобы уйти оттуда, но никак не наступал удобный момент. И мы продолжали сидеть, умирая от скуки, не находя достаточно вежливого повода удалиться. Наконец дошло до того, что терпеть стало невмоготу. Кик собрала брошюры, встала и быстрым шагом направилась к двери. Я за ней. Мы, будто школьники на перемену, выскочили из кабинета и, давясь смехом и вслух рассуждая, не слишком ли мы легкомысленны, чтобы быть родителями, побежали к машине.

Еще через несколько дней мы вернулись в клинику сделать анализ крови. Когда у Кик брали кровь, она стала белой как полотно. Я назвал ее трусихой, но в душе сочувствовал ей. В отношении уколов она страдала настоящей фобией — а колоть ее в предстоящие недели будут еще ох как много. Тем же вечером ей ввели первую дозу лупрона. Это препарат, препятствующий овуляции, и каждые сутки его нужно получать по 10 единиц — то есть один укол каждый вечер до особого распоряжения. Для человека, боявшегося уколов так, как Кик, это было нелегким

испытанием. Дело усугублялось тем, что колоть себя она должна была сама. Каждый вечер, ровно в 20:30, Кик должна была идти в ванную и делать себе укол в бедро. В первый раз у нее так тряслись руки, что она никак не могла даже выпустить из шприца пузырьки воздуха, но в конце концов собралась с духом, больно ущипнула себя за бедро и, громко выругавшись, сделала укол.

Где- то в середине недели члены команды «U. S. Postal» собрались в Остине, чтобы пройти тестирование в аэродинамической трубе. Мы с Кик пригласили всех к себе на ужин, но как только подали горячее, Кик посмотрела на часы. Было 20:30.

Она, извинившись, вышла из-за стола проследовала в ванную, «чтобы уколоться», как она пикантно выразилась.

После тестирования команда отправилась тренировочный сбор в Калифорнию, и мне при шлось ехать вместе с ними, оставив Кик на несколько дней одну. Пока я был в отлучке, Кик совершила паломничество в Сан-Антонио, где хранилась моя замороженная сперма. За ее хранение я платил 100 долларов в год.

Тем утром Кик пораньше наведалась в остинскую клинику и получила там специальный морозильный контейнер, который едва уместился на переднем сиденье. Через час она прибыла в СанАнтонио и поднялась с контейнером на тринадцатый этаж. Пока медсестры готовили наше семейное будущее к отправке в Остин, она сидела и листала журналы. Перед тем как вручить Кик контейнер обратно, сестра быстро открыла его и показала выгравированные на пробирке инициалы «Л. А.

«Я всю обратную дорогу молилась о том, чтобы эти инициалы не принадлежали какому-нибудь Ларри Андерсону», — призналась она мне впоследствии.

Домой она ехала очень осторожно. За время пути я успел ей несколько раз позвонить, узнать, как дела. Я успокоился лишь тогда, контейнер попал в надежные руки персона остинской клиники. Теперь мы были готовы зачатию ребенка, хотя это было совсем не то романтическое событие при свечах, о котором мечтали.

Кик продолжала колоться. Однажды вечером пригласила на ужин подруг, и никто из них не мог поверить, что Кик действительно сама сумеет вонзить в себя шприц. Поэтому в половине девятого в ванной собралась толпа любопытстющих. Назовите это боязнью сцены или просто неловкостью рук, но пузырек с лупроном выскользнул из пальцев Кик и разбился вдребезги. Она в ужасе смотрела на осколки, прекрасно понимая, что, если она пропустит этот укол, может оказаться пропущенным

весь цикл и в следующем месяце придется повторять все сначала. Глаза ее наполнились слезами. Пока подруги убирали осколки, Кик отчаянно искала в записной книжке телефон медсестры. Нашла. Было уже 20:45. Когда она сквозь слезы обрисовала ситуацию, они обе принялись обзванивать аптеки, открытые в субботу вечером. Наконец одна такая аптека нашлась, и Кик помчалась туда. Аптекарь не закрывался, дожидаясь ее приезда, а на прощанье пожелал удачи.

Через два дня Кик пошла к доктору Бону на прием. Ей было трудно идти туда одной. Всех других женщин в клинику всегда сопровождали мужья, и она чувствовала на себе их пристальные взгляды.

такой молодой женщине ЭКО и почему она всегда приходит одна.

Доктор Вон пРописал еи курс гонала-F. Это лекарство симулирует фолликулы и побуждает организм женщины вырабатывать больше яйцеклеток.

Поэтому теперь ей нужно было ежедневно получать уже два укола: пять единиц лупрона и три ампулы гонала-F. Она с улыбкой говорила мне, что ее тело, некогда бывшее храмом души, стало «чем-то средним между игольницей и инкубатором».

Приготавливать смесь гонала-F было сложным делом. Кик брала шприц с длинной иглой, от одного вида которого ее бросало в дрожь, и втягивала в него пол-единицы стерильного водного раствора. Затем она отламывала кончик ампулы, в которой находился препарат в виде порошка, и вливала туда жидкость. Потом наполняла шприц полученной смесью, щелкала по нему пальцем и выдавливала из него воздух. После этого она впрыскивала содержимое шприца себе в бедро.

Двадцать второго января в 7 часов утра Кик прибыла к доктору Бону в очередной раз сдать кровь на анализ. Очередная игла. Кик старалась не смотреть, как у нее берут кровь, сосредоточившись на картинках на стене, недоумевая, как она собирается рожать ребенка, если без головокружения не может даже решиться на эту процедуру. В тот же день в 16 часов Кик приехала к доктору Бону снова, чтобы второй раз пройти УЗИ. В ее организме обнаружили 12 яйцеклеток; все они развивались согласно графику.

Это был верх иронии: в тот лее самый день, когда Кик проходила УЗИ, я отправился из Калифорнии в Орегон к доктору Николсу на плановое обследование. Доктор Николс перебрался из Индианаполиса в Портленд, но я продолжал периодически наведываться к нему. Я не мог не обратить внимания на тот факт, что в то же самое время, когда я общался с одним врачом, Кик

была на приеме у другого врача. Причины наших визитов были совершенно разные, но у них была одна общая черта: в том и другом случае была подтверждена возможность жизни.

Кик была почти готова к хирургическому извлечению яйцеклеток. Накануне назначенной операции я вернулся домой — к нашему обоюдному облегчению. В тот день она прошла еще один круг анализов крови и УЗИ, получила еще один укол, дозу ХГЧ, маркера крови, который не давал мне покоя во время химиотерапии. Но в данном случае ХГЧ был полезен; он способствовал созреванию яйцеклеток в организме Кик.

Укол она получила в местной клинике ровно в 19:30, за 36 часов до операции. Игла была еще длиннее, но медсестра сделала укол очень осторожно, пока Кик, дрожа, лежала на столе.

Той ночью ей снились ножи и инкубаторы. В день операции мы встали в 6 утра и отправились в хирургическое отделение, где Кик выдали больничное одеяние. Анестезиолог объяснил процедуру и дал нам какие-то бумаги на подпись. Мы нервно поставили свои подписи под документами, включая тот, что давал врачу право разрезать Кик живот для извлечения яйцеклеток, если традиционным способом — иглой — этого сделать не удастся. После этого Кик прошла в операционную.

Ее буквально пригвоздили к столу, разведя руки, как на распятии. После того как через капельницу начала поступать анестезия, она уже ничего не помнила. Это было для нее к лучшему. Врач извлекал яйцеклетки, используя длинную иглу и катетер.

Отойдя от наркоза в послеоперационной палате, она увидела меня, склонившегося над нею. «Может, ляжешь рядом?» — предложила она. Я прилег на краешек койки и оставался при ней, пока она еще около часа дремала, периодически просыпаясь и засыпая. Когда она проснулась окончательно, нас отпустили. Я довез ее на креслекаталке до машины и поехал домой, второй раз в жизни соблюдая ограничение скорости.

Выходные Кик отлеживалась и смотрела телевизор, а я готовил еду и ухаживал за ней. Приехала Барбара, жена Барта Нэгса, и привезла букет цветов и коробку яиц. «Раз у тебя своих больше нет», — сказала она Кик. Смеяться Кик было больно, но еще больнее оказался укол прогестерона, который я ей сделал. Последним распоряжением врача стали ежевечерние дозы прогестерона, и здесь использовалась самая длинная и толстая игла. Эти уколы должен был делать я.

Первого февраля доктор Вон позвонил нам сообщить результаты оплодотворения. Они разморозили мою сперму и оплодотворили ею яйцеклетки Кик посредством инъекции одного

сперматозоида в каждую клетку. Извлечено было девять жизнеспособных яйцеклеток; из них шесть остаются в идеальном состоянии, две сохраняют вероятность успеха, а одна в процессе оплодотворения погибла. Три идеальные яйцеклетки было решено имплантировать в матку Кик, а три другие заморозить. Странно было думать о том, что мы замораживали наших будущих детей.

Закончив разговор, мы испуганно переглянулись. Я подумал вслух: «А что будет, если все три яйцеклетки сработают?» Дело могло кончиться тем, что у нас будет трое орущих младенцев одновременно. Через три дня после извлечения яйцеклеток мы вернулись в больницу для их пересадки в матку Кик. Этот день обещал стать самым важным в нашей семейной жизни. Нас отправили в хирургическое отделение, где эмбриолог Бет Уильям — сон объяснила нам, что на оплодотворение эмбриона потратила все выходные. Она сказала, что сперматозоиды, к счастью, оказались живыми и подвижными, что не всегда бывает после размораживания. Процесс оплодотворения прошел в целом успешно. Она даже показала нам фотографии. «Вот это групповой снимок», — сказала она, показывая на расплывчатое изображение трех эмбрионов. Каждый из них имел уже восемь клеток, и деление продолжалось строго по графику.

— А пол вы можете сказать? — спросила Кик.

Доктор Уильямсон сказала, что нет, пол на такой стадии можно определить, лишь удалив одну из клеток и проделав анализ ДНК. Я этими процедурами был сыт уже по горло.

— Нет, спасибо, — сказал я. — Мы просто так спросили.

Когда Бет вышла, появилась медсестра с двумя комплектами больничной одежды — одним для Кик, другим для меня. Когда мы переоделись, Кик сказала:

— Ты выглядишь как бомж.

Хихикая, мы попросили доктора Бона сфотографировать нас на память, чтобы запечатлеть последнее мгновение нашей бездетной жизни. Затем мы вошли в затемненную операционную. Свет горел очень тускло и действовал расслабляюще. Мы не тревожились, а только возбужденно посмеивались, словно два идиота. Наконец врач сказал команде эмбриологов, что пора начинать, и они вошли в операционную, держа в шприце три наших эмбриона. Я сидел на табурете рядом с Кик и держал под простыней ее руки. Через пять минут все было закончено. Все это время мы не отрывали глаз друг от друга.

Затем Кик очень осторожно положили на каталку и вывезли в небольшую послеоперационную палату, где ей предстояло час лежать без движения. Я вытянулся на соседней койке. Так мы

лежали рядышком, глядя в потолок и подтрунивая друг над другом насчет потенциальной тройни.

Когда час истек, вошла медсестра и сказала, что следующие два дня Кик абсолютно ничего нельзя делать. Я осторожно отвез ее домой, положил в постель и дежурил возле нее. Ланч принес ей на подносе, а на ужин накрыл стол, украсив его очаровательными салфетками. Я прислуживал, как официант. Кик было позволено только сидеть, а между салатом и основным блюдом я заставил ее лечь на диван. Она обозвала меня тюремщиком.

На следующее утро Кик проснулась от того, что я поцеловал ее в живот. В тот день она начала принимать медикаменты, которые мы назвали «средством для высиживания яиц». В каждом из оплодотворенных фолликулов перед пересадкой в матку эмбриологи сделали микроскопическое отверстие, и лекарства проникали сквозь эти отверстия, помогая эмбрионам вылупливаться из фолликулов и имплантироваться в стенку матки.

Удалось ли Кик на самом деле забеременеть, мы не знали в течение двух недель, до 15 февраля, и просто ждали, стараясь замечать малейшие изменения в ее самочувствии. Но, учитывая то, что ей приходилось принимать очень много лекарств, было трудно сравнивать ее состояние с нормальным.

— Ты чувствуешь в себе какие-нибудь изменения? — то и дело с беспокойством спрашивал я.-

Что ты должна ощущать?

Мы думали об этом все время.

— Откуда я знаю? — отвечала она.

Наконец, на одиннадцатый день после имплантации яйцеклеток, Кик рано утром отправилась в больницу, чтобы сделать анализ крови на ХГЧ (тест на беременность). Она так нервничала, что даже выключила радио в машине и всю дорогу молилась про себя. Нам сказали, что результаты будут известны к половине второго пополудни, и в ожидании мы позавтракали, приняли душ и начали готовиться к отъезду в Европу.

Когда Кик собиралась вывести на прогулку собаку, зазвонил телефон. Я снял трубку, и, когда услышал то, что мне сказали, мои глаза наполнились слезами. Я крепко обнял Кик и сказал ей: «Детка, ты беременна». Кик обвила меня руками и спросила: «Ты уверен?» Я засмеялся, а потом мы оба заплакали.

Теперь, когда мы оба знали, что она забеременела, стал актуальным вопрос, скольких детей она вынашивает.

— Надеюсь, что троих. Чем больше, тем лучше, — сказал я.

Кик закатила глаза.

— У моего мужа богатая фантазия, — сказала она, — или же ему нравится меня мучить.

— Так и вижу тебя на одиннадцатичасовом международном рейсе с тройней, — сказал я. — Смотри также: хроническая усталость, кататоническое состояние, бессонница.

Кик старалась все делать как положено: есть продукты из всех основных пищевых групп, проходила пешком 6,5 километра в день, принимала витамины, спала днем. Она купила кучу книг для беременных, и мы начали присматривать детскую кроватку. Подруги то и дело спрашивали ее о самочувствии, не тошнит ли ее, но она чувствовала себя очень хорошо — так хорошо, что уже начала думать, не произошло ли ошибки в больнице и она вовсе не беременна

Чтобы рассеять свои страхи, она сделала домашний тест на беременность. Проявились две черточки. «Ладно. Просто проверка», — сказала она.

Наконец подошло время моего возвращения в Европу. Кик задержалась, чтобы пройти еще парочку тестов, но собиралась приехать ко мне, как только сможет. Пятого марта она прошла УЗИ, призванное определить количество вынашиваемых плодов. Я уже почти убедил ее, что она родит тройню, но прибор показал, что ребенок только один. В целом это обрадовало ее, но какая-то часть ее души испытала странное разочарование — не потому, что она хотела родить тройню, а скорее потому, что не могла избавиться от смутного ощущения утраты, думая о том, что стало с двумя другими эмбрионами. Она спросила доктора Бона, не могло ли произойти так, что мы что-то сделали неправильно и от этого погибли два других фолликула. Он объяснил, что дело не в этом и что даже в такой, казалось бы, стерильной и научно обоснованной процедуре сохраняется элемент необъяснимого.

А потом доктор Вон сказал:

— Посмотрите, как сильно бьется его сердце.

Он указал на крошечный мерцающий лучик на экране. Кик рассмеялась и сказала:

— Это явно не мои гены. Это сердце Лэнса.

Доктор Вон распечатал это едва заметное изображение луча, чтобы Кик отвезла его мне в Европу.

Через пару дней она приехала в Ниццу и вручила мне эту распечатку. Я изучал ее с благоговением, совершенно завороженный. Этот луч бьющегося сердца, как ничто другое, дал мне почувствовать, что я выжил. Наконец-то я окончательно понял, что живу и буду жить.

— Лети, как ветер, — сказала мне Кик. — Теперь папе Армстронгу надо кормить семью.

Глава девятая
ТУР

Жизнь — штука длинная (хотелось бы надеяться). Но «длина» — понятие относительное: любая минута может тянуться дольше месяца, когда крутишь педали в гору, и поэтому на свете мало вещей, способных показаться длиннее, чем «Тур де Франс». Чем измерить длину «Тура»? Бесконечными лентами дорожных ограждений, исчезающими в дрожащем мареве холмистых равнин? Нескончаемыми рядами тюков высушенного летнего сена на лугах, не разгороженных никакими заборами? Безграничной панорамой трех государств, открывающейся с ледяных

зазубренных пиренейских вершин?

Легче всего представить «Тур де Франс» как изначально нелепую затею: подумать только, в самый разгар летней жары две сотни велосипедистов стараются за три недели объехать вокруг всей Франции, включая горы. Попытку совершить такой идиотский подвиг нельзя оправдать ничем, кроме потребности нескольких человек, точнее кучки ненормальных вроде меня, познать пределы своей выносливости и таким образом самоутвердится.

(Я как раз из тех, кто на такое способен.) Это первенство среди любителей бессмысленных страданий

Однако по ряду личных причин я склонен считать «Тур» самым величественным спортивным состязанием на свете. К тому же для меня это вопрос жизни.

Немного истории: велосипед был изобретен в эпоху промышленной революции наряду с паровым двигателем и телеграфом, а первая велогонка «Тур де Франс» была проведена в 1903 году по предложению французской спортивной газеты «L'Auto». Из шестидесяти стартовавших гонщиков до финиша добрался только двадцать один. Перипетии борьбы сразу же привлекли внимание всей страны, и вдоль дорог на Париж выстроилось, по некоторым оценкам, не менее 100 тысяч зрителей. С самого старта началось мошенничество: в напитки подмешивали спиртное, а лидеры бросали на дорогу гвозди и битые бутылки, чтобы задержать преследователей Первым гонщикам приходилось тащить продукты и запчасти на себе, у их велосипедов было всего две звездочки, а тормозами служили ноги. Первые горные этапы были введены в 1910 году (вместе с тормозами), когда пелотон проехал через Альпы невзирая на угрозу нападения диких животных. В 1914 году гонка началась в тот самый день, когда застрелили эрцгерцога Фердинанда. Через пять дней после завершения гонки на те же самые Альпы, куда так упорно карабкались гонщики, шилась война.

Сегодня велогонки превратились в парад техно- Велосипеды стали настолько легкими, что их можно поднять одной рукой, а гонщики экипированы компьютерами, кардиомониторами и даже сторонней радиосвязью. Но главная задача гонки не изменилась: определить, кто лучше всех сможет перенести все тяготы и найти в себе силы ехать дальше. После выпавшего на мою долю сурового испытания я не мог отделаться от мысли, что эта гонка как раз для меня.

Перед началом сезона 1999 года я приехал в Индианаполис в фонд помощи раковым больным на традиционный прием и остановился у больницы, чтобы повидаться со старыми друзьями.

Скотт Шапиро сказал:

— Так значит, ты снова собираешься заняться многодневками?

Я ответил «да», а затем спросил:

— Как думаешь, я могу выиграть «Тур де Франс»?

Я не только думаю, что можешь. Я жду, что его выиграешь. Но тут у меня началась полоса падений. Начало сезона 1999 года оказалось полностью провальным. Во второй по значимости гонке года, «ТУР Валенсии», я слетел с велосипеда и чуть не сл˚Мал плечо. Взятые мной две недели отдыха не помогли; не успел я вернуться, как снова упал: во время тРенировки на юге Франции пожилая авто-любительница вырулила на обочину дороги и зацепила меня крылом. Чувствуя себя хуже загнанной лошади, я кое-как вымучил гонки «Париж-Ницца» и «Милан-Сан-Ремо», пытаясь в отвратительную погоду добраться до финиша хотя бы в середине пелотона. Я объяснил неудачи плохой формой в «начале сезона и отправился на следующие гонки — где снова упал. На последнем повороте первого этапа меня занесло на мокрой дороге. Колеса попали в темную масляную лужу, велосипед выскользнул из-под меня, и я свалился.

Я уехал домой. Причина была в том, что я просто заржавел, и поэтому мне пришлось две неделе упорно работать над техникой, чтобы снова почувствовать себя в седле уверенно. Вернувшись к гонкам, я больше не падал. И вот наконец мне удалось что-то выиграть — раздельный старт в многодневке «Тур де ла Сартэ». Мои результаты стали улучшаться.

Но самое смешное в том, что в однодневках я уже не был так хорош, как прежде. Я перестал быть тем злым и неуемным юнцом, каким был раньше. Моя манера езды осталась такой лее интенсивной, но стиль и техника стали более расчетливыми, не такими агрессивными. Теперь у меня был другой стимул — психологический, физический и эмоциональный — и этим стимулом был «Тур де Франс».

Ради подготовки к «Тур де Франс» я был готов пожертвовать целым сезоном. Я поставил на эту гонку все. Я пропустил все весенние старты в классике, престижных гонках, которые идут в зачет Кубка мира, и вместо них выбрал всего несколько соревнований, которые могли подвести меня к пику формы в июле. Никто не мог понять, что у меня на уме. Раньше я зарабатывал на жизнь классикой. Почему же теперь я не участвовал в гонках, которые уже не раз выигрывал? В конце концов ко мне подошел какой-то журналист и спросил, заявлен ли я в какой-нибудь весенней классике.

— Нет, — ответил я.

— Да, а почему?

— Готовлюсь к «Тур де Франс».

Он криво улыбнулся и сказал:

— Значит, теперь вы решили показать себя в «Туре».

Словно я сморозил какую-то глупость.

Я только смерил его взглядом и подумал: «Говори, что хочешь, пижон. Жизнь покажет».

Вскоре после этого я столкнулся в лифте с Мигелем Индурайном. Он тоже спросил, почему я не выступаю.

— Много времени трачу на тренировки в Пиренеях, — сказал я.

— Зачем? — спросил он. — Чего ради?

— Ради «Тур де Франс».

Он удивленно поднял брови, но от комментариев воздержался.

Каждый член команды «Postal» был так же предан «Тур де Франс», как и я. Вот кто входил в состав группы «Postal»: Фрэнки Эндрю, крупный, мощный спринтер и наш капитан, умудренный опытом ветеран, который знал меня еще подростКом; Кевин Ливингстон и Тайлер Хэмилтон были нашими молодыми горняками; Джордж Хинкепи — победитель «U.S.Pro» и еще один мощный спринтер типа Фрэнки; Кристиан Вандевельде — один из самых талантливых новобранцев; Паскаль Дерамe, Джонатан Вотерс и Питер Мейнерт-Нильсен — верные помощники, готовые часами гнать на высокой скорости и не жаловаться.

Человеком, который создал из нас команду, был наш директор, Йохан Брюнель, бельгиец с непроницаемым лицом игрока в покер и бывший участник «Тура». Йохан знал, что нужно для победы в «Туре»; он дважды был победителем на этапах. В 1993 году он выиграл самый быстрый на то время этап за всю историю «Тура», а в 1995 году выиграл еще один, когда эффектно обошел Индурайна на финише в Льеже. Они с Индурайном ушли в отрыв вдвоем, и Йохан всю дорогу просидел на колесе у Индурайна, а затем сделал рывок и обставил испанца в спурте на самой финишной черте. Он был умным и изобретательным гонщиком, который знал, как обойти более сильных соперников, и сумел привить это стратегическое чутье ребятам нашей команды.

Идея проведения командных тренировочных сборов принадлежала Йохану. Мы поверили в план и без жалоб проводили целые недели в Альпах и Пиренеях. Мы изучали горные участки трассы «Тура» и практиковались на подъемах, которые нам предстояло преодолеть, дружно откатать семь часов в день при любой погоде

На горных участках я старался держаться поближе к Кевину и Тайлеру, потому что они были нашими главными горняками, и это им предстояло проделать основную работу, втягивая меня на крутые подъемы. В то время как большинство гонщиков отдыхали перед новым сезоном или выступали в классике, мы в кошмарных условиях крутили педали в горах.

У нас с Йоханом родилась походная шутка. Был январь, и в Пиренеях каждый день лил дождь. Я выбивался из последних сил, штурмуя бесконечные подъемы, а Йохан следовал за нами в уютной теплой машине и развлекал меня болтовней по рации.

Однажды я вышел в эфир и сказал:

— Йохан?

— Да, Лэнс, что ты хочешь?

— В следующем году я перехожу в классику.

С тех пор я говорил это каждый день. Довольно скоро Иохан уже знал, что будет дальше.

— Йохан?

— Погоди, Лэнс, дай угадаю, — говорил он совершенно безразличным голосом. — В следующем ГоДУ ты переходишь в классику.

— Точно.

Когда мы не работали в Альпах или Пиренеях, тренировался самостоятельно. Все, что я делал, быЛо п˚священо одной цели. Мы с Кик жили, думая только о Двух вещах: как выиграть «Тур де Франс»

Родить здорового ребенка. Все остальное казалось ВТоРосгепенным, лишним.

Я пахал как конь. Я решал проблему «Тура» словно школьную задачу по математике, физике химии и диетологии. Я просчитывал на компьютере соотношение веса тела и экипировки с потенциальной скоростью велосипеда на разных этапах, пытаясь найти формулу, которая поможет мне добраться до финиша быстрее всех остальных. Я выстраивал компьютерные графики тренировок, определяя дистанции, расчетный объем работы и пороги выносливости.

Даже еда превратилась в математически выверенный процесс. Я строго контролировал количество принимаемой пищи. На кухне я поставил маленькие весы и отмерял на них порции макарон и хлеба. Затем я подсчитывал соотношение энергозатрат и потребления калорий, стараясь точно определить, сколько и чего следует съесть и сколько калорий нужно сжечь за день, чтобы приход энергии оказался меньше расхода и благодаря этому сбросить вес.

Тут обнаружилось одно непредвиденное преимущество рака:

болезнь полностью перекроила мое тело. Я стал более сухощавым. На старых фотографиях я был больше похож на игрока в американский футбол — с толстой шеей и широким торсом, что сильно помогало мне в спринте. Но, как это ни парадоксально, моя мощь тормозила меня в горах, поскольку слишком много сил уходило на то, чтобы втягивать такой вес на подъемы. Теперь я стал почти тощим, и у меня появилась легкость, которой я никогда раньше не ощущал. Я стал поджарым и, кроме того, более уравновешенным.

Считалось, что я не могу победить в «Туре» изза проблем с подъемами. Я всегда был хорошим спринтером, но в горах возникали трудности. Эдди Мерке много лет подряд говорил, что мне нужно похудеть, но только сейчас я понял почему. Даже пара сброшенных килограммов была солидной форой для гонок в горах — а я похудел почти на семь. Это было все, что мне требовалось. Я стал показывать в горах очень хорошие результаты.

Каждое утро я вставал и ел на завтрак одно и то же — немного мюслей с хлебом и фруктами, если только мне не предстояла особенно продолжительная тренировка. В таких случаях я добавлял еще омлет из яичных белков. Пока я ел, Кик наполняла мои фляги водой, и в восемь часов я уже открывал дверь, чтобы присоединиться к Кевину и Тайлеру. Как правило, мы без перерыва крутили педали до самого обеда, то есть примерно до трех часов дня. Вернувшись домой, я принимал душ и спал до ужина. Вечером я снова поднимался, отмеривал себе порцию макарон и ужинал вместе с Кик.

Мы ничем не занимались. Никуда не ходили. Мы только ели, а затем ложились в постель, чтобы утром я мог встать и снова отправиться на тренировку. Так мы жили несколько месяцев. Некоторые из подруг говорили Кик: «Как вам хорошо, вы живете на юге Франции». Если б они только знали!

Пока я тренировался, Кик отправлялась по делам или отдыхала на веранде. Она считала, что Ницца — это идеальное место для беременной, потому что там молено бродить по открытым рынкам и покупать свежие фрукты и овощи. По вечерам мы листали книги о беременности и следили по ним за ростом будущего ребенка. Сначала он был величиной с булавку, затем с лимон. Важный день наступил тогда, когда Кик в первый раз не смогла застегнуть джинсы.

Мы очень серьезно настроились на достижение цели. Велоспорт — это тяжелая, очень тяжелая работа, и Кик относилась к ней с уважением. «Успехов тебе на работе», — говорила она каждое утро, когда я уезжал. Если бы мы оба

одинаково строго не придерживались избранного образа жизни, у нас вряд ли что-нибудь получилось бы. Если бы она ощущала скуку, разочарование или недовольство, мы не смогли бы прожить эти месяцы в согласии. Кик играла настолько важную роль в моем тренировочном процессе, что ее можно было бы взять в команду на ставку ассистента.

Кевин все это видел, потому что он был нашим лучшим другом и у него тоже была квартира в Ницце. В отличие от меня, в Европе дома его никто не ждал. Он возвращался с гонок в пустую квартиру, чтобы найти там прокисшее молоко. У меня всегда была свежая одежда, чистый дом, кошка, собака и все, что нужно в плане еды. Но, чтобы все это обеспечить, Кик приходилось здорово потрудиться. Прежде я всегда чувствовал себя в Европе неуютно и одиноко. Теперь же, будучи счастливым в браке человеком, я очень высоко ценил такую жизнь.

Бывали дни, когда у меня случался прокол и я оказывался один у черта на куличках. Тогда я звонил домой, и Кик отправлялась меня искать. Иногда она выезжала в горы только для того, чтобы привезти мне фруктовый пунш «Gatorade» и еду. Теперь она знала о велоспорте абсолютно все и поэтому могла быть полез — ной. Она знала, что и когда мне нужно, в какие дни мне приходилось особенно тяжело, когда нужно поговорить по душам и когда меня лучше оставить одного.

В дни особенно тяжелых тренировок она сидела как на иголках в ожидании результатов, потому что знала, какое значение я придавал подготовке и как важно было для меня выполнить намеченный план. Если мне что-то не удавалось, она понимала мое разочарование и мрачное настроение.

В конце апреля я решил принять участие в престижной классической однодневке «Амстел Голд», чтобы проверить свою форму. С самого старта я почувствовал себя сильным гонщиком. Большую часть дня я сражался с Микаэлем Богердом из Голландии, считавшимся на тот момент одним из лучших гонщиков в мире.

За 16 километров до финиша я пошел в отрыв. Богерд сел мне на колесо и дышал в затылок. Тогда я почувствовал, по крайней мере, мне так показалось, что я обойду его на финише. Я мог поставить на кон свое здоровье. Настолько я был уверен.

Начался финишный спринт, и тут Богерд показал, на что он способен. Он выскочил у меня из-за спины и пошел в атаку. Последние несколько сотен метров мы промчались колесо в колесо — и я проиграл. Я проиграл всего сантиметр. Меньше толщины шины.

Я был уничтожен. Я был абсолютно уверен, что выиграю, но

больше всего меня убило то, что Богерда считали главным кандидатом на победу в «Тур де Франс». Когда мы стояли рядом на подиуме, я думал только о том, как это поражение повлияет на мои планы выиграть «Тур».

Внезапно я наклонился к Микаэлю и сказал:

— В июле я с тобой посчитаюсь.

Он взглянул на меня с недоумением:

— О чем это ты? Еще только апрель.

Я снова взялся за тренировки. Я работал, работал и работал. Я работал как никогда, устраивая экзекуцию своему телу на каждом холме, который только мог найти. В окрестностях Ниццы было примерно 50 хороших тяжелых затяжных подъемов длиной по 16 и более километров. Фокус заключался в том, чтобы преодолевать их не изредка, а непрерывно. За шесть или семь часов тренировки я успевал подняться на три разных холма. Двадцатикилометровый подъем занимает около часа, так что можете сами представить, сколько я работал.

Я садился на велосипед, когда этого не делал никто, даже мои товарищи по команде. Особенно мне запомнился один день — 3 мая. Сырой, пронизывающе холодный день европейской весны. Я направил свой велосипед в Альпы, а Йохан поехал сзади в машине. Шел дождь со снегом, а температура была около нуля. Мне это было все равно. Когда мы остановились на обочине, чтобы оценить дорогу и погоду, Йохан предложил сегодня не тренироваться. Я сказал: «Нет. Поедем». Я откатал полных семь часов в одиночестве. Чтобы выиграть «Тур», я должен был выработать у себя желание ездить тогда, когда никто другой на это не решится.

Самым изнурительным маршрутом в Ницце была Мадонна («Col dela Madone»). Это знаменитый своей крутизной 13-километровый подъем над городом. Его можно было видеть чуть ли не с крыльца дома, за чередой холмов, окаймляющих линию горизонта. Все время тренироваться на Мадонне было слишком тяжело, но этот маршрут служил отличной проверкой на выносливость. Большинство ребят проходили его раз или два за сезон. Я делал это раз в месяц.

Тони Ромингер, который в течение многих лет был одним из ведущих гонщиков мира, использовал Мадонну как тренировочный маршрут, когда жил в Монако, и установил на ней рекорд- 31 минута 30 секунд. Кевин Ливингстон, лучший в нашей команде «Postal Service», однажды одолел ее за 32 минуты. После своего возвращения в 1998 году я прошел Мадонну за 36 минут. Но, чтобы выиграть «Тур», мне нужно было значительно сократить это время.

— Я выйду из 31 минуты, — как-то раз заявил я Кевину.

Это была очень серьезная заявка для того, кто в тот момент не мог добраться до вершины даже за 35 минут.

— Ты спятил, — отозвался Кевин.

Но я довел время до 34, а потом до 33 минут. Затем однажды я показал 32:30. Накануне «Тура» мы с Кевином решили подняться на Мадонну в последний раз.

День был влажным, почти безветренным очень душным и жарким. Мы рванули к покрытой облаками вершине высотой 900 метров над уровнем моря. За километр до финиша у Кевина случился прокол, и он остановился, чтобы сменить шину. Я продолжал жать на педали. Добравшись до вершины, я взглянул на руль, где был закреплен секундомер.

Я дождался Кевина. Он подъехал совершенно запыхавшимся и расстроенным по поводу проколотой шины. Я показал ему время на моем компьютере. Мы сразу подумали, какое значение это может иметь для победы в «Туре». «Ну, парень, ты даешь, — сказал Кевин. — С ума сойти».

Кик знала, что каждая тренировка на Мадонне была для меня серьезным испытанием. В такие дни я завтракал с каменным лицом, с самого утра думая только о том, что мне предстоит. На этот раз, когда я вернулся домой, она ждала у входной двери, желая узнать, как все прошло, и посмотреть на мое настроение. К нам как у аз приехал Очович и тоже с нетерпением ждал, что я скажу.

Я ввалился в прихожую е угрюмым выражением на лице.

— Как успехи? — спросила она.

— Погода была паршивая, — ответил я.

Она только вздохнула.

— Да, — продолжил я. — Все, что я смог это 30:47.

Она бросилась ко мне и обняла. Оч хлопнул меня по спине.

— Джимми, я готов, — с уверенностью произнес я.

Через несколько дней Оч вернулся в Штаты и всем говорил, что я собираюсь выиграть «Тур де Франс».

На «Тур» я собирался с маниакальным, нервирующим вниманием к каждой мелочи. Мы с Кик разложили все мои вещи и аккуратно размести — ли их в чемодане. Я настаивал, чтобы они были уложены особенным образом. Велотрусы следовало сложить так, чтобы они образовали совершенно прямую линию. Крепления педалей должны были лежать в строго определенном месте. Перчатки следовало положить в один угол, а теплые нарукавники — в другой. Вещи следовало разложить в строгом порядке, чтобы я с первого взгляда мог убедиться, что полностью экипирован для любой погоды.

Мы прибыли в Париж на предварительную подготовку, которая включала медицинские анализы, допинг-пробы и обязательные лекции организаторов «Тура». Каждому гонщику вручили «библию» — справочник «Тура», в котором были расписаны все этапы гонки, профили маршрутов и расположение пунктов питания. Мы возились с велосипедами, меняя рули и подгоняя крепления велотуфель к педалям. Некоторые гонщики относились к своим велосипедам не так внимательно, но я подгонял снаряжение с невероятной дотошностью. В команде меня прозвали мистер Миллиметр.

В предварительных прогнозах наша команда «U. S. Postal» котировалась невысоко. Никто даже не предполагал, что у нас есть шанс на выигрыш. Победу прочили Абрахаму Олано, действующему чемпиону мира. Называли имя Микаэля Богерда, который обошел меня в гонке «Амстел». Оценивали шансы швейцарца Александра Цулле и испанца Фернандо Эскартина. Говорили о тех, кто не попал на гонку, став жертвой допинг-контроля. Обо мне упоминали исключительно в связи с чудесным избавлением рт рака. Похоже, только один человек считал, что я способен выиграть. Вскоре после начала гонки кто-то спросил Мигеля Индурайна, у кого, по его мнению, хорошие шансы на победу. Возможно, он помнил наш давешний разговор в лифте и знал, как я тренировался. «У Армстронга», — ответил он.

«Тур» открывался коротким прологом, 8-километровой индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Пюи-дю-Фу, городе с замком пергаментного цвета и средневековым тематическим парком. Пролог — это гонка критериум, цель которой в том, чтобы произвести отсев, выделить скоростных гонщиков и определить, кто поедет в голове пелотона. Несмотря на то что дистанция составляла всего 8 километров, она представляла собой серьезное испытание и не давала ни малейшего права на ошибку. Каждый гонщик должен был выложиться на полную катушку и развить максимальную скорость, чтобы не проиграть еще до начала гонки. Те, кто рассчитывал бороться за победу в генеральной классификации, должны были войти в тройку или четверку лучших.

Трасса начиналась с 5 — километрового равнинного участка, после чего поднималась на высокий холм, длинный 700-метровый подъем, который нужно было пройти на максимальной скорости. Затем следовал крутой поворот и ровный участок для финишного спринта. Трасса как нельзя лучше подходила для массивных гонщиков вроде меня, а также для великого Индурайна, который однажды показал на ней рекордное время — 8:12.,

На все про все» отводилось меньше девяти минут. Ключевым

участком являлся холм. Никому не хотелось потратить все силы на первых 5 километрах, а потом умереть на подъеме. Кроме того, нужно было принять стратегическое решение: брать подъем на самой большой звездочке или переключиться на меньшую? Мы спорили на эту тему битых два дня.

Йохан сохранял спокойствие и распланировал нашу стратегию в мельчайших деталях. Он рассчитал объем работы и время, необходимые для прохождения каждого участка, а затем выдал мне совершенно точные инструкции. Он даже знал, какой у меня будет пульс после первого спринта- 190.

Гонщики стартовали с 3-минутным интервалом. С трассы начали приходить первые сообщения. Фрэнки Эндрю, мой коллега по команде, пожертвовал собой ради эксперимента, когда попытался проскочить подъем на большой звездочке. Такой вариант оказался неправильным. К вершине холма он совершенно выдохся и не смог восстановиться до самого конца гонки.

Олано побил рекорд трассы с результатом 8:11. Затем Цулле улучшил это время до 8:07.

Пришла моя очередь. Когда я еду в оптимальном режиме, мое тело почти не движется на седле, только ноги работают, как поршни в цилиндрах. Ехавший сзади в техничке Иохан видел, что мои плечи почти не шевелились, а это значило, что я не тратил энергию понапрасну и она полностью передавалась велосипеду, разгоняя его на дороге.

В наушнике раздавался голос Йохана, который сообщал время прохождения контрольных точек и давал советы.

— Ты поднялся с седла, — сказал Иохан. — Сядь на место.

Сам не осознавая того, я выкладывался слишком сильно. Я опустился на седло и сосредоточился на технике педалирования. Я не имел ни малейшего понятия, на какой результат иду. Я просто крутил педали.

Когда линия финиша осталась позади, я посмотрел на секундомер.

Он показывал 8:02.

Я подумал: «Этого не может быть».

Я еще раз взглянул на секундомер. 8:02.

Я стал лидером «Тур де Франс». Впервые за всю свою карьеру я надену желтую майку, легендарную maillot jaune, которая выделит меня среди остальных гонщиков.

Возле наших трейлеров меня ожидали медвежьи удары по спине от товарищей по команде, и самый сильный — от Йохана. Съемочная группа телекомпании ESPN приехала брать интервью, но не смогла почти ничего от меня добиться. Язык мгновенно прилип к небу, и я боялся показаться в эфире круглым идиотом.

Слова застряли в горле. «Я просто в шоке, — только и смог выдавить я внезапно охрипшим голосом. — Я просто в шоке».

Стоя в середине толпы, я увидел Индурайна. Он протиснулся ко мне и поздравил крепким пожатием руки и хлопком по спине.

Во время «Тура» праздновать победу на этапе времени нет. Сначала тебя гонят на допинг-пробу, а затем на протокольные мероприятия. Меня провели в трейлер умыться перед награждением и вручили желтую майку, в которую нужно было переодеться. Во всей моей тщательной подготовке к «Туру» это был единственный упущенный момент. Я не был готов к тому ощущению, которое испытал, когда желтая ткань заскользила по моей спине.

Дома в Ницце Кик смотрела по телевизору, как я поднялся на подиум в желтой майке. Она принялась прыгать по дому с криками радости, растрясла будущего ребенка и напугала собаку. Наконец я спустился с подиума и вернулся в трейлер, откуда позвонил ей по телефону.

— Детка, — сказал я.

На другом конце провода она несколько раз повторила:

— Боже мой, Боже, Боже мой! — и расплакалась. Затем она сказала: — Черт возьми, милый, ты это сделал.

В этой победе был еще один исключительно приятный момент. Прокладывая путь через собравшуюся на финише толпу, я наткнулся на команду «Cofidis». Вокруг стояли люди, которые, как мне казалось, бросили меня умирать в больничной палате. «Вот так-то», — сказал я и, не останавливаясь, прошел мимо.

Мы двинулись в путь через равнины Северной Франции. Я был первым в истории американцем, которому предстояло ехать за американскую команду, на американском велосипеде в звании лидера «Тур де Франс». В то утро я посмотрел на календарь: было 4 июля.

Неожиданно для себя я занервничал. Желтая майка накладывала ответственность. Теперь, вместо того чтобы атаковать, мне придется отбивать чужие атаки. Я никогда еще не оказывался в положении гонщика, защищающего желтую майку.

Первые этапы «Тура» — это раздолье для спринтеров. Мы мчались по ровным и однообразным дорогам, разыгрывая шахматные блицы на велосипедах. Нервы были напряжены до предела; в пелотоне все маневрировали, толкались или уклонялись от столкновений; не обошлось без пары обычных для «Тура» падений.

Гонщики сцеплялись рулями, сталкивались бедрами и колесами. Меньше всего борьбы было в голове пелотона, поэтому мы старались занять место именно там, но к тому же самому

стремились и все остальные команды, а дорога не резиновая.

Когда почти 200 гонщиков сражаются за лучшую позицию, столкновений избежать трудно. Главная стратегия первых дней состояла в том, чтобы избежать неприятностей, но это легче сказать, чем сделать. В позиционной борьбе на такой скорости можно в два счета вылететь из седла и оказаться в хвосте. Годом раньше Кевин упал два раза подряд и отстал на 15 минут, даже не успев добраться до гор.

Наша группа поддержки состояла из двух техничек и фургона. В одной машине ехал Йохан с остальными членами команды и резервными велосипедами на крыше, а в другой — менеджеры команды и те из спонсоров, кто оказался поблизости перед началом этапа. В фургоне везли все остальные велосипеды, наши сумки и другое снаряжение. Если у кого-то случался прокол, механик всегда был наготове, а если нам требовалась вода или еда, команда сразу же передавала все, что нужно.

Иохан руководил тактикой гонки из машины. Используя новейшую систему двусторонней радиосвязи, он сообщал время на отсечках, передавал информацию о положении участников и отдавал команды атаковать. У каждого гонщика команды «Postal» был наушник и прикрепленный к воротнику маленький черный передатчик, подсоединенный к кардиомонитору и позволяющий Иохану следить за тем, как наши организмы ведут себя в состоянии стресса.

Каждый день с начала и до конца трассы мои товарищи ехали впереди, защищая меня от ветра, столкновений, конкурентов и прочих помех. Нам постоянно приходилось уклоняться от чересчур ретивых зрителей и журналистов, а также от их личных вещей: детских колясок, бачков с водой и бог знает чего еще.

На втором этапе нам нужно было проехать по 4-километровой дамбе, именуемой Пассаж-дю- Гуа, месту почти сюрреалистического вида. Это длинная, узкая, щебеночно-асфальтовая дорога» проложенная через прибрежное болото. При высоком приливе вода заливает дорогу, делая ее непроходимой. Но даже во время отлива покрытие остается предательски скользким, а края дороги усеяны острыми ракушками и морскими водорослями.

Пелотон все еще ехал кучно, там вовсю толкались и маневрировали. В таких условиях передвигаться по дамбе было опасно. Лучше всего было занять место в числе первых команд, поэтому большинство гонщиков группы «Postal» собрались вокруг меня и начали прорываться вперед. По пути некоторые из наших ребят отвалились, и их съела вторая группа. Фрэнки с Джорджем провели меня без приключений, но страху мы все равно

натерпелись; дорога под колесами оказалась такой скользкой, что мы боялись даже повернуть руль. К тому же приходилось бороться с боковым ветром, который мешал удерживать велосипед прямо.

Тем, кто ехал за нами, повезло меньше. Они въехали прямиком в мощный завал.

Кто- то ударил по тормозам, и черная дорога мгновенно покрылась телами наших конкурентов.

Велосипеды взлетали в воздух, колеса бешено крутились, а гонщики, как подкошенные, валились на землю, пораженные чудовищной цепной реакцией. Хвост пелотона накатил на беспомощно лежащих на асфальте ребят, и количество упавших увеличилось. Мы потеряли Джонатана Вотерса, который получил сотрясение мозга, рассек подбородок и был вынужден сойти с дистанции. За день до этого Джонатан чудом уцелел в другом столкновении, когда перелетел головой вперед через руль и умудрился приземлиться на ноги. За это пелотон наградил его прозвищем El Gato (Кот), но теперь он выбыл из строя. Тайлер Хэмилтон отделался ушибом колена.

Как выяснилось впоследствии, Пассаж-дю-Гуа стал одним из самых критических моментов гонки. Проскочив его в числе первых, я создал ценный запас времени и оставил позади некоторых фаворитов. Среди тел, усеявших дорогу, оказались Микаэль Богерд и Алекс Цулле, которые отстали от меня более чем на 6 минут, и это отставание с каждым последующим днем становилось для них все более угрожающим.

В течение этих 10 первых дней у нас была только одна цель — остаться в числе первых и избежать новых неприятностей. Я старался найти оптимальный вариант: удержаться в группе лидеров и одновременно сохранить как можно больше сил перед индивидуальной разделкой в Метце. Я даже на время расстался с желтой майкой.

Это были одни из самых длинных дней «Тура», похожие друг на друга однообразием дорог и пейзажей. Мы проехали от Нанта до Лаваля, затем до Амьена, но казалось, что мы едем по бесконечной дороге, ведущей в никуда. Марио Чипполини выиграл четыре этапа подряд и установил рекорд «Тура», а мы сдали эти этапы без борьбы. Чипполини был превосходным гонщиком, но в горах у него не было шансов, и все мы понимали, что он не входит в число претендентов на общую победу.

Каждый вечер мы занимались одним и тем же: массировали измученные ноги, ужинали, а затем «прыгали» по шести каналам французского телевидения в гостинице. Йохан запретил мне брать с собой компьютер из-за моей склонности допоздна

засиживаться в интернете.

Мы мчались вперед, через равнины — к Метцу.

Я держался сзади, приберегая себя для главных сражений.

И ндивидуальную гонку с раздельным стартом называют гонкой истины. Первые этапы отделяют сильных гонщиков от слабых. А теперь пришла пора окончательно избавиться от всех слабаков.

Мы прибыли в Метц на разделку, в которой, в отличие от короткого пролога, у гонщиков будет шанс выиграть или проиграть приличные куски времени. Длина дистанции составляла 56 километров, а это означало, что придется крутить педали изо всех сил больше часа, а тем, кто не уложится в норматив, придется сказать до свидания — они выбывают из «Тура». Отсюда и название — гонка истины.

Из Ниццы приехала Кик. Большую часть первой недели она смотрела нас по телевизору дома, а остальную часть «Тура» собиралась путешествовать по Европе со своими родителями, чтобы убить скуку, снять напряжение и периодически видеться со мной. «Тур» нельзя было назвать идеальным местом для свидания супругов, потому что я был изолирован вместе с командой, но увидеться с ней хотя бы однажды было лучше, чем ничего, а мне хотелось проверить, как развивается ее беременность. Кроме того, ее присутствие в Метце напомнило мне, с каким напряжением я работал и готовился к этому событию.

Рано утром я вышел на улицу и еще раз просмотрел профиль этапа, который и без того знал наизусть, потому что мы тщательно изучили его во время тренировочных сборов. На нем было два очень больших подъема, один — длиной 1,5 километра, а другой 4. Вначале придется бороться с боковым ветром, затем пойдут холмы, а на финишном участке нас ждет сильный встречный ветер. Эта трасса требовала силы, и выиграть ее мог только тот, кто способен сражаться с этим ветром на самой высокой передаче. Одной резвости тут было недостаточно; мне предстояло поддерживать максимальную скорость больше часа.

Пока я разминался на станке, с трассы начали приходить первые результаты. Гонщики стартовали в шахматном порядке, с интервалом в две минуты, и Алекс Цулле, швейцарский фаворит, который попал в завал на Пассаж-дю-Гуа, вырвался на первое место, показав чуть больше 1 часа 9 минут. Меня это не удивило; Цулле был упорным белокурым здоровяком и не собирался сдаваться, в чем мне не; раз приходилось убеждаться до самого конца многодневки.

Считавшийся фаворитом Абрахам Олано ушел на дистанцию прямо передо мной. Но, когда я ждал на старте, пришло известие,

что Олано упал на небольшом повороте и потерял около 30 секунд. Он снова сел на велосипед и продолжил гонку, однако темп был потерян.

Моя очередь. Со старта я взял очень высокий темп — может быть, слишком высокий. Йохан обычным спокойным тоном непрерывно давал советы и снабжал меня информацией. На первых двух точках замера времени, по его словам, у меня были лучшие результаты.

Третья отсечка: я впереди Цулле на 1 минуту 40 секунд.

Впереди показалась спина Олано. Олано никто никогда не догонял в раздельной гонке, и теперь он начал оглядываться через плечо. Я еще сильнее нажал на педали.

Я его достал. Олано посмотрел на меня недоверчиво и испуганно. Я поравнялся с ним — и обошел. Он исчез у меня за спиной.

Йохан продолжал говорить мне в ухо. Мой каденс достигал 100. «Это слишком много», — предупредил Йохан. Я педалировал слишком сильно. Мне пришлось немного сбавить темп.

Я вылетел на плавный поворот на спуске. Край дороги был огражден плотно уложенными тюками сена. Впереди показалась еще одна фигура. Травмированный гонщик лежал у обочины, ожидая медиков. Я узнал цвета «Cofidis». Бобби Джулич.

Он не справился с управлением и не вписался в поворот. Позднее я узнал, что он сильно ушиб грудь и ребра. Для него гонка закончилась.

Я сгруппировался и начал проходить поворот. Из толпы на дорогу выбежал ребенок. Я резко вильнул в сторону, чтобы его не задеть. Сердце отчаянно забилось.

К счастью, я быстро успокоился и не сбился с ритма. Впереди меня замаячил еще один гонщик. Я прищурился, стараясь разглядеть, кто это был, и заметил отблеск зеленого цвета. Это была майка бельгийца Тома Стеелса, замечательного спринтера, который выиграл два равнинных этапа и входил в число претендентов на общую победу.

Но Стеелс стартовал на шесть минут раньше меня. Неужели я ехал так быстро?

Йохан проверил время, и его неизменные уравновешенность и невозмутимость тут же улетучились. Он перешел на крик.

— Ты поставил их на уши! — заорал он. — Ты поставил на уши «Тур де Франс»!

Я обошел Стеелса. Вдруг я почувствовал, как молочная кислота стала появляться в мышцах ног. Мое лицо застыло в гримасе боли. Я перестарался — и теперь настала пора платить. Я выехал на последний участок, навстречу ветру, и понял, что

больше не в силах двигаться. С каждым оборотом колес я возвращал Цулле выигранное у него время. Секунды шли, а я все никак не мог доплестись до финиша.

Наконец я пересек линию.

Я проверил время — 1:08:36. Я победил. Я обошел Цулле на 58 секунд.

Я почти свалился с велосипеда — настолько уставший, что глаза буквально сошлись на переносице. Так я еще никогда не уставал. Но я снова стал лидером «Тур де Франс». Когда я натягивал желтую майку и еще раз почувствовал, как она скользит по моей спине, то решил, что ей следует там остаться.

Я сошел с подиума, отдал Кик цветы победителя, крепко обнял и поцеловал ее. В тот вечер я сказал ей: «Мне кажется, я выиграю эту гонку».

Вернувшись в гостиницу, все мы, гонщики «Postal», подняли бокалы с шампанским. Пили мелкими глотками, потому что дневное испытание отняло у нас столько сил, что один бокал мог ударить в голову также, как целая бутылка. После того как вино было допито, поднялся Йохан. «Все, ребята, больше никакого шампанского, — сказал он. — Мы пьем его в последний раз, потому что собираемся выиграть еще очень много этапов, а если станем отмечать каждый, то не протрезвеем до самого Парижа».

Вся команда дружно прокричала «ура!».

МЫ доехали до гор.

С этого момента дорога, включая финишные отрезки, все время будет идти на подъем. Первый альпийский этап длиной 132,7 километра должен был привести нас в застроенный симпатичными шале город Сестриер на французско-итальянской границе, и я точно знал, что думает пелотон: что меня надолго не хватит. К моей желтой майке они не питали ни малейшего уважения.

Я лидировал с преимуществом в 2 минуты 20 секунд, но в горах достаточно одного дня, чтобы потерять все. Я никогда не был выдающимся горняком, а теперь нам предстояло пройти самые ужасные и легендарные этапы гонки, взбираясь на вершины, которые раскалывают гонщиков, словно орехи. Я не сомневался, что соперники примутся упорно атаковать, но они не знали, каким специфическим образом и с каким упорством я готовился к этой части гонки. Пришло время им это показать.

Предстоящий этап потребует не только физической силы, но и тактического мастерства, поэтому мне придется полностью положиться на наших признанных горняков, Кевина Ливингстона и Тайлера Хэмилтона. В горах очень важно дать лидеру отсидеться за спинами товарищей по команде, поэтому Кевин и

Тайлер должны будут проделать основную часть изнурительной работы, поднимаясь в гору впереди меня, чтобы я смог сохранить энергию для последнего затяжного подъема на въезде в Сестриер, где остальные гонщики обязательно постараются сорвать с меня желтую майку.

Пару слов о тактике отражения атаки: в числе гонщиков есть несколько особо опасных, вроде швейцарца Алекса Цулле и испанца Фернандо Эскартина, которые в течение всей гонки наступали мне на пятки. Если один из них, скажем Цулле попробует уйти в отрыв, кто-нибудь из нашей команды «Postal», скажем Кевин, немедленно бросится за ним. Гонщик вроде Цулле способен оторваться и выиграть 2 минуты так быстро, что мы даже не заметим, как я перестану быть лидером в общем зачете.

Задача Кевина будет заключаться в том, чтобы пристроиться к Цулле и держаться прямо за ним, затрудняя Цулле подъем в гору. Это называется «сидеть на колесе». Пока Кевин будет сидеть у Цулле на колесе и гасить его скорость, остальные члены нашей команды поедут впереди меня и станут меня разгонять, помогая достать беглеца. Если в течение дня мы сумеем выдержать атаку главных конкурентов, это будет означать, что мы смогли удержать пелотон под контролем.

Мы не собирались бросаться вдогонку за каждым атакующим. Некоторые гонщики не представляли угрозы для общей победы, и нам не нужно было тратить энергию на преследование. В такие моменты товарищи по команде занимались только тем, что оберегали меня, закрывая со всех сторон и заботясь о том, чтобы мне не грозила никакая опасность. Если мне требовалась вода, то один из них отставал, чтобы дождаться техничку и взять там для меня новую флягу.

На трассе до Сестриера было три большие вершины. Первая называлась Телеграф (Col duTele-graphe), за ней следовала Галибье (Col du Galibier), самая высокая гора на всем маршруте «Тура», а после нее Монженевр (Col du Montgenevre). Напоследок нас ждал финишный подъем на въезде в Сестриер.

Большую часть пройденных в тот день 240 километров команда «Postal» работала как четко отлаженный механизм, безукоризненно перестраиваясь и контролируя ход гонки.

Испанец бросился в атаку с самого старта. Эскартин ушел в отрыв на Телеграфе, но мы решили пока сохранять спокойствие и не расходовать слишком много энергии заранее. Во время подъема на Галибье Кевин проделал фантастическую работу и довез меня до самой вершины, где было скользко и шел град. Я отсиживался за его спиной и по возможности старался его подбадривать. «Ты отлично держишься, — повторял я. — Эти

парни позади нас уже выдыхаются».

Мы спускались с Галибье по проложенной через сосновый лес дороге с большим количеством крутых разворотов на 180 градусов, которые мы называем шпильками. Позвольте описать этот спуск. Представьте, что вы сгорбились над рулем и, дрожа от холода, несетесь со скоростью 110 километров в час на двух шинах шириной чуть больше сантиметра. Прибавьте к этому крутые повороты, неровный, как на американских горках, Уклон, шпильки и туман. Потоки воды стекали по склону горы мне под колеса, и где-то позади упал Кевин. Он попытался надеть дождевик, но рукав затянуло в колесо. Он сумел подняться и продолжить гонку, но несколько следующих дней у него все болело и его лихорадило.

И вот перед нами выросла гора Монженевр — наш третий подъем за шесть часов. Дождь стал еще холоднее, а туман гуще. Мы то въезжали в стену дождя, то выныривали из нее. На вершине было так холодно, что капли воды замерзли у меня на воротнике. На спуске пошел град. Я оторвался от остальной команды, а атаки не прекращались, словно другие гонщики думали, что я готов сломаться в любой момент. Это меня разозлило. Слабые гонщики остались позади; они не в силах были больше поддерживать темп. Я оказался один против самых сильных горных гонщиков в мире и решил измотать их до такой степени, чтобы они не смогли дышать.

Единственным моим компаньоном был голос Йохана в наушнике. Он ехал позади в техничке. За рулем сидел Том Вайзель, руководитель команды.

На спуске с Монженевр Иван Готти и Фернандо Эскартин рискнули уйти в отрыв на развороте и выиграли 25 секунд. Я бросился в погоню во второй группе из пяти гонщиков.

Мы вышли на последний отрезок, длинный и тяжелый 30-километровый подъем, который тянулся до самого Сестриера. Каждый из нас просидел на велосипеде по пять с половиной часов, и все боролись из последних сил. С этого момента главным стал вопрос, кто сломается, а кто нет.

За 8 километров до финиша я отставал от лидеров на 32 секунды и застрял во второй группе из пяти гонщиков, которые упорно крутили педали в гору. Все остальные были признанными горняками, выходцами из разных стран, а самым лучшим из них был швейцарец Цулле, массивный и неутомимый детина, постоянно наступающий мне на пятки.

Пришла моя очередь уходить в отрыв.

На небольшом повороте я перестроился ближе к внутреннему краю дороги, встал на педалях и ускорился. Мой велосипед как

будто прыгнул вперед. Я чуть не въехал в спины мотоциклистов эскорта.

Наблюдавший за мной из технички Йохан с удивлением сказал: «Лэнс, есть просвет». И, помолчав, добавил: «Три метра».

Йохан проверил показания моего пульса по компьютерному датчику и увидел, с какой силой я работал, как сильно напряглось мое тело. Мой пульс поднялся до 180, но я не чувствовал усталости. Мне казалось, что я мчусь по ровной дороге, не испытывая никакого дискомфорта.

Он сказал: «Лэнс, просвет увеличивается».

Я буквально разрывал пространство перед собой.

За один километр я наверстал 21 секунду. Теперь отставание от лидеров составляло всего 11 секунд. Странно, но я все еще ничего не чувствовал. Я ехал… не прилагая усилий.

Шедшие впереди Эскартин и Готти начали оборачиваться. Я продолжал быстро сокращать разрыв. Я поравнялся с задним колесом Эскартина. Он повернул голову и недоверчиво взглянул на меня. Готти попытался увеличить скорость. Я обошел его и поравнялся с Эскартином.

Я еще немного поднажал, чуть-чуть увеличив темп. Я их испытывал, пытаясь определить состояние, настроение и возможную реакцию соперников.

Я вышел чуть-чуть вперед, ожидая, что будет. Я хотел проверить, насколько они устали.

Реакции не последовало.

— Ты впереди на корпус, — сообщил Йохан.

Я ускорился еще больше.

— Просвет в три корпуса, четыре корпуса, пять.

Иохан сделал паузу, а затем сказал как бы мимоходом: «Почему бы тебе не прибавить еще немного?»

Я прибавил.

— Двенадцать метров, — сказал он.

Когда ты увеличиваешь просвет, а твои соперники не реагируют, это о чем-то говорит. У них больше нет сил. А когда у них нет сил, ты делаешь с ними, что хочешь.

До финиша оставалось чуть больше 6 километров. Я жал на педали.

— Ты выигрываешь 30 секунд, — сообщил Иохан. Его голос явно повеселел.

У меня в ухе продолжал раздаваться голос Иохана, который комментировал мой прогресс. Теперь он сообщил, что Цулле бросился за мной вдогонку — Цулле, всегда этот Цулле.

— А знаешь, ведь я еще только собираюсь делать рывок, — сказал я в свой микрофон. — Я им покажу, кто чего стоит.

В номере итальянской гостиницы Кик сидела, не сводя глаз с телеэкрана. Когда я поднялся с седла и рванул вперед, она вскочила с кресла: «Давай, жми!»

Немного позже в тот же день моя мать, сидя дома в Плано, смотрела трансляцию в записи. Из — за разницы в часовых поясах она еще не знала, чем все закончилось. «Только посмотрите! — закричала она. — Как он рванул! Он их обошел!»

Я жал на педали так, что велосипед мотался подо мной из стороны в сторону, а плечи от усталости начали двигаться вверх-вниз вместе с ногами. Я ощутил, как нарастает изнеможение, и уже всем телом старался толкать велосипед вперед. Отчаянно пытаясь вдохнуть хоть немного лишнего воздуха, я раздувал ноздри и оскаливал зубы.

До финиша было еще далеко, и я боялся, что Цулле меня достанет. Но все же мне удавалось удерживать ритм.

Я оглянулся через плечо, почти ожидая увидеть Цулле у себя на колесе.

Там никого не было.

Я снова посмотрел вперед. Теперь я уже мог разглядеть линию финиша — до самого конца пути Дорога шла на подъем. Я устремился к вершине холма.

Думал ли я о раке, когда преодолевал те последние сотни метров? Нет. Сказать так было бы неправдой. Но мне кажется, что моими действиями, прямо или косвенно, управляли все события последних двух лет: борьба с раком, неверие других спортсменов в возможность моего возвращения, все, через что мне пришлось пройти, все, что накопилось и отложилось в глубине души. То ли все это заставило меня двигаться быстрее, то ли помешало им выложиться и догнать меня, я не знаю.

Продолжая взбираться на подъем, я чувствовал боль во всем теле, но испытывал огромное ликование от того, что смог сделать с этим телом. Крутить педали из последних сил тяжело. Но это совсем не то, что лежать на больничной койке с торчащим из груди катетером, когда твои вены сжигает платина и когда тебя выворачивает наизнанку 24 часа в сутки пять дней в неделю.

Я пересек финиш с поднятыми вверх РУкАми высоко поднятой головой.

А потом я закрыл ладонями лицо, не в силах поверить в победу.

Моя жена сидела напротив телевизора в своем гостиничном номере в Италии И плакала.

Позднее в тот же день в Индианаполисе Хэйни, весь персонал медицинского центра, и все пациенты в палате побросали все свои Дела, чтобы посмотреть по телевизору записанный

Репортаж.

Когда я начал подниматься в гору, наращивая преимущество, они не могли оторваться от экранов.

«Он сделал это, — сказала Латрис. — Он добился своего. У него все получилось».

После Сестриера я лидировал в «Тур де Франс» с отрывом в 6 минут 3 секунды.

Когда едешь через горы, то самих гор практически не видишь. У тебя нет времени любоваться видами величественных утесов, пропастей и уступов по обеим сторонам дороги, неясными очертаниями скал, ледников и пиков, спускающихся к изумрудным пастбищам. Единственное, что ты видишь, — это дорогу перед собой и гонщиков позади себя, потому что лидерство в горах — штука небезопасная.

На следующее утро после Сестриера я встал рано и позавтракал вместе с командой. Каждую неделю мы съедали 25 пачек сухих смесей и сотни яиц. Сначала я положил немного мюслей, затем съел яичницу из трех или четырех яиц, а потом забросил в желудок немного макарон. Впереди меня ждал еще один долгий, тяжелый день езды по горам, и мне нужен был каждый грамм насыщенных энергией углеводов, который я только мог найти. Нам предстоял этап до Альп д'Юэз (Alpe d'Huez), который таил в себе столько же загадок, сколько любой другой в «Туре». Нас ожидал 1000-метровый подъем длиной больше 14 километров, с градиентом в 9 градусов. Извилистый подъем включал 21 коварную шпильку и был похож: на бесконечную трассу американских горок, ведущую к вершине. Изматывающий подъем сменялся леденящим душу

спуском, а дорога в некоторых местах была не шире велосипедного руля. Кстати, в начале 1900-х, когда в «Тур» впервые были включены горные этапы, один из гонщиков, завершивших дистанцию на своем тяжелом и громоздком агрегате, повернулся к столпившимся у обочины организаторам и заорал: «Вы все убийцы!»

На Альп д'Юэз я намеревался избегать любых осложнений. Мне не нужно было атаковать, как на Сестриере, достаточно было просто держать под контролем главных соперников: Абрахам Олано отставал на 6 минут 3 секунды, а Алекс Цулле шел четвертым, проигрывая мне 7 минут 47 секунд. Фернандо Эскартин занимал восьмую позицию, уступая мне 9 минут. Задача дня заключалась в том, чтобы сохранить лидерство и не растерять преимущество, выигранное в Сестриере.

Мы доехали до подножия Альп д'Юэз. Я хотел, чтобы вся команда знала, что я в хорошей форме, потому что на тяжелых

подъемах моральное состояние имеет для гонщиков решающее значение. У всех нас были наушники и двусторонняя радиосвязь, поэтому я знал, что меня слышат все.

— Эй, Йохан, — сказал я.

— Да, Лэнс, — отозвался он, по обыкновению, без эмоций.

— Я смог бы заехать на эту горку на трехколесном велосипеде. Это мне раз плюнуть.

В наушнике прозвучало приглушенное хмыканье. Мы сразу зарядили высокий темп, чтобы охладить рвение атакующих и свести к минимуму число гонщиков, способных бросить нам вызов. Первым меня повез в гору Тайлер Хэмилтон. Я сел ему на колесо и все время что-нибудь говорил прямо в ухо. Мы обогнали Олано. Иохан вышел на связь и сообщил: «Олано отвалился. Отличная работа». К нам приблизился Мануэль Белтран, один из партнеров Цулле. Я прокричал Тайлеру: «Неужели ты дашь Белтрану себя обойти?»

Нам оставалось проехать 10 километров, около 30 минут работы, строго в гору. Внезапно нас нагнали Эскартин и его товарищ по команде, Карлос Контрерас, ускорившиеся на подъеме. Следом за ними атаковал Павел Тонков из команды Тома Стеел — са. Тайлер выдохся. У него не осталось сил, и мне пришлось преследовать Тонкова самому. После него появился Цулле, которого тащил за собой Белтран, а мне на колесо пристроился француз Ришар Виранк. Все они дружно пытались меня тормознуть.

Но я не чувствовал усталости. Все их действия меня устраивали, поскольку, пока я оставался с ними, никто из них не мог отыграть у меня много времени. Я продолжал идти четвертым, зорко следя за развитием событий. До вершины оставалось 4 километра, около 6,5 минуты насилия над организмом. В отрыв пошел итальянец, Джузеппе Герини, титулованный гонщик, дважды пришедший третьим на «Туре Италии». Но Герини отставал от меня на 15 минут, и мне не нужно было принимать его в расчет. Я его отпустил. Тем временем наконец-то сломался Цулле. У него не было сил поддерживать взятый темп.

Герини набрал 20 секунд преимущества, а затем произошло невероятное — он врезался в зрителя. Зрители целыми днями играли с огнем, перебегая дорогу перед пелотоном, и вот какой-то экзальтированный фанат выскочил на середину дороги и принялся щелкать фотоаппаратом. Пытаясь его объехать, Герини дернулся в одну сторону, потом в другую, а в итоге зацепил его рулем и вылетел из седла. Подобные ситуации типичны для «Тура» и доказывают, что лидера всегда подстерегают опасности.

Герини, сумевший избежать травмы, вскочил на ноги, сел на велосипед и поехал дальше, но теперь ему в затылок дышал Тонков. К счастью, Герини сумел пересечь линию финиша первым и стать победителем этапа.

Я пришел пятым. Мое преимущество над Олано увеличилось до 7:42. Цулле, несмотря на все усилия, смог наверстать всего несколько секунд и теперь уступал мне 7:47.

Для «Тур де Франс» это был вполне обычный день.

В Альпах я нажил себе новых врагов. Мои подвиги в горах вызвали подозрение у французских журналистов, которым, похоже, понравилось пить кровь спортсменов во время прошлогоднего скандала. Поползли упорные слухи о том, что «Армстронг сидит на допинге». Авторы статей в «L'Equipe» и «Le Monde» намекали, ничего прямо не утверждая, что мое возвращение выглядело слишком уж сверхъестественным.

Я ожидал, что Сестриер мне даром не пройдет — у прессы уже почти вошло в привычку превращать каждого гонщика в желтой майке в объект допинговых спекуляций. Однако меня поразила невероятность обвинений, прозвучавших во французской прессе: некоторые репортеры намекали на то, что своими успехами я обязан химиотерапии. Ош додумались даже до того, что в ходе лечения мне давали какие-то таинственные препараты, повышающие работоспособность. Любой онколог в любой стране мира мог бы только посмеяться над глупостью такого предположения.

Это было выше моего понимания. Как можно хотя бы на секунду подумать, что мне помогли противораковые препараты? Неужели никто, кроме больных раком, не способен понять всей мучительности лечения? Три месяца подряд меня пичкали самыми токсичными из всех известных человеку веществ, ядами, которые изо дня в день разрушали мое тело. Я все еще ощущал последствия отравления — и даже сейчас, через три года после выздоровления, чувствую, что эти яды до сих пор еще не вышли полностью из моего тела.

Мне было абсолютно нечего скрывать, и допинг-пробы это подтвердили. Не случайно каждый раз, когда организаторы «Тура» выбирали из нашей команды гонщика для выборочной проверки, их человеком становился я. Допинг проба — это самая унизительная процедура во всем регламенте «Тура»: сразу же после завершения этапа меня отводили в открытую палатку, где нужно было сидеть на стуле и ждать, пока врач перетянет мне руКу резиновой трубкой, воткнет иголку и возьмет кровь на анализ. Все это время толпа фотОГрафов наводила на меня свои камеры. Врачей из допинговой службы мы называли вампирами.

«Вставай за тобой вампиры пришли», — говорили мНе ребята. Однако допинг-пробы сослужили мне хорошую службу, поскольку доказали, что я чист, у меня постоянно брали пробы, делали анализу и снова брали пробы.

Выступая перед репортерами, я сказал: «Моя жизнь, моя болезнь и моя карьера открыты для всех». На мой взгляд, это должно было положить конец любым инсинуациям. Моя победа в Сестриере не таила в себе ничего загадочного: я ее заслужил. Я похудел, настроился и подготовился. Меня устраивал как градиент подъема, так и погодные условия — холод, сырость, дождь. Если в моей работоспособности и было что-нибудь необычное, так это только ощущение отстраненной легкости, с которым я в тот день крутил педали, но, мне кажется, его вполне можно объяснить радостью от осознания того факта, что я жив и способен принять участие в штурме этого Подъема. Однако представителей прессы такое объяснение не удовлетворило, и я решил на несколько дней отказаться от общения с ними.

Тем временем одетая в синюю форму команда «U. S. Postal» неслась вперед, как курьерский поезд. Один за другим мы преодолевали переходные этапы между Альпами и Пиренеями, пересекая равнинную область, которая называется Центральный массив. Это была довольно необычная местность — не то чтобы гористая и не то чтобы плоская, но в целом достаточно холмистая, чтобы постоянно не давать нашим ногам покоя. Мы направлялись на юг, к Пиренеям, по дорогам, проложенным через волнующееся море подсолнухов.

На дистанции шла ожесточенная борьба; мы только и делали, что гнали вверх и вниз по холмам, отбивая постоянные атаки. На всем маршруте не было ни одного места, где можно было расслабиться и отдохнуть; гонщики налетали на нас со всех сторон. Мы как-то умудрялись удерживать большинство из них и контролировать пелотон, но жаркая погода еще больше увеличивала напряжение гонки. Солнце палило так, что местами дорожное покрытие плавилось под колесами.

Фрэнки, Джордж, Кристиан, Кевин и Питер работали больше всех. Фрэнки начинал разгон на подъемах, задавая максимальный темп и отсекая других гонщиков. Когда Фрэнки выдыхался, вперед выходил Джордж — и еще несколько гонщиков прижимались к обочине, не в силах выдержать нашу скорость. Затем наступала очередь Тайлера, который еще сильнее взвинчивал темп, сбрасывая еще больше соперников. И в конце концов меня оставляли на попечение Кевина, который втаскивал меня на крутые подъемы. Так мы разделывались с основной массой конкурентов.

Атаки продолжались каждый день. Другие гонщики все еще чувствовали, что мы можем дать слабину, и были решительно намерены нас дожать. Мы выехали на отрезок, который назывался Homme Mort (что значит Подъем Мертвеца), — длинную цепь холмов, которые тянулись на многие километры. То и дело кто-то уходил в отрыв, а силы наших ребят были на пределе: Питер Мейнерт — Нильсен серьезно повредил колено, Кевин еще не избавился от простуды, вызванной перепадами температур в Альпах, Фрэнки и Джордж были измотаны непосильными нагрузками. У всех болели стопы, которые на такой жаре сильно распухали в велотуфлях. Внезапно в отрыв ушла группа из 30 человек, и нам пришлось их догонять. Во мне проснулась старая натура — я рванул за ними. Я не стал ждать Тайлера, Фрэнки или когонибудь еще, а просто нажал на педали. Догнав беглецов, я поехал впереди группы, один. Затем щелкнуло радио, и я услышал крик Кевина: «Черт возьми, что ты делаешь?» Я поддался самой пагубной из моих старых привычек — бессмысленно ускоряться и тратить энергию. «Аучше бы тебе сбавить обороты, — предупредил меня Кевин. — Без тебя есть кому этим заниматься».

Я опустился на седло, сказал: «Ладно» — и отошел в тень, чтобы сохранить силы, пока остальные гонщики команды «Postal» разберутся с беглецами. О чем я думал, крутя педали по шесть-семь часов подряд? Мне все время задают этот вопрос, а в моем ответе нет ничего особенно интересного. Я думал о гонке. Мои мысли не блуждали где-то далеко. Я не грезил наяву. Я думал о технике прохождения разных этапов. Я снова и снова повторял себе, что в такой гонке я смогу остаться лидером, только если буду постоянно напрягать все силы. Я боялся упустить лидерство. Я внимательно следил за соперниками, которые могли в любую минуту попытаться организовать отрыв. Я постоянно оценивал обстановку, опасаясь столкновений.

За пять похожих друг на друга дней и ночей мы проехали всю Центральную Францию до Пиренеев, из Сент-Этьена через Сен-Гальмьер, Сен-Флур, Альби, Кастре в Сент-Годан. Тринадцатый этап был самым длинным в «Туре» и самым тяжелым; на нем было семь подъемов и ни одного ровного участка. Фрэнки сказал, что профиль этапа похож: на зубья пилы, и наши ощущения на трассе подтвердили его правоту. Питер Мейнерт — Нильсен не выдержал болей в колене и снялся.

Некоторые из гостиниц поражали своими крошечными размерами. Фрэнки пожаловался, что, когда он сидит на унитазе, его колени упираются в дверь ванной. Джордж, которого селили в одной комнате с Фрэнки, заявил, что они не могут одновременно

открыть свои чемоданы.

В пути нас постоянно мучили голод и жажда. Мы перекусывали булочками, пирожками, овсяным печеньем с изюмом, питательными батончиками или любыми другими простыми углеводами. Мы глотали утоляющие жажду подсахаренные напитки, днем «Cytomax», а ближе к вечеру «Metabol».

Вечерами, ужиная за общим столом, мы несли всякую чушь, вспоминали бородатые анекдоты и хвастались победами на любовном фронте, 99 процентов из которых были вымышленными. Особенно нам нравились рассказы нашего повара, Вилли Балмета, 65-летнего швейцарца и всеобщего любимца, который готовил еду для всех команд, в которых я выступал. Вилли выглядит гораздо моложе своих лет и может разговаривать на шести языках, исключая разве что суахили. Кухня — это его вотчина, и за все годы нашего знакомства не было случая, чтобы его не пустили на кухню в гостинице. Он приезжает туда и заставляет гостиничный персонал почувствовать себя частью нашей команды. Макароны для нас готовит только он; никого другого к этой работе не подпускают.

Пока я ехал, Кик ставила свечки по всей Европе. В каждой деревушке и каждой столице она обязательно находила церковь и ставила свечку. В Риме она поставила свечку в Ватикане.

Наконец мы добрались до Пиренеев.

Мы подъезжали к расположенному в тени гор Сент-Годану по сельской местности, запечатленной на картинах Ван Гога. Пиренеи будут для горных гонщиков последним шансом отобрать у меня победу: один неудачный день в этих горах может стоить победы в гонке. Я не поверю в то, что смогу выиграть «Тур де Франс», пока мы не спустимся с этих гор на равнину.

Напряжение неуклонно нарастало. Я знал, что значит ехать в команде и быть пятьдесят пятым на финише «Тур де Франс», но желтая майка лидера была для меня совершенно новым опытом и предполагала совсем другой накал конкуренции. Я начал понимать, что, когда на тебе желтая майка, ветер дует в лицо очень сильно. Каждый день коллеги испытывали меня на трассе. Кроме того, меня ждали испытания вне трассы, так как пресса перемывала мои косточки с нарастающим усердием.

Я решил раз и навсегда покончить с обвинениями и провел пресс-конференцию в Сент-Годане. «Я знаю, что значит быть на волосок от смерти, и я не дурак», — заявил я. Всем известно, что прием эритропоэтина и стероидов здоровыми людьми чреват расстройством системы кровообращения и инсультом. Больше того, я сказал журналистам, что моей победе в Сестриере не

следует так сильно удивляться; в конце концов, однажды я уже был чемпионом мира.

«Я со всей ответственностью заявляю, что не применяю никаких запрещенных препаратов, — сказал я. — Мне казалось, что моя история и мое состояние здоровья не вызовут такого пристального интереса. Я не новичок в спорте. Я знал, что вы будете следить, вынюхивать и рыть землю, но ничего не найдете. Тут просто нечего искать… А поскольку все уже достаточно покопались в моем белье и, как профессионалы, должны понимать, что без конца писать чушь невозможно, то всем наконец станет ясно, что они имеют дело с честным человеком».

Все, что я мог сделать, — это ехать дальше, сдавать пробы на допинг и отвечать на вопросы. Мы добрались до первого этапа в Пиренеях, от СентГодана до Пьо-Ангали, где нас ожидали семь горных вершин. Именно в этих местах я тренировался весной, когда было так холодно, но теперь, когда мы одолевали один крутой подъем за другим, было пыльно, жарко и гонщики вымаливали друг у друга глоток воды. Спуски были крутыми и опасными, с крутыми обрывами вдоль дороги.

Финиш этапа располагался рядом с испанской границей, а это значило, что все испанские гонщики постараются его выиграть — а больше всех Эскартин, жилистый спринтер с орлиным профилем, который не отпускал меня ни на секунду. В самой середине этой неистовой гонки нашу группу «Postal» разорвали, и мне пришлось преследовать Эскартина в одиночку. Он крутил педали, как зверь. Я мог надеяться лишь на то, что смогу ограничить его выигрыш во времени.

Когда горы расступились перед предпоследним подъемом, мне удалось сбросить с колеса Цулле и переместиться на вторую позицию. Но догнать Эскартина, который выигрывал 2 минуты, надежды было мало. На последнем подъеме я выбился из сил и смирился. Я почти ничего не ел с самого завтрака. Я отвалился от лидеров и финишировал четвертым. Эскартин стал победителем этапа и переместился на второе место в генеральной классификации, уступая мне 6:19. Цулле отставал от меня на 7:26.

Вскоре после того, как я пересек финишную линию, ко мне подошел один французский журналист: появились слухи, что одна из моих допинг-проб оказалась положительной. Само собой, это была утка. Я пришел в гостиницу, прорвался через толпу крикливых репортеров и созвал еще одну пресс-конференцию. Все, что я мог делать, — это объявлять о своей невиновности каждый раз, когда газеты поднимали новую волну спекуляций, — а это происходило каждые три-четыре дня.

«Le Monde» опубликовала статью, где говорилось, что проба на допинг показала в моей моче следы кортикостероидов. Я пользовался кортизоновым кремом для обработки потертостей от седла — и этот крем я, как положено, предъявил организаторам «Тура» еще до начала гонки. Организаторы немедленно выпустили бюллетень, подтверждающий мою невиновность. «Le Monde» хотела устроить новое допинговое разоблачение и поэтому прицепилась к крему для кожи».

Нескончаемые нападки прессы расстроили и деморализовали меня. Я потратил столько сил и заплатил такую высокую цену, чтобы вернуться в спорт, а теперь все эти усилия могли пойти прахом. Я пытался бороться со слухами честно и открыто, но, похоже, ничего из этого не вышло.

Я начал кое-что замечать. Люди, которые шептались и писали о том, что я использую допинг, были теми же самыми людьми, которые во время моей болезни говорили: «Ему конец. Он больше никогда не сядет на велосипед». Это были те же самые люди, которые, когда я хотел вернуться, сказали: «Нет, мы не собираемся давать ему шанс. Он никогда ничего больше не покажет».

А теперь, когда я был лидером «Тур де Франс», ехал в желтой майке и все ближе подбирался к победе, эти же самые люди взялись за старое. «Это невозможно, — говорили они. — Так не бывает. Он не мог этого добиться. Что-то тут не то. Должно быть какое-то другое объяснение. Слишком это все подозрительно». Все эти пессимисты упорно гнули свою линию.

Хорошо, что я не послушал их, когда болел. Особенно больно мне было видеть, с каким подозрением относятся ко мне французские журналисты. Я жил во Франции и любил эту страну. После прошлогодних скандалов на «Туре» некоторые ведущие гонщики предпочли в 1999 году вообще не показываться во Франции, но я этого не сделал. В то время как другие боялись надоедливого внимания полиции и проверок со стороны официальных властей, я тренировался там каждый день. Во Франции, как нигде в мире, можно было «залететь» на использовании стимуляторов, но все свои весенние старты я провел во Франции и к «Туру» готовился тоже там. По французским законам местная полиция могла ворваться в мой дом в любое время. Им не нужно было спрашивать разрешения или стучаться. Они могли рыться в ящиках моего стола, обшаривать мои карманы, обыскивать мою машину и делать все, что им захочется, без какого-либо ордера или разрешения.

Я сказал журналистам: «Я живу во Франции. Весь май и июнь я выступал и тренировался во Франции. Если бы я пытался что-то

скрыть, то уехал бы в другую страну».

Но этого они не написали и не напечатали.

На следующий день мы штурмовали, возможно, самую легендарную гору на трассе «Тура» — Турмале (Col du Tourmalet). Дорога к вершине представляла собой подъем длиной более 14 километров. Это был наш последний большой подъем проверка сил. Мы знали, что и на этот раз станем объектом непрестанных атак. К этому моменту наг уже надоело ехать первыми, закрывая от ветра тех, кто преследует нас сзади. Но если мы сумеем удержать под контролем еще один день в горах, нас будет трудно лишить высшей ступеньки пьедестала Париже.

Как только мы доехали до подъема на Турмале, другие гонщики принялись наступать нам на пятки. Мы держали высокий темп, стараясь ослабить атакующих, и за 8 километров до вершины начали ускоряться. Французский горный король, Виранк, поравнялся с Кевином и сердито поинтересовался: «У тебя что, с головой не в порядке?» Кевин ответил, что у него все в порядке. Тогда Виранк спросил у Кевина, может, тот собрался идти «a block», то есть ва-банк. Кевин ответил: «Нет, может, это тебе пора пойти a block?» С этими словами Кевин переключился на более высокую передачу и оставил его позади. Всю остальную часть дня Виранк преследовал нас, кипя от злости.

Пока дорога шла в гору, Эскартин и я следовали друг за другом, как нитка за иголкой. Я внимательно следил за каждым его движением. На самом крутом участке он пошел в атаку. Я сразу же сел ему на колесо — то же самое сделал Цулле. На перевал мы въехали втроем, организовав что-то вроде персональной гонки. Оказавшись на верхушке горы, мы взглянули на расстилавшийся внизу плотный ковер облаков. На спуске вокруг нас сомкнулся туман, и дальше 3 метров мы уже ничего не видели. Погоня на высокой скорости по горной дороге в тумане, без ограждений — это, скажу я вам, занятие не для слабонервных.

Теперь моя главная задача заключалась в том, чтобы удержать главных соперников либо рядом, либо позади себя. Впереди замаячил второй подъем- Сулор (Col duSoulor). Эскартин атаковал снова, и я снова сумел усидеть у него на колесе. Мы преодолели еще одну окутанную туманом вершину, и теперь на трассе «Тур де Франс» осталась всего одна гора — Обиск (Col d'Aubisque), 7,5 километра крутого подъема. После Обиска нам останется только спуститься к финишу на скоростях, достигающих 110 километров в час.

Теперь впереди шла группа из трех человек, которые боролись за победу на этапе, а еще девять следовали за ними, проигрывая минуту и все еще надеясь занять место на подиуме.

Среди последних были я, Эскартин и Цулле. Мне победа на этапе была не нужна. За 4 километра до финиша я решил обезопасить себя и позволить остальным решить исход этапа в спринте, а самому постараться избежать столкновений. У меня была только одна цель — отстоять желтую майку.

Я пересек линию финиша и спешился, основательно измученный, но довольный тем, что сохранил лидерство. Однако после пяти часов, проведенных на велосипеде, мне предстояло выдержать 2-часовую пресс-конференцию. Мне начало казаться, что пресса пытается сломить меня психологически и совершить то, чего соперники не смогли сделать физически. СМИ стали для меня таким же тяжелым испытанием, как рельеф трассы.

В тот день Международный союз велосипедистов обнародовал результаты всех моих допинг — анализов, которые, разумеется, оказались чистыми. Больше того, я получил бесценную поддержку со стороны организатора гонки, Жана-Мари Леблан-ка. «Победа Армстронга над болезнью вселяет в нас надежду на то, что «Тур» сумеет победить свою собственную болезнь», — сказал он.

Каким- то образом нам удалось отразить все атаки как на трассе, так и в стороне от нее, а также сохранить на моих плечах желтую майку. Мы выполнили задачу, победили в горах, и после трех недель и 3500 километров пути я лидировал в гонке с общим временем 86:46:20. На втором месте, с отставанием в 6 минут 15 секунд, шел Эскартин, а на третьем, уступая мне 7 минут 28 секунд, — Алекс Цулле.

Вожделенная для многих maillot jaune попрежнему оставалась на мне.

Как ни странно, но по мере приближения к Парижу я нервничал все больше и больше. Каждую ночь я просыпался в холодном поту и уже начал бояться, что моя болезнь вернулась снова. Так сильно я не потел, даже когда лежал в больнице. Я пытался убедить себя, что желание жить значит для меня намного больше, чем желание победить в «Тур де Франс», но к тому времени оба этих желания слились для меня в одно.

Я был не единственным человеком в команде, который так сильно нервничал. Наш главный механик боялся настолько сильно, что по ночам держал мой велосипед в своем гостиничном номере. Он не хотел оставлять его в фургоне, где тот мог стать легкой жертвой саботажа. Кто знает, на какие нелепые действия может решиться тот, что захочет лишить меня победы? В конце 17-го этапа, длинной ровной трассы до Бордо, какой-то псих прыснул в пелотон из баллончика со слезоточивым газом, и несколько гонщиков вынуждены были остановиться на обочине

из-за сильных приступов рвоты.

Кроме того, существовала еще одна совершенно реальная угроза, способная помешать мне одержать победу в «Туре», — несчастный случай. Впереди меня ожидало последнее испытание — индивидуальная гонка на 57 километров во французском аналоге «Диснейленда», парке «Футюроскоп». В индивидуальной разделке могло произойти что-нибудь очень, очень плохое. Я мог упасть и сломать ключицу или ногу.

Я хотел обязательно выиграть разделку. Я хотел сказать свое последнее слово на дистанции, чтобы показать и журналистам, и распространителям слухов, что мне наплевать на все, что они обо мне говорят. Я покончил с пресс-конференциями (однако не с допинг-пробами; после 17-го этапа меня снова включили в список выборочной проверки). Попытка выиграть разделку была рискованной, потому что гонщики, которые стараются показать лучшее время, склонны принимать авантюрные решения, а это может привести к травмам — порой настолько серьезным, что приходится распрощаться с велосипедом.

Таких примеров сколько угодно. Вспомните, что произошло с Бобби Джуличем в Метце, когда он упал на скорости 75 километров в час и получил обширные гематомы грудной клетки. В тот раз я сам чуть не упал, когда передо мной на крутом повороте на дорогу выбежал ребенок. На Альп д'Юэз зритель выскочил прямо перед Герини, и тот тоже упал. Цулле отставал бы от меня всего на минуту, если бы не попал в завал на Пассаж-дю-Гуа.

Вечером перед этапом ко мне в номер пришел Билл Стэплтон.

— Лэнс, я не тренер, но я считаю, что тебе не следует слишком напрягаться, — сказал он. — Тебе есть что терять. Будет лучше, если ты просто отбудешь номер. Не делай никаких глупостей.

Вести себя по-умному означало не допустить серьезных ошибок, не упасть, не получить травму и не потерять 10 минут в результате падения.

Мне было все равно.

— Билл, кому, по-твоему, ты все это говоришь?

— А в чем дело?

— Завтра я собираюсь рвать жилы изо всех сил.

Я собираюсь выжать из себя все. Я собираюсь показать, кто король этой гонки.

— Ладно, — покорно согласился Билл. — Значит, как я понимаю, этот вопрос обсуждению не подлежит.

Я ехал в желтой майке от самого Метца и не собирался с ней расставаться. Наша команда показала себя идеальным

механизмом, но теперь я хотел выиграть сам. Только троим гонщикам удавалось выиграть все разделки на «Туре», и это были величайшие гонщики всех времен: Бернар Ино, Эдди Мерке и Мигель Индурайн. Я хотел доказать, что на этой гонке самый сильный человек — я.

Мне не давали уснуть. Сначала ко мне в номер заявился Скотт Макичерн из команды «Nike» потом вернулся Стэплтон. Иохан просунул голову в дверь и увидел Скотта, который разлегся на моей кровати, в то время как я все еще был на ногах. Иохан посмотрел на часы — было 23:30. «Гони этих парней вон и ложись спать», — приказал он мне.

В «Футюроскоп» прилетела моя мать, и я договорился, чтобы ее взяли в одну из машин сопровождения. Она хотела своими глазами увидеть гонку на время, поскольку в ней проснулся старый защитный инстинкт: ей казалось, что своим присутствием она убережет меня от беды. Равнинные разделки пугали ее не меньше, чем самые сложные горные этапы, потому что она достаточно хорошо разбиралась в велосипедном спорте, чтобы понимать, как легко я могу упасть, и знала, что в этот предпоследний день «Тура» мне суждено получить все или ничего. Любой исход решит мою судьбу раз и навсегда. Именно поэтому она считала своим долгом быть рядом.

Индивидуальная гонка на время — это борьба человека один на один со стрелкой секундомера. Трасса, которая потребует примерно 1 часа 15 минут напряжения всех сил, представляла собой большую петлю длиной чуть больше 5 7 километров, проложенную в западной части Центральной Франции по дорогам, окаймленным домами с красными черепичными крышами и полями коричневато-золотистой травы, где зрители расположатся на кушетках и в шезлонгах. Я, правда, не увижу почти ничего из этих живописных декораций, потому что большую часть времени проведу в аэродинамической позе.

Гонщики стартовали в обратном порядке, а это означало, что я поеду последним. Чтобы подготовиться, я поставил свой велосипед на станок и опробовал все передачи, которые рассчитывал использовать на дистанции.

Пока я разминался, стартовал Тайлер Хэмилтон. Его задача состояла в том, чтобы ехать как можно быстрее, невзирая на риск, и поставлять техническую информацию, которая может мне пригодиться. Тайлер проехал не просто быстро, но даже стал лидером и продержался почти до конца дня. Сместить его с первого места смог только Цулле, который прошел дистанцию за 1 час 8 минут и 26 секунд.

Настала моя очередь. Я вылетел из стартовой зоны и

помчался по извилистым улочкам. Впереди меня ехал Эскартин, стартовавший на 3 минуты раньше.

Сложившись пополам, я пронесся мимо него по окаймленной деревьями и высокой травой дороге.

Я был настолько занят собственной борьбой за секунды, что даже не взглянул на него.

Я показал самое быстрое время на первых двух контрольных точках. Я шел так быстро, что у моей матери, которая ехала в машине сопровождения, откидывалась назад голова от перегрузок на крутых поворотах.

После третьей отсечки я все еще лидировал с результатом 50:55. Вопрос был в том, смогу ли я выдержать темп на заключительном отрезке дистанции.

За 6 километров до финиша я опережал Цулле на 20 секунд. Но тут пришло время заплатить за все. Я заплатил за горы, заплатил за американские горки холмов, заплатил за равнины. Я терял время и чувствовал это. Если я обойду Цулле, то всего лишь на несколько секунд. Два последних плавных поворота я прошел стоя на педалях. Я ускорялся и шел по внутреннему радиусу, стараясь не упасть, но при этом максимально прижаться к краю дороги, — и чуть не наскочил на бордюр и не выскочил на тротуар.

Финишный отрезок проходил по шоссе. Я оскалил зубы, считая секунды и нажимая на педали. Все, линия финиша позади. Я проверил время. 1:08:17.

Я выиграл 9 секунд.

Я въехал в огороженную зону, нажал на тормоза и свалился с велосипеда, не в силах разогнуться.

Я выиграл этап и выиграл «Тур де Франс». Теперь я был в этом уверен. Моим ближайшим соперником в генеральной классификации оказался Цулле, который уступал мне 7 минут 37 секунд, а на последнем этапе до Парижа такое время отыграть невозможно.

Я приблизился к концу пути. Но путей в действительности было два: тот, который привел меня на «Тур», и путь самого «Тура». Вначале был пролог, эмоциональный подъем и первая неделя, небогатая событиями, но безопасная. Затем я испытал странное ощущение бестелесности в Метце и Сестриере, за которым последовали деморализующие нападки прессы. И вот победный финиш, а вместе с ним — сладостное ощущение торжества справедливости. Я въеду в Париж в желтой майке.

Когда я поднимался на подиум, моя мать хлопала в ладоши, размахивала флагом и утирала слезы. Перед этапом я ее не видел, но сразу после финиша обнял, а затем повел обедать. Она

сказала: «Ты просто представить себе не можешь, что сейчас творится дома. Я знаю, тебе трудно это понять, да и вообще сейчас не до этого. Но в Штатах люди буквально с ума посходили. Я в жизни ничего подобного не видела».

После обеда мы вернулись в гостиницу, холл которой был битком набит репортерами. Мы протолкались через толпу в мой номер, и один из французских журналистов попытался взять интервью у моей матери.

— Мы можем поговорить? — спросил он.

Я повернул голову и сказал:

— Она не разговаривает с французской прессой.

Но настырный парень продолжал задавать ей вопросы.

— Оставьте ее в покое, — сказал я. Я обхватил ее рукой за талию и повел через толпу в свой номер.

Правда, к вечеру у меня появилась возможность представить, что творилось дома, в Штатах. Сначала в гостиницу пришел репортер из журнала «People» и попросил интервью. Затем в наш отель один за другим повалили спонсоры, желающие пожать мне руку и засвидетельствовать почтение. Из-за океана начали прибывать друзья, которые успели вскочить на последние рейсы накануне вечером. Билл Стэплтон пригласил меня на ужин и рассказал, что все утренние и вечерние телепрограммы желали заполучить меня в качестве гостя. По его мнению, после завершения «Тура» мне следовало хотя бы на один день слетать в Штаты, чтобы дать несколько интервью на разных телеканалах.

Но по традиции победитель «Тура» сначала должен появиться на ряде европейских гонок, чтобы продемонстрировать свою желтую майку, и я хотел соблюсти эту традицию.

— Об этом не может быть и речи, — сказал я.-

Я останусь тут, чтобы выступить в этих гонках.

— Ладно, хорошо, — согласился Билл. — Отлично.

— А что, по-твоему, я не прав?

— По-моему, ты полный идиот.

— Почему?

— Потому, что ты понятия не имеешь, что там про

исходит и насколько это важно. Но ничего, еще поймешь. В тот день, когда все это кончится, ты не сможешь спрятаться. Тебя хочет видеть вся Америка.

Компания «Nike» хотела, чтобы я провел прессконференцию в Нью-Йорке в их гипермаркете. Они уже пригласили на нее мэра и Дональда Трампа. Жители Остина собирались организовать в мою честь парад. «Nike» предложила отвести меня в Штаты на частном самолете и привезти обратно в Европу в течение одного дня, чтобы потом я смог принять участие в гонках. Я был

ошеломлен. Я уже много лет выигрывал велогонки, но тогда ни одного человека в Америке это не волновало.

Теперь это волновало всех.

Но все же какая-то часть меня не могла окончательно поверить в то, что я выиграю. Я говорил себе, что впереди еще один день, и после ужина не стал нарушать режим, принял душ, растерся и лег спать.

Последний этап, Арпажон-Париж, — это, в сущности, церемониальный марш длиной 143 километра. По традиции пелотон будет двигаться в прогулочном темпе, пока мы не увидим Эйфелеву башню и не проедем через Триумфальную арку, откуда пелотон во главе с командой «U. S. Postal» въедет на Елисейские поля. Только потом начнется спринт и мы в полную силу отработаем 10 кругов по центру города. Завершающим мероприятием станет парад дружбы или круг почета.

По дороге на Париж я давал интервью прямо в седле, болтал с товарищами по команде и друзьями в пелотоне. Я даже съел мороженое, Команда «Postal», как всегда, демонстрировала превосходную слаженность действий. «Мне не приходится ничего делать, — сказал я одной тележурналистке. — Это все мои ребята».

Через какое-то время подъехала другая съемочная группа. «Я хочу передать привет Келли Дэвидсон из Форт-Уорта в Техасе, — сказал я. — Я дарю эту победу тебе». Келли — это маленькая, больная раком, но сильная духом девочка, с которой я познакомился и подружился во время «Гонки за розами».

И вот наконец впереди показался город. Когда мы в первый раз проезжали по Елисейским полям, я ощутил колоссальный эмоциональный подъем. Ради гонщиков движение транспорта полностью перекрыли. Нас ожидал потрясающий прием сотен тысяч зрителей, собравшихся вдоль широкой улицы, вымощенной булыжником и брусчаткой. Воздух был наполнен звуками автомобильных клаксонов, со всех сторон сыпались конфетти, а фасады всех домов были украшены огромными яркими по — лотнищами. Меня поразило количество развевающихся в толпе американских флагов.

Далеко в глубине толпы кто-то держал большой картонный плакат. На нем было написано одно слово: «ТЕХАС».

Пока мы продолжали парад по Елисейским полям, я успел заметить, что далеко не все американские флаги были звездно-полосатыми. К моему особому удовольствию, кое-кто из зрителей размахивал флагами Штата одинокой звезды.

Десять кругов спринта до финиша прошли в удивительно спокойном темпе, оказавшись простой формальностью, во время

которой я просто старался избежать последнего глупого падения. А затем я пересек линию финиша. Наконец-то она стала осязаемой и реальной. Я стал победителем.

Я слез с велосипеда и попал в адское столпотворение; со всех сторон меня окружили фотографы, люди из службы безопасности, сотрудники протокольного отдела и друзья, хлопавшие меня по спине. Там было, наверное, человек пятьдесят из Остина, в том числе Барт Нэгс, мой близкий друг Джефф Гарви и — хотите верьте, хотите нет — Джим Хойт. «Свой в доску парень» уболтал охрану пропустить его за ограждение.

Меня провели к подиуму для церемонии награждения и вручили почетный трофей, который я тут же поднял над головой. Я не мог больше сдерживаться, спрыгнул вниз и побежал на трибуны, чтобы обнять жену. Меня окружили фотографы, и я сказал: «Где моя мама?» Толпа расступилась, я увидел ее и обнял. Вокруг нее тоже крутились репортеры, и кто-то из них спросил, считает ли она, что я победил вопреки логике.

— Вся жизнь Лэнса проходит вопреки всякой логике, — ответила ему моя мама.

Затем началась самая приятная часть мероприятия — церемониальный круг победы, который мы проделали всей командой. Мы ехали по Елисейским полям совершенно одни, и ехали очень-очень медленно, наслаждаясь каждой секундой нашего триумфа. Какой-то зритель выскочил на дорогу и вручил мне огромный американский флаг на длинном древке. Я не знаю, как он там оказался, — он просто возник передо мной и всунул древко мне в руку. Я поднял флаг над головой, ощущая волну новых и незнакомых ощущений и эмоций.

Наконец я вернулся в зону финиша и выступил перед журналистами, еле сдерживая слезы. «Я в шоке. Я просто в шоке, — повторил я. — Мне хочется сказать вам только одну вещь. Если жизнь когда-нибудь предоставит вам второй шанс чего-то добиться, сделайте все, чтобы использовать этот шанс на полную катушку».

Всю нашу команду увезли готовиться к вечернему торжественному приему с шикарным банкетом на 250 человек, устроенному в Музее Д'Орсе, в окружении наиболее ценных художественных сокровищ мира. Мы все как один были измучены, полностью обессилены трехнедельным суровым испытанием, но все же с удовольствием предвкушали, как будем пить за победу.

Мы прибыли в музей и увидели накрытые столы, изысканную сервировку которых нарушала только одна необычная деталь, придуманная Томом Вайзелем.

Перед каждым прибором громоздилась пирамидка из яблок.

Мы в первый раз после Метца подняли бокалы с шампанским, и я встал, чтобы произнести тост в честь моих товарищей по команде. «Я ехал в желтой майке, — сказал я. — Но, на мой взгляд, единственная деталь этой майки, которая по праву принадлежит мне, — это молния. Даже не вся молния, а ее маленький кусочек. Все остальное — рукава, воротник, перед и спинка — это заслуга моих товарищей».

Ребята дружно подняли вверх руки. В кулаке у каждого из них было что-то зажато. Яблоко. Красные, блестящие яблоки окружили меня со всех сторон.

Этим вечером мы с Кристин поселились в отеле «Ritz», где сняли огромные и дорогие апартаменты. Мы переоделись в положенные для VIP-персон халаты, откупорили еще одну бутылку шампанского и устроили приватный праздник на двоих. Наконец-то мы снова оказались одни. Мы от души посмеялись над размерами апартаментов и заказали ужин в номер. Затем нас сморил очеш глубокий сон.

Проснувшись на следующее утро, я поначалу в недоумении огляделся вокруг и даже зарылся головой в подушку, чтобы свыкнуться с незнакомой обстановкой. Рядом со мной Кик открыла глаза, и постепенно мы оба окончательно проснулись. Когда она посмотрела на меня, мы прочитали мысли друг друга.

— Господи, — произнес я вслух. — Я выиграл

«Тур де Франс».

— Да не может этого быть! — сказала она.

И мы оба расхохотались.

Глава десятая
КОРОБКА С ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ

Вы можете мне не поверить, но если бы меня «попросили сделать выбор между победой в «Тур де Франс» и победой над раком, я выбрал бы второе. Как ни странно это звучит, но я предпочел бы называться человеком, пережившим рак, чем победителем «Тура», потому что рак очень много дал мне как человеку, мужчине, мужу, сыну и отцу. В те первые дни после финиша в Париже меня захлестнула волна всеобщего внимания, и когда я пытался посмотреть на эту ситуацию со стороны, то спрашивал себя, почему моя победа оказала столь сильное воздействие на людей. Возможно, все дело в универсальности такого явления, как болезнь, — мы все болеем, от этого никто не застрахован, — и поэтому моя победа в «Туре» явилась символическим актом, доказательством того, что человек может не только пережить рак, но и после этого добиться невероятного успеха. Возможно, как говорит мой друг Фил Найт, я стал олицетворением надежды.

— Сбавь скорость, — приказал я. — Ты ведь везешь моего ребенка.

В эти последние недели беременности Кик нравилось говорить людям: «Я жду своего второго ребенка» (видимо, намекая на то, что один ребенок — я — у нее уже есть).

В начале октября, примерно за две недели до родов, мы с Биллом Стэплтоном отправились в Лас-Вегас, где я должен был выступить с речью и провести пару деловых встреч. Когда я позвонил домой, Кик сказала, что сильно потеет и чувствует себя странно, но поначалу я не придал этому особого значения. Я продолжил заниматься делами, а выполнив все, что намечал, помчался с Биллом в аэропорт, чтобы успеть на послеобеденный рейс в Даллас, откуда вечером отправлялся самолет в Остин.

Из транзитного зала в Далласе я позвонил Кик, и она сказала, что продолжает потеть, но в придачу к этому теперь у нее начались схватки.

— Не может быть, — недоверчиво сказал я.-

Вряд ли это настоящие схватки, детка. Скорее всего, ложная тревога.

На другом конце линии Кик сказала: «Лэнс, мне не до шуток», и у нее тут же снова начались схватки.

— Хорошо, хорошо, — сказал я. — Я уже вылетаю.

Мы сели на самолет, отправляющийся в Остин, и, после того

как разместились в креслах, Стэплтон сказал: «Позволь дать тебе один маленький совет.

Не знаю, родит ли твоя жена сегодня вечером, но как только мы поднимемся в воздух, нужно будет позвонить ей еще раз».

Самолет начал выруливать на полосу, но мое нетерпение оказалось слишком сильным, чтобы ждать, пока он оторвется от земли, поэтому я позвонил ей со взлетной полосы по мобильнику.

— Как твои дела? — спросил я.

— Схватки длятся минуту и повторяются через каждые пять минут. Мне кажется, они становятся все дольше, — ответила она

— Кик, как думаешь, мы родим этого ребеночка сегодня?

— Да, по-моему, мы родим этого ребеночка сегодня.

Я выключил телефон, заказал у бортпроводника два пива. Мы с Биллом чокнулись бутылками и выпили за будущего ребенка. До Остина было всего 40 минут, но я не находил себе места до самой посадки. Как только мы сели, я позвонил ей снова. Обычно, когда Кик поднимает трубку, она говорит «алло» очень бодрым голосом. Но на этот раз ее «алло» показалось мне каким-то вялым.

— Как ты себя чувствуешь, детка? — спросил я,

стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно.

— Не очень.

— А как наши дела?

— Держимся, — ответила она.

У нее опять начались схватки. Через минуту она снова взяла трубку.

— Ты доктору звонила? — спросил я.

— Да.

— И что он сказал?

— Он сказал мне ехать в больницу сразу, как только ты вернешься домой.

— Хорошо, — сказал я. — Уже еду.

Я вдавил педаль газа в иол. Там, где разрешалось ехать со скоростью 60 километров в час, я выжимал 170. Скрежеща тормозами, я свернул на подъездную дорожку к дому, помог Кик забраться в машину и уже очень осторожно повез ее в больницу святого Давида, ту самую, где мне делали операцию.

Забудьте все, что рассказывают вам о чуде деторождения и о том, что это самое приятное событие, какое только может с вами произойти. Это была жуткая, кошмарная ночь, одна из самых худших в моей жизни, потому что я ужасно волновался за Кик, за нашего ребенка, за всех нас.

Как выяснилось, схватки продолжались уже три часа. Когда акушеры осмотрели Кик и сказали мне, как сильно расширена

шейка матки, я сказал жене: «Да ты просто племенная кобыла». Больше того, ребенок неправильно лежал, поэтому Кик ощущала мучительные боли в пояснице.

Ребенок выходил попой вперед, и Кик никак не могла разродиться. У нее появились разрывы, она истекала кровью, а потом врач сказал: «Нам придется использовать вакуум». Они принесли какую-то штуку, похожую на вантуз, затем они проделали какие-то манипуляции — и ребенок выскочил, как пробка из бутылки. Это был мальчик. Люк Дэвид Армстронг появился на свет.

Когда они вытащили ребенка, он был совсем крошечный, синий и покрытый слизью. Они положили его на грудь Кик, и мы оба склонились над младенцем. Но он не кричал. Он только издал парочку тихих, похожих на мяуканье звуков. Акушеров встревожило то, что он замолчал. «Кричи», — подумал я. Прошло еще какое-то время, но Люк все еще не кричал. «Давай же, кричи». Я ощутил, как вокруг меня нарастает напряжение.

— Ему нужно немного помочь, — сказал кто-то из персонала.

Медсестра выхватила ребенка из рук Кик и унесла за угол, в другую комнату, заставленную каким-то сложным оборудованием.

Внезапно все вокруг забегали.

— Что-то не так? — обеспокоенно спросила

Кик. — Что происходит?

— Не знаю, — ответил я.

Врачи и сестры сновали туда-сюда, словно в больнице «Скорой помощи». Я держал Кик за руку и выгибал шею, пытаясь увидеть, что происходит в соседней комнате, но нашего ребеночка мне не было видно. Я не знал, что делать. Там находился мой сын, но я не хотел оставлять Кик, которой было страшно. Она все время повторяла: «Что происходит, что они с ним делают?» В конце концов я отпустил ее руку и заглянул за угол.

Они давали ему кислород, надев на лицо крошечную маску.

«Кричи, пожалуйста. Пожалуйста, прошу тебя, кричи».

Я оцепенел. В тот момент я готов был сделать все, что угодно, только бы услышать его крик, абсолютно все. После того, что я испытал в той родильной палате, все мои представления о страхе полностью перевернулись. Мне было страшно, когда у меня обнаружили рак, и было страшно, когда меня лечили, но этот страх не шел ни в какое сравнение с тем, который я испытал, когда они забрали от нас нашего ребенка. Я ощущал свою полную беспомощность, потому что на этот раз болен был не я, а кто-то другой. И этим другим был мой сын.

Они сняли маску. Он открыл ротик, скривил личико и внезапно издал протяжное и громкое «Уаааааааа!!!». Он кричал как настоящий чемпион мира по крику. Вместе с первыми звуками изменился цвет его тела, и все, похоже, успокоились. Они принесли его обратно к нам. Я держал его в руках и покрывал поцелуями.

Я его обмыл, медсестра показала мне, как его пеленать, и мы все вместе — Кик, Люк и я — перешли в большую больничную палату, по размеру почти такую же, как приличный гостиничный номер. Там стояли универсальная больничная кровать и какое-то оборудование, а также диван и кофейный столик для посетителей. Мы все вместе поспали несколько часов, а потом начали принимать посетителей. Пришли моя мать и родители Кик, а после них — Билл и Лора Стэплтоны. В этот первый день мы устроили вечеринку с пиццей. Посетители просовывали головы в дверь, чтобы посмотреть, как Кик, сидя на кровати, потягивает безалкогольное пиво «Shiner Bock» и жует пиццу.

Мы с моей матерью решили немного прогуляться по коридорам. Я никак не мог перестать думать о том, через что мне пришлось пройти при рождении Люка. Теперь я полностью понимал, что чувствовала моя мать, когда ей казалось, что она может пережить своего ребенка.

Мы прошли мимо моей старой больничной палаты. «Помнишь ее?» — спросил я.

Мы обменялись улыбками.

Остается ответить на вопрос, в какой степени я обязан своим выживанием самому себе, в какой степени науке и в какой степени чуду?

На этот вопрос у меня нет ответа. Я знаю, как много людей ждет его от меня. Но если б я мог ответить, то у нас появилось бы средство от рака и, что самое главное, мы смогли бы узнать, в чем заключается истинный смысл нашего существования. Я могу дать этим людям мотивацию, вдохновение, надежду, отвагу и совет, но не могу ответить на то, чего нам знать не дано. Я даже не хочу пытаться. Я вполне доволен тем, что остался жив и могу наслаждаться тайной.

На эту тему есть одна поучительная история.

Наводнение. Человек залез на крышу своего дома и ждет, когда его спасут. Подъезжает спасатель на моторной лодке и говорит: «Залезай, я тебя спасу».

— Нет, спасибо, — отвечает человек на крыше.-

Бог меня спасет.

Но вода поднимается все выше. Через несколько минут над ним пролетает спасательный самолет, и пилот бросает ему

веревку.

— Нет, спасибо, — отказывается человек на крыше. — Бог меня спасет.

Но вода поднимается еще выше, заливает крышу, и человек тонет.

Оказавшись на небе, он встречается с Богом.

— Господи, почему ты меня не спас? — спрашивает он.

— Ты глупец, — отвечает Бог. — Я лее посылал тебе лодку, а потом еще и самолет.

Мне кажется, что мы все в чем-то похожи на этого человека на крыше. С нами происходят разные вещи, события и обстоятельства складываются тем или иным образом, а мы даже не знаем, почему это происходит и есть ли вообще во всем этом какой-то смысл. Единственное, что мы можем, — это взять на себя ответственность за свою жизнь и проявить мужество.

Каждый из нас по-разному ведет себя перед лицом смерти. Одни в нее не верят. Другие молятся. Третьи топят страх в текиле. Я перепробовал все и теперь считаю, что лучше вступить с ней в отрытую борьбу, пусть даже у нас нет другого оружия, кроме мужества. Определение мужества таково: качество духа, которое позволяет человеку не сгибаться и не испытывать страха перед опасностью.

Статистика показывает, что у больных раком детей показатели эффективности лечения выше, чем у взрослых, и, на мой взгляд, это может быть связано с их естественным безотчетным мужеством. Иногда кажется, что маленькие дети больше подготовлены к борьбе с раком, чем взрослые. Дети — это очень решительные маленькие люди, с которыми не нужно вести долгих подбадривающих разговоров. Взрослые слишком много знают о поражениях; они более циничны, покорны и боязливы. Дети говорят: «Я хочу играть. Давай, лечи меня быстрей». Это все, чего они хотят.

Когда после «Тур де Франс» компания «Wheaties» решила поместить мое фото на коробке с детским сухим завтраком, я спросил, сможем ли мы провести пресс-конференцию в детской раковой палате той самой больницы, где родился мой сын. Когда я общался с детьми и подписывал автографы, один маленький мальчик схватил коробку с пшеничными фигурками и встал передо мной, прижимая ее к груди.

— Можно я ее возьму? — спросил он.

— Да, бери. Она твоя.

Он еще немного постоял, разглядывая коробку, а затем посмотрел на меня. Я понял, что мое сходство с человеком на коробке его поразило.

Затем он спросил:

— Какой они формы?

— Что? — переспросил я.

— Какой они формы?

— Это фигурки. Они все разной формы.

А, — сказал он, — понятно.

Как видите, его волновал не рак. Его волновала форма фигурок.

Если дети обладают способностью игнорировать логику и статистику, то, может быть, нам всем следует у них поучиться. Когда вы думаете об этом, что вам еще остается, кроме как надеяться? У нас есть два выхода — как с медицинской, так и с эмоциональной точки зрения: сдаться или бороться изо всех сил.

После выздоровления я спросил доктора Николса, каковы на самом деле были мои шансы.

— Ты был в очень плохом состоянии, — ответил он и сказал, что мой случай был одним из самых тяжелых в его практике.

Я спросил:

— Насколько тяжелым? У меня было меньше 50 процентов?

Он отрицательно покачал головой.

— Меньше двадцати?

Он снова покачал головой.

— Меньше десяти?

Он продолжал качать головой.

Только когда я дошел до 3 процентов, он кивнул.

В этой жизни возможно все. Вам могут сказать, что у вас 90, или 50, или 1 процент вероятности остаться в живых, но вы должны поверить в этот процент и бороться. Под борьбой я имею в виду необходимость вооружиться доступной информацией, узнать мнение другого специалиста, третьего, а если нужно, и четвертого. Вы должны понять, какой враг поселился в вашем теле и какими средствами можно его победить. Еще один установленный факт: при раковых заболеваниях у информированных и сильных духом пациентов выше показатели выживаемости.

Что, если б я проиграл? Что, если б рак вернулся снова? Я верю, что даже в этом случае смог бы извлечь из этой борьбы какую-то пользу, потому что за оставшееся мне время я стал бы более совершенным, сострадательным, разумным человеком и, следовательно, более живым. Единственное, в чем меня безоговорочно убедила болезнь — больше, чем моя спортивная карьера, — так это в том, что мы намного лучше, чем сами о себе думаем. У нас есть нереализованные способности, которые проявляют себя только в критические моменты.

Так что если у такого страдания, как рак, есть какое-то предназначение, то, на мой взгляд, оно должно заключаться в одном — сделать нас лучше. Я твердо убежден в том, что рак не является предвестником смерти. Я предпочитаю другое определение: это часть жизни. Однажды, в период ремиссии, когда мне пришлось сидеть и ждать, вернется рак или нет, я составил акроним из слова CANCER: Courage (мужество), Attitude (психологическая установка), Never give up (крепость духа), Curability (возможность выздороветь), Enlightenment (просвещенность), Remembrance of my fellow patients (поддержка моих товарищей по несчастью).

В одном из наших разговоров я спросил доктора Николса, почему он выбрал онкологию, такую сложную область медицины. «Возможно, по той же самой причине, что и ты — велосипед», — ответил он. Этими словами он хотел сказать, что рак в медицине — это все равно что «Тур де Франс» в велоспорте.

«Бремя рака невыносимо тяжело, но какого более сильного испытания может пожелать врач? — сказал он. — Спору нет, он убивает волю и приводит в уныние, но даже когда ты не излечиваешь людей, ты все равно помогаешь им. Если ты не можешь добиться успеха в лечении, то хотя бы можешь помочь им одержкать моральную победу над болезнью. Ты очень близко общаешься с людьми. В онкологии больше социальных моментов, чем в любой другой области медицины. К раку нельзя привыкнуть, но можно проникнуться уважением к тому, как люди с ним сражаются, к силе их духа». «Ты этого еще не знаешь, но нам очень повезло», — написал один из моих товарищей по болезни.

Поэтому, когда слова кажутся малообещающими и мрачными, а человеческая натура — ничтожной, я достаю водительские права, рассматриваю фотографию на них и думаю о Латрис Хэйни, Скотте Шапиро, Крейге Николсе, Лоуренсе Эйнхорне и о маленьком мальчике, которому в сухих завтраках нравится форма фигурок. Я думаю о своем сыне, воплощении своей второй жизни, который дает мне еще один стимул жить.

Иногда я просыпаюсь среди ночи и чувствую, что мне его не хватает. Тогда я достаю его из кроватки, переношу на свою постель и кладу себе на грудь. Каждый его крик доставляет мне наслаждение. Он откидывает назад крошечную головку, его подбородок вздрагивает, пальчики начинают хватать воздух, и потом я слышу его крик. Он кажется мне криком жизни. «Молодец, — подбадриваю его я. — Давай, кричи громче».

Чем громче он кричит, тем шире я улыбаюсь.

Глава одиннадцатая
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА БИС

Боль — явление временное. Она может длиться минуту, час, день или год, но в конце концов она утихнет и уступит место чему-нибудь другому. Но если я брошу спорт, боль будет мучить меня вечно. Такая капитуляция, пусть даже она будет самым ничтожным из поражений, наложит отпечаток на всю мою оставшуюся жизнь. Поэтому, когда у меня появляется желание уйти из спорта, я спрашиваю себя, чем я буду жить? Готовность встретиться с этим вопросом и найти в себе силы продолжать

борьбу — это истинная награда, которая для меня важнее любого приза, и в этом мне предстояло неоднократно убедиться в сезоне 2000 года. Теперь вы уже поняли, что я предпочитаю боль. Почему? Потому, что она разоблачает сама себя, вот почему. В каждой гонке есть момент, когда гонщик вступает в борьбу со своим главным соперником и понимает, что этот соперник он сам. Самый большой интерес у меня вызывают те моменты гонки, когда я испытываю самую сильную боль, и каждый раз я с нетерпением жду, как отреагирует мое тело. Откроются ли мне самые потаенные мои слабости или самые скрытые достоинства? Каждый раз мне приходится отвечать на один и тот же вопрос: смогу ли я закончить гонку? Можно сказать, что боль — это избранный мною путь изучения человеческого сердца.

Я не всегда выигрываю. Иногда самое большое, что я могу сделать, — это просто доехать до финиша. Но я чувствую, что с каждой гонкой моя способность к выживанию повышается. Вот почему я кручу педали изо всех сил, даже когда мне это не нужно. Я не хочу жить вечно, я готов умереть, после того как проживу отмеренный мне срок, но до тех пор я собираюсь крутить педали своего велосипеда — и не исключаю, что мне суждено на нем умереть.

Каждый год, когда я снова сажусь на велосипед и пытаюсь выиграть очередной «Тур де Франс», становится для меня еще одним годом, прожитым вопреки болезни. Возможно, именно поэтому для меня была так важна вторая победа в «Тур де Франс»; ведь для меня велоспорт — это то же самое, что жизнь. Я хотел выиграть еще один «Тур», и хотел потому, что никто не считал меня способным это сделать. Все решили, что мое возвращение в 1999 году само по себе уже было достаточным чудом. Но я больше не относился к своей велосипедной карьере как к возвращению в спорт, я стал считать ее подтверждением и продолжением правильности того, что я делаю как человек, переживший рак.

Посвятить себя чему-нибудь меньшему, чем повторению успеха в «Туре», было бы равносильно капитуляции. Выступление на бис не обещало быть легким, но именно этим мне и нравилась такая попытка. С момента победы в 1999 году в моей жизни появилось больше забот и обязанностей, и все они только радовали. Я стал молодым отцом, а на фронте борьбы с раком вел себя активно, как никогда. Кроме того, у меня появились новые рекламные и корпоративные обязанности, особенно по отношению к тем спонсорам, которые меня поддержали. Некоторые пессимисты посчитали, что я буду слишком занят или недостаточно силен, чтобы выиграть самую трудную гонку в мире

второй раз подряд. Но больше всего в жизни я ненавижу слышать, что я чего-то не могу. Говорить такое мне — это самый лучший способ заставить меня этого добиться.

Во всех прогнозных дискуссиях на тему «Тура-2000» я фигурировал в качестве счастливчика, перевернутой страницы истории, героя сентиментальной сказки о чудесном избавлении от рака, первого американца, которому удалось выиграть «Тур» на американском велосипеде и в составе американской команды.

Они прочили победу кому угодно. Они называли имена выдающихся гонщиков, пропустивших «Тур-1999»: немца Яна Ульриха, который в то время залечивал травмы, и чемпиона мира итальянца Марко Пантани, который на время покинул спорт из-за допингового скандала. Называли чрезвычайно опасного горняка француза Ришара Виранка, Абрахама Олано и Александра Цулле. Если мое имя и упоминалось, то только в связи с Пан-тани, Ульрихом и тем фактом, что я не смог бы выиграть «Тур», если бы они в нем участвовали. Но теперь мы все, здоровые и в хорошей форме, собирались участвовать в «Туре 2000», и это событие обещало стать самой жаркой гонкой десятилетия. На этот раз все — все самые сильные мои конкуренты — выстроятся на линии старта.

Единственными, кто действительно верил в то, что у меня есть шансы, были мои товарищи по команде «U. S. Postal», но и они сомневались, смогу ли я защитить титул после весеннего падения, одного из самых эффектных за всю мою карьеру. Мы снова использовали методику тренировочных сборов и провели две полные недели в апреле и мае, тренируясь всей командой на французских пиках и изучая маршруты, по которым предстояло ехать.

Пятого мая мы отправились на очередную изнурительную тренировку в Пиренеи. Мы практиковались на горе Отакам — самом тяжелом подъеме на трассе «Тура-2000». Было очень жарко, и поэтому на пути к вершине я снял шлем и передал его помощнику команды, ехавшему в машине сопровождения. Когда мы начали скоростной спуск, я попросту забыл взять шлем обратно.

Внезапно мое переднее колесо наскочило на камень, и шина сразу же лопнула. Руль вырвался из рук. Дорога была узкой, велосипеду некуда былоnдеваться, и он въехал в подпорную стенку. Я врезался в стену головой. Свет, казалось, взорвался и померк.

Рядом со стеной на зеленой траве стоял стол для пикника. За столом сидели двое туристов из Французской Канады, муж и жена, которые, по милости судьбы, оказались врачами. Я врезался

в стену меньше чем в 3 метрах от них.

Лежа под стеной, я быстро проверил руки и ноги, чтобы убедиться, что ничего не сломал, и понял, что у меня ничего особенно не болит — за исключением головы. В ушах звенело, но все же я смог расслышать, как врачи говорили мне не вставать. Вся правая сторона лица уже начала распухать. Пока я лежал, Йохан вызывал по мобильнику «скорую», а врачи прикладывали к моей голове лед. После того как Иохан сделал звонок, джентльмен из Французской Канады сообщил ему, что мне невероятно повезло.

— Судя по звуку удара головы о стену, я был абсолютно уверен, что, подойдя сюда, увижу труп, — сказал он.

Когда я услышал его слова, мне стало дурно. Наконец прибыли парамедики. Они ощупали меня с головы до ног и сказали, что меня нужно отвезти в Лурд на обследование. Машина «скорой помощи» доставила меня в больницу, где я провел ночь. Затем я вернулся домой в Ниццу, чтобы пару недель отлежаться. Я валялся на диване с огромным синяком под глазом и ждал, когда моя голова уменьшится до нормальных размеров. Кик меня, nконечно, жалела, но ей совсем не понравилась моя ребяческая выходка со шлемом. «Я же кошка, — попробовал отшутиться я. — Это была моя вторая жизнь».

Месяцем позже я вернулся на Отакам один (если не считать Йохана), чтобы закончить пробный заезд. Ситуация была потенциально опасной, и я хотел избавиться от любой нерешительности, которую мог почувствовать на месте падения. День был холодным и дождливым, и мне пришлось четыре часа изо всех сил крутить педали, чтобы добраться до вершины. Йохан остановил машину рядом со мной и протянул мне свитер и горячий шоколад.

— Отличная работа. А теперь можешь согреться, — сказал он. Но я посчитал, что делать это ещепрано.

— Мне кажется, я не совсем понял подъем,-

сказал я.

— Что ты имеешь в виду?

Я хотел сказать, что не полностью его освоил; у меня не было уверенности в том, что я смогу достаточно успешно с ним справиться. Это был волнообразный подъем, некоторые отрезки которого были намного круче других. Чтобы полностью понять его, нужно выяснить, где тебе придется больше всего помучиться, чтобы заранее собраться с духом; где можно будет немного отдохнуть и где лучше всего атаковать.

— Что ты собираешься сделать? — спросил Йохан.

— Собираюсь пройти его еще раз, — ответил я.

Так я и поступил. Мы спустились вниз, и я еще раз прошел весь подъем — еще четыре часа изматывающей работы. Я совершенно уверен, что оказался единственным дураком на свете, который пожелал заехать на эту гору в такую погоду — причем не один раз, а два. Но именно в этом и заключался весь смысл моего поступка.

По большому счету, дело было вовсе не в травме. Через несколько дней я уже снова начал тренироваться и вскоре чувствовал себя очень даже неплохо. Больше всего я боялся, что могу слишком рано выложиться и тогда у меня не останется достаточно сил, чтобы достойно закончить «Тур».

За время «Тура-2000» нам предстояло объехать границы Франции против часовой стрелки и выдержать несколько из самых трудных этапов, на которых кому-либо из нас когда-либо доводилось ехать. Мы должны были стартовать в «Футюроско-пе» с разделки длиной чуть больше 16 километров. Дальше шла серия равнинных этапов, где опять будут доминировать спринтеры, и лишь потом — во всяком случае, для меня — должна была начаться настоящая борьба, когда на десятом этапе нам предстояло приступить к штурму Пиренеев.

Прибытие в «Футюроскоп» было связано со странными ощущениями. Казалось, что я побывал там всего несколько дней назад, хотя прошел уже целый год. Было похоже, что время обратилось вспять, и ощущение дежавю усиливалось тем, что мы остановились в той же самой гостинице, где нас разместили годом раньше. С одной стороны, этопвселяло надежду: я почувствовал себя так, словно знаю, как выиграть «Тур де Франс». Мои товарищи по команде испытывали то же самое; большинство из нас уже четвертый год выступали за «U. S. Postal», и если вначале у нас не было ничего, кроме пары разбитых трейлеров, то теперь в нашем распоряжении находился целый караван грузовиков и автобусов, набитых всем, что способствует хорошему настроению.

Единственное, чего обязательно следует ожидать от каждого «Тура», — это неожиданности. За три недели гонки обязательно будут внезапные атаки, нелепые падения и неожиданные лидеры. «Футюроскоп» доказал это сразу же, когда мой старый друг шотландец Дэвид Миллар увел желтую майку у меня из-под носа.

Для всех 180 гонщиков день начался одинаково-с анализа крови. В стартовом лагере я услышал, что троих гонщиков дисквалифицировали по причине слишком высокого гематокрита, что можно было считать началом нового допингового скандала — темы, которая уже давно навязла в зубах. Но затем меня ожидала история с Милларом, бесшабашным поджарым 23-летним

гонщиком, эксцентричным, но добродушным, с огромным потенциалом. Большой любитель развлечений, он взял в привычку праздновать каждый Новый год в новой стране. В «Туре» он участвовал впервые, но никто бы этого не сказал, глядя на то, как он, работая ногами как сваебойная машина, проехал эту разделку за 19:03. Я очень надеялся на повторение прошлогоднего успеха в первой разделке, но, увидев время Дэвида, внезапно понял, что сделать это будет гораздо труднее, чем я ожидал.

Подошла моя очередь. На вершине первого холма у меня было чуть больше 4 секунд преимущества над временем Миллара и Ульриха. Но потом трасса свернула в какие-то виноградники и поля подсолнухов, где мне пришлось бороться с резкими порывами ветра. Когда я доехал до контрольной точки на половине дистанции, мое время оказалось уже на 3 секунды хуже, чем у Миллара. Я увеличил ка-денс и за четыре километра до финиша снова обошел Миллара примерно на секунду, но к тому времени уже почти выдохся. Последний километр запомнился кошмарной смесью невыносимой жары и боли, а когда линия финиша осталась позади, мой результат высветился на гигантском экране, установленном в зоне финиша. Я посмотрел на свое время, а потом — на время Миллара. Он удержался на первом месте, выиграв у меня секунду. Когда Дэвид увидел, что победил, он не смог сдержать слез радости. В тот вечер он лег спать прямо в желтой майке. Известие об этом помогло мне смягчить горечь разочарования, а дополнительным облегчением послужил тот факт, что нашей команде «Postal», по крайней мере, не придется отстаивать желтую майку. Мы были рады, что забота об этом ляжет на плечи Дэвида и его команды «Cofidis».

Петля «Тура» повела нас по дорогам»! на Лимож. Тайлер Хэмилтон упал в первый же день, когда по непонятной причине пелоотон был поражен эффектом домино и все ударилин по тормозам. Тайлеру пришлось тормозить на скорости 96 километров в час, и он перелетел через руль велосипеда. Мы думали только о том, как избежать травм. Самым серьезным источником опасности оказалась для нас машина французского телеоператора, которая чуть не смела всю нашу команду с дороги во время тренировки.

Нам удалось проехать первые этапы целыми и невредимыми, и никто из наших ребят не потерял времени на падениях. Правда, в середине первой недели мы все же были на волоске от катастрофы. Это произошло во время сложной командной разделки, на этапе от Нанта до Сен-Лазароа. В командной гонке с раздельным стартом время пересечения финишной линии

определяется по пятому члену команды. Затем это время добавляемся к общему времени каждого гонщика. Нам нужсно было финишировать группой из пяти человек, иначе я мог потерять значительное количество времени, а это могло сильно повлиять даже на конечНЬ1й результат.

На въезде в Сен-Лазар нужно было проехать по огромному арочному мосту через Луару, профиль которого был эквивалентен тяжелому подъему. Когда мы поднимались к середине моста, налетел сильнейший шквал с порывами ветра скоростью до 80 километров в час. Еще хуже было то, что ветер оказался боковым. Его рев был таким сильным, что мы не слышали друг друга. Когда Фрэнки Эндрю крикнул: «Давай помедленней!», никто из нас — включая меня в голове группы — ничего не услышал. Только благодаря нечеловеческим усилиям Фрэнки и Тайлер смогли снова влиться в группу и прийти к финишу вместе с нами. Мы оказались вторыми, но посмотрите, как дорого это могло обойтись: из-за неслаженной командной работы Цулле проиграл в тот день 10 минут, а Эскартин 2. Для них борьба чуть не закончилась, даже не начавшись.

Спринтерские этапы между городами Лимож и Дакс проходили на изнурительно высокой скорости — 49 километров в час. Огромную работу проделали Тайлер и мой новый товарищ по команде Вячеслав Екимов. Временами в эти первые дни лил такой сильный дождь, что в очках ничего не было видно.

Пелотон занимался обычным склочничеством и политиканством. Команда «ONCE» обвинила нас в злонамеренных попытках придержать их лидера, Жалабера, чтобы обеспечить мое лидирующее положение. Днем позже возглавлявший пелотон Жалабер остановился, чтобы «полить цветочки». По неписаному правилу, когда лидер оправляется, никто не атакует, но тогда кто-то все же пошел в атаку, и разгневанный пелотон тут же съел беглеца, чтобы другим было неповадно.

На девятом этапе Тайлер упал во второй раз, оказавшись жертвой эффекта домино во время массового завала. Приземление на руль чужого велосипеда стоило ему огромного синяка на груди. Но наконец равнинные этапы остались позади, и мы могли вздохнуть с облегчением: никаких серьезных травм и потерь времени. Я располагался там, где хотел, притаившись на шестнадцатом месте, впереди всех серьезных конкурентов в генеральной классификации, выигрывая 43 секунды у Ульриха, 4:05 у Цулле, 5:12 у Пантани и 5:32 у Виранка.

Пришла пора подниматься в горы. Впереди виднелись грозные Пиренеи с туманами, температурой 5-10 °С, с памятью о моем весеннем падении и контузии, с тяжелейшим подъемом на

десятом этапе до высокогорного городка Отакам и 13 — километровым финишем в гору. Когда в то утро я проснулся в Дасе, шел дождь, и я решил, что такая погода как нельзя лучше подходит для атаки — главным образом потому, что никому другому она не нравилась. Дождь сопровождал нас на девяти из десяти пройденных этапов, и я был не против, чтобы он не кончался никогда. К тому же я верил в то, что никто в мире не подготовлен к страданиям лучше меня. «Это будет мой день», — подумал я.

Но я не принимал в расчет баска Хавьера Очоа, который предпринял легендарную атаку длиной в день. Через час после старта Очоа с двумя другими гонщиками ушли в отрыв на холмах и выиграли у пелотона 17 минут. Чем выше мы поднимались в горы, тем сильнее все дрожали под ледяным дождем. К тому времени как мы подъехали к подъему на Отакам, я все еще уступал Очоа больше 10 минут, и у меня больше не осталось никого из помощников, потому что все были измотаны непогодой и долгой погоней.

Когда передо мной вырос Отакам, я сказал себе, что подъем станет для меня шансом, а не препятствием. Именно на нем лидер этапа, Очоа, должен был, наконец, выбиться из сил, и именно там я надеялся его обойти. Другие гонщики думали так же, особенно Пантани и Ульрих, которые собирались разоблачить меня как случайного выскочку, неспособного повторить свою победу. Для них и для меня настал час встретиться в горах, чтобы поме-ряться силами в очной борьбе.

Пантани атаковал первым, всего через километр после начала подъема. Цулле рванул за ним. Я быстро встал на педалях и догнал заднее колесо Пантани. Увеличив каденс, я обошел Цулле и Пантани за 10 километров до финиша. Посидев с минуту на седле, я снова вскочил и настиг группу из семи других гонщиков, в числе которых был Виранк. Я занял место в голове группы, немного проехал с ними, а потом снова нажал на педали. Теперь между мной и Очоа больше никого не было. Мы остались наедине с подъемом. Я прибавил скорость.

Иохан диктовал мне в ухо время и расстояние: Очоа опережал меня на 4:58 за 5 километров до финиша. За 3 километра разрыв сократился до 3:21. За 2 километра до финиша я отставал на 2:14.

Я хотел выиграть этап. Но впереди меня ехал Очоа, который демонстрировал невероятное мужество. К тому времени он сохранял лидерство на протяжении 150 километров, мы уже полчаса штурмовали крутые склоны Отакама, но он отказывался сдаваться, даже несмотря на то, что чуть не падал с велосипеда от

изнеможения. Догнать его было невозможно.

Он пересек линию финиша на 41 секунду раньше меня. Я посвятил ему величайшую погоню в моей жизни: он начал этот финишный подъем с преимуществом в 10:30, и я отыграл почти 10 минут, но этого оказалось недостаточно. У меня не хватило духу — или сил, — чтобы расстроиться, я мог только отдать должное героизму Очоа.

Я получил то, что хотел — желтую майку лидера в генеральной классификации и значительное преимущество над ближайшими преследователями. У Эскартина я выигрывал 1:20, у Цулле — 3:05, у Ульриха — 3:19 и у Пантани — 5:10. Я показал себя в компании других победителей «Тура», и сделал это во время подъема на легендарный Отакам. Кроме того, даже несмотря на то, что я не стал победителем этапа, по значительности мой результат не уступал подъему на Сестриер в прошлом году.

Однако впереди меня ждал еще один из самых тяжелых подъемов в мире — подъем к вершине Мон-Ванту, пику высотой 1908 метров, где почти нет воздуха для нормального дыхания. Вершина Мон-Ванту представляет собой безжизненный, ветреный и покрытый кратерами лунный пейзаж. Ее боялись все. Мой друг, легендарный Эдди Мерке, выиграл этап до пика Мон-Ванту в 1970 году, но почти сразу после финиша отключился, и ему пришлось давать кислород и вызывать «скорую». И конечно, все, кто имел отношение к велоспорту, помнили трагическую судьбу британца Томми Симпсона, который умер на этом подъеме в 1967 году. Недалеко от вершины у Симпсона не выдержало сердце, что потом объяснили употреблением алкоголя и амфетаминов. Но и сама гора, несомненно, тоже сыграла свою роль в этой смерти.

Этап был сравнительно коротким — всего 149 километров, но заканчивался он мучительным крутым подъемом длиной 21 километр. Позднее я где-то слышал, что посмотреть на то, как мы будем штурмовать Мон-Ванту, собралось больше 300 тысяч зрителей. На первом, равнинном участке я ехал в группе с шестью другими гонщиками, включая Ульриха, Виранка и Пантани. Тут собрались самые сильные гонщики этого «Тура». Примерно за 5 километров до вершины Пантани атаковал. Я вскочил на педали и погнался за ним. Через 2 километра я его достал. На своем плохом итальянском я сказал Пантани: «Vince!», что означает: «Ты можешь победить. Давай, жми».

Но Пантани понял меня неправильно. Ему показалось, что я сказал: «Vitesse», что по-французски означает «пошевеливайся». Он решил, что я над ним насмехался.

Мы ехали вместе, в одинаковом темпе, сражаясь с порывами

ветра и собственной усталостью, пока не пришло время для километрового финишного спринта. Тогда я из лучших побуждений сделал то, что разозлило его еще больше. Когда перед нами показалась линия финиша и мы начали спуртовать, я принял решение отказаться от борьбы за победу на этапе. Я считал Пантани великим гонщиком, который только что пережил трудный год, связанный с обвинениями в допинге. Он боролся за то, чтобы вернуть уверенность в себе и силу духа. Он был гонщиком, который сам создал свой неповторимый имидж: красная гоночная форма, бандана на лысой голове и кличка Пират, которую он сам же и придумал. В тот день он был героем, и я посчитал, что он заслужил победу. Я ослабил напор и подарил победу ему, а сам финишировал вторым, в третий раз на этом «Туре».

Об этом решении я впоследствии горько пожалел.

С тех пор меня постоянно спрашивают, нужно ли было мне бороться до конца, и я отвечаю «да». Иначе зачем я вообще сел в тот день на велосипед? Но постарайтесь понять, что пытаться выиграть слишком много этапов на «Туре» было бы ошибкой — как тактической, так и политической. Неписаный закон пелотона не поощряет индивидуальную жадность, и я этот закон уважаю. Если у тебя есть возможность, помоги другому и не выигрывай этапы, которые тебе не нужны. Американцам это может показаться непонятным, но в этом есть своеобразное благородство. У меня была желтая майка, и я посчитал, что отнимать у другого победу на этапе — значит пожадничать.

Для меня как лидера в генеральной классификации попытка выиграть ненужный этап равносильна попытке унизить других гонщиков и разрушить чужую карьеру. Победы на этапах престижны сами по себе и доставляют удовольствие спонсорам команд. Все участники пелотона понимают, что спорт — это наша работа, и что каждому из нас нужно выполнять определенные обязанности и кормить семьи. Так как в тот момент моему лидерству ничто не угрожало, я не считал, что мне нужны победы на этапах. Зачем наживать себе врагов, которые когда-нибудь потом не упустят случая вставить мне палку в колесо.

Я думал, что Пантани джентльмен, но ошибся. Вместо того чтобы по достоинству оценить мой жест, он заявил, что в тот день я не был самым сильным гонщиком. Тут уже я посчитал себя оскорбленным, и между нами началась кровная вражда, которая длилась до последней минуты присутствия Пантани на «Туре». «К сожалению, он показал свое настоящее лицо», — сказал я журналистам. Затем я упомянул его другое прозвище, Элефантино, что значит «слоник», — но это прозвище он

ненавидит, потому получил его за форму и размер своих ушей. Он предпочитает, чтобы его называли Пиратом. В ответ Пантани заявил: «Если Армстронг считает себя сильнее меня, то он ошибается». Когда через несколько дней Пантани выиграл еще один этап, до горного курорта Куршевель, то сказал, что хотел взять у меня реванш, «и вы все видели, как я это сделал».

Шестнадцатый этап от Куршевеля до Морзина начался с трагической ноты, похорон 12-летнего мальчика, сбитого машиной сопровождения. Худшего начала дня придумать было нельзя, и физические мучения, которые пришлось вынести участникам «Тура», кажутся мне почти заслуженными.

Все, включая Пантани и меня, считали, что этот этап станет сценой нашей с ним дуэли. Так бы и случилось, если б Пантани не предпринял преждевременную и, по сути, бессмысленную атаку на самом первом подъеме. Впоследствии он сказал, что хотел поставить «Тур» на уши, невзирая на последствия. Это ему почти удалось — он заставил всех нас испытать поистине адские мытарства. Он гнал в бешеном темпе и создал отрыв в 1:40, вынудив пелотон, и особенно ребят из моей команды, постоянно гнаться за ним. Такой ритм гонки вымотал всех моих товарищей. В конце концов через два с половиной часа Пантани сломался: он откатился в хвост пелотона и финишировал через 13 минут после нас. Для Пантани этот этап оказался последним: на следующий день он снялся из-за болей в желудке. Но за его авантюру нам пришлось заплатить дорогую цену.

Тем временем я сам совершил глупейшую ошибку. Когда мы доехали до последнего подъема, мои товарищи, обессиленные преследованием Пантани, отвалились, оставив меня одного. И. тут на меня напал голод. Я вспомнил, что весь этот длинный, тяжелый день ел слишком мало, а рядом не было никого, кто мог бы прийти мне на помощь. Я был вынужден в одиночку сражаться с атакующими гонщиками, но у меня не было необходимого запаса энергии для работы на подъеме. Я постарался не впадать в панику, но был серьезно обеспокоен. Если мой организм откажет, это может стоить мне огромной потери времени.

Побеждать всегда очень трудно (я имею в виду любую победу, даже в соревновании по набрасыванию колец, не говоря уже о «Туре»), потому что разум и тело почти никогда не находят общего языка. В большинстве случаев мы оказываемся не в ладах сами с собой, а для шоссейного гонщика эта проблема особенно актуальна.

С одной стороны, когда твое тело устает, разумобязан подавить стремление тела остановиться. С другой стороны, когда твой разум желает, чтоб1 ты сделал больше, чем можешь, тело

должно напомнить, что ему нужны еда и вода, прежде чем оно начнет выполнять приказ разума. Иногда случается, что эти двое объединяют свои усилия, и в таких случаях ты взлетаешь на Отакам как на крыльях. Но если они тянут в противоположные стороны, то ты загибаешься в двух шагах от Морзина.

Примерно за 6 километров до вершины я начал отставать. Я не смог зацепиться за Ульриха или Виранка. Мои ноги отказывались двигаться, и я не мог набрать достаточно воздуха, даже широко открыв рот. Меня обошел Эскартин, потом еще один гонщик, а потом еще один. Все, что я мог сделать, — это не остановиться совсем. Кое-как я все же дотащился до вершины и скатился к финишной линии, где Виранк праздновал победу на этапе.

Мне повезло в том, что на том холме я не проиграл «Тур». В конечном итоге я отдал Ульриху всего 1:37 и сохранил 5-минутное преимущество над ним в общем зачете. Но мне пришлось выжать из организма все до последней капли, чтобы не потерять больше 3 минут (а мне приходилось своими глазами видеть, как выдохшиеся гонщики теряли по десять минут и далее больше).

Еще одна победа в «Туре» начинала казаться реальной. Но тут поползли слухи о том, что мои проблемы в тот день были свидетельством серьезного ухудшения формы и что на последних этапах меня можно будет наказать. Я знал, что другие гонщики постараются проверить мою боеспособность, и в первую очередь это сделает мой ближайший преследователь, Ульрих.

Я все еще не выиграл ни одного индивидуального этапа. Для этого оставалась только одна возможность — последняя разделка на девятнадцатом этапе от Фрибурга до Мюлуза в Германии. Ульрих родом из Мердигена, и трасса этапа пролегала прямо через этот город. Фантастическая поддержка зрителей была ему обеспечена. Это был его последний шанс столкнуть меня с подиума в Париже. Нам предстояло проехать 58,5 километра, больше часа работы на предельной скорости. Кроме того, как всегда, оставался фактор неожиданного падения. «Для того чтобы совершить нечто ужасное, вполне хватит одного человека», — заявил я представителям прессы. Один-единственный выскочивший наперерез зритель может сбросить тебя на дорогу. При всем желании выиграть этап мне обязательно нужно было финишировать без приключений, чтобы отстоять лидерство в генеральной классификации.

Ульрих стартовал на 3 минуты раньше меня. Как только он сорвался со старта, толпа взревела, и мне показалось, что болельщики не замолкали ни на секунду в течение всего часа. К

тому моменту, когда подошла моя очередь стартовать, шум стоял такой, что его можно' было буквально пощупать. В нашей техничке ехал сам министр почт США, Билл Хендерсон.

Поначалу я ехал, постоянно поглядывая на кардиомонитор и заботясь о том, чтобы не выйти за пределы физических возможностей и не потратить слишком много сил. Затем Йохан сообщил, что после 11 километров у нас с Ульрихом одинаковое время. Йохан дал мне зеленый свет, и я устремился за победой.

Я увеличил каденс и постепенно начал отыгрывать время у Ульриха. Йохан непрерывно поставлял информацию через мой наушник: после 15 километров я опережал Ульриха на 2 секунды, после 20 километров — на 5 секунд, после 33 километров — на 15 секунд. На отметке 52 километра я увеличил преимущество до 29 секунд. Ульрих пытался сопротивляться, но я держал слишком неистовый темп и приближался к легендарному рекорду Грега Лемонда — 54 километра в час, который он установил на разделке в 1989 году.

Я пересек линию финиша с преимуществом в 25 секунд. Я показал второй результат в разделке за всю историю «Тур де Франс». Рекорд Лемонда устоял. Зато в первый раз за весь «Тур-2000» я наконец почувствовал себя настоящим победителем. Мне было неприятно это признавать, но, если бы я приехал к подиуму «Тура» без единого выигранного этапа, в моей победе явно чего-то не хватало бы.

Самый длинный этап «Тура» все еще был впереди, но команда «Postal» отмучила его благополучно, и в тот вечер мы наконец позволили себе отпраздновать это событие. За ужином мы потребовали пиво и мороженое. Мороженое показалось нам таким вкусным, что мы, как безумные, ели прямо из бочонков. В тот же самый вечер Кик приехала в Париж с родителями и Люком. Они тоже наконец уверовали в победу и решили это отпраздновать. Они организовали частную вечеринку в отеле «George V» и устроили ужин для моих друзей, которые начали прилетать из Остина.

На следующее утро команда погрузилась в Восточный экспресс и отправилась в Париж, чтобы проехать формальный торжественный этап.

Я снова пересек линию финиша в окружении бушующего моря американских и техасских флагов. Мы были единственной командой, которая добралась до Парижа, не потеряв ни одного из девяти человек, что само по себе было выдающимся достижением, если принять во внимание степень тяжести маршрута. У скептиков больше не осталось никаких козырей. Когда я стоял на пьедестале, Кик преподнесла мне сюрприз: она одела Люку

желтую майку. Кик передала сына мне, и я посадил его себе на плечи.

В тот вечер для нас снова организовали прием в Музее д'Орсе. Столы на 250 человек были накрыты в отдельном зале с расписным потолком. Когда зашло солнце, я снова провозгласил тост за своих товарищей. «Мы научились это делать, — сказал я им. — Теперь мы знаем, как это делается». Но самый лучший тост произнес актер Робин Уильяме, страстный велосипедный болельщик, который прилетел в Париж, чтобы увидеть финиш гонки, и захотел разделить радость победы с нами. Робин сказал ребятам нашей команды: «Вы поразили меня в самое сердце», чем все мы были чрезвычайно тронуты.

Как выглядит победа 2000 года по сравнению с 1999-м? В физическом плане выиграть эту гонку было труднее. Сидя там в тот вечер, я чувствовал себя более уставшим. Мне кажется, все участники гонки были рады, что она закончилась. Для спортивных соревнований три недели — это целая вечность, и, когда ты приходишь к финишу, все равно — первым или сто первым, твои ощущения описать просто невозможно. Чувство полной самореализации изменяет гонщика и всю его последующую жизнь в спорте.

Другая существенная разница заключалась в том, что мой рак перестал быть главной темой разговоров — о нем упоминали разве что вскользь. Мне это не нравилось; я хотел, чтобы эту тему продолжали обсуждать, потому что она больше всего помогает понять суть моей миссии на этой земле.

Со времени выхода в свет этой книги люди постоянно спрашивают меня, что я хочу сказать, когда говорю, что при наличии выбора предпочел бы называться человеком, пережившим рак, а не победителем «Тур де Франс». Я хочу сказать, что если бы мне не пришлось бороться с раком, то я не научился бы всему, чему научился. Без того опыта, который я получил за время этой борьбы, я не смог бы выиграть ни одного «Тура». В это я верю совершенно искренне. Мне пришлось в полной мере узнать, что такое болезнь, и я не только не стыдился этого, но и ценил этот опыт превыше всего остального.

Например, я и раньше отдавал много сил тренировкам и никогда не был лентяем, но теперь тренировался еще больше. Раньше я пил безалкогольное пиво «Shiner Bock» и любил мексиканскую кухню, а теперь стал чрезвычайно разборчив в еде и похудел до такой степени, что выглядел костлявым. Сначала, во время болезни, я стал уделять больше внимания диете, потому что хотел питаться только полезными продуктами, но сейчас понял, какую важную роль играет питание в спорте.

После такого испытания, как рак, мне потребовалось другое эмоциональное топливо; я больше не хотел и не мог питаться гневом. Рак заставил меня разработать план жизни, а это, в свою очередь, на-» учило меня тому, как разрабатывать планы достижения мелких целей, таких как отдельные этапы «Тура».

Помимо прочего, рак научил меня тому, как следует относиться к проигрышам. Он заставил меня понять, что порой опыт потери каких-то вещей — здоровья, дома или прежнего отношения к себе — тоже играет важную роль в общей структуре жизни.

На то лето у меня была намечена еще одна цель — выиграть золото на Олимпийских играх в Сиднее, — но там мне не удалось добиться такого же успеха. Но и этот опыт тоже оказался по-своему полезным. Четыре долгих года я ждал летних Олимпийских игр, потому что во время предыдущей Олимпиады в Атланте был болен. Сам я тогда не подозревал о своей болезни, но она сказалась на моих результатах. Там я занял двенадцатое место в шоссейной гонке и шестое — в индивидуальной раз — делке. Тогда это стало для меня громадным разочарованием. Только потом я узнал, что выходил на старт с дюжиной метастазов в легких. Но теперь я был здоров. Я хотел, чтобы Игры в Сиднее стали для меня праздником, тем более что заканчивались они 2 октября, в годовщину постановки моего ракового диагноза.

Самое трудное заключалось в том, чтобы найти способ набрать к Олимпиаде оптимальную форму за относительно короткий промежуток времени после «Тура». Вместо того чтобы попытаться удержать свое физическое состояние, я решил сначала немного расслабиться, а потом снова довести себя до нужной кондиции как раз к Сиднею. Мы с Кик съездили на несколько дней домой в Ниццу, после чего я отправился в утомительную поездку за океан, в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Остин, где мне нужно было появиться перед спонсорами в качестве победителя «Тура». Когда я наконец снова прилетел в Ниццу, возвращение к тренировкам показалось мне чуть ли не отдыхом.

Каждое утро Тайлер Хэмилтон, Фрэнки Эндрю и я отправлялись в горы под Ниццей и находили какие-нибудь длинные безлюдные дороги, на которых было удобно тренироваться. Обычно за шесть часов работы мы проходили три подъема длиной по 15–20 километров. В окрестностях Ниццы можно насчитать около дюжины хороших подъемов, и я изучил все их не хуже, чем подъездную дорожку к своему дому.

Одналсды в августе мы ехали по узкой извилистой дороге, где никогда не было никаких автомобилей. За столько лет жизни

и тренировок в этих горах я успел выяснить, какие дороги используются интенсивно, а какие безлюдны и пригодны для езды на велосипеде. На том конкретном участке дороги я никогда не встречал никакого движения — до того злополучного дня.

Когда я подъехал к очередной шпильке, Тайлер шел позади меня. Я ехал в абсолютной уверенности, что за поворотом не будет никаких машин, потому что проходил сотни раз, и каждый раз гудронная лента дороги впереди была пустынной. Я наклонился в сторону, чтобы вписаться в поворот, и увидел, что прямо на меня несется машина. Ни остановиться, ни даже сгруппироваться времени не было. Мы столкнулись лоб в лоб. Меня подбросило в воздух.

Тайлер услышал удар раньше, чем увидел столкновение. «Звук был просто ужасный, — рассказывал он впоследствии. — Я думал, тебе конец». Он услышал удар и скрежет. Затем увидел мой полет через капот автомобиля. Я приземлился на дорогу головой вниз. Насмерть перепуганный водитель ударил по тормозам, выскочил из машины, подбежал ко мне и, как последний идиот, спросил, все ли у меня в порядке. Поначалу я думал, что так и есть. Я не потерял сознание и вроде бы ничего не сломал. Мой велосипед, похоже, пострадал больше меня. Он лежал посреди дороги бесформенной кучей металла и резины. Рама развалилась на три части.

Я постарался успокоить водителя и сказал, что у нас все в порядке и что мне не нужно никакой помощи. Я позвонил Кик по мобильнику и попросил ее приехать и забрать нас. Мне все еще не верилось, что я мог налететь там на машину. Степень вероятности такого события вы можете оценить сами: ожидая, пока моя жена приедет и подберет нас, мы с Тайлером и Фрэнки просидели на обочине целый час. Первая увиденная нами машина была машиной Кик. Весь час дорога оставалась совершенно пустынной.

Я ждал, что на следующее утро мне будет плохо, и был прав. Но боль в шее и верхней части спины оказалась не просто острой, а запредельной. Я не мог повернуть голову и при каждом движении чувствовал, будто мне в спину втыкают кинжал. Мы поехали в больницу, где я провел какое-то время со старым другом, компьютерным томографом, который выявил у меня трещину в седьмом позвонке. Проще говоря, я сломал себе шею. После стольких лет безуспешных попыток мне это наконец удалось. Несколько дней мне пришлось провести в постели. Как только слух о несчастном случае дошел до ушей спортивной прессы, это вызвало волну спекуляций на тему моей поездки в Сидней. Журналистам я сказал, что все будет зависеть от врачей,

но для себя решил, что, если они не отнесут мою травму к разряду смертельных, я поеду. Я уже успел объездить полмира, но еще ни разу не был в Австралии, и вряд ли когда-нибудь в этой жизни у меня появится более удобный повод там побывать. Как только я оказался в состоянии сесть на велосипед, мы возобновили тренировки, хотя мне все еще трудно было поворачивать голову. Но я чувствовал в себе достаточно сил, чтобы набрать форму, и постепенно шея начала поворачиваться лучше. К тому времени как мы сели на самолет в Сидней, я чувствовал себя на 80 процентов здоровым, и у меня была еще неделя, чтобы продолжить тренировки и окончательно восстановиться. В программе Олимпийских игр я собирался выступить на двух дистанциях: в длинной шоссейной гонке с общим стартом и в более короткой индивидуальной гонке с раздельным стартом. Свои шансы в шоссейной гонке я расценивал не очень высоко, поскольку она проходила на равнинной трассе, благоприятной для спринтеров, зато в разделке надеялся на золото.

Сидней полностью оправдал все наши ожидания. Изумрудные воды бухты плескались прямо у подножия небоскребов, а мангровые деревья укрывали в своей тени древние особняки в викторианском стиле. Единственное, что огорчило меня в Сиднее, — это результаты моего выступления. Я финишировал тринадцатым в шоссейной гонке, победителем которой стал Ульрих. Это не вызвало у меня особого разочарования, поскольку равнинные трассы не моя специализация. Реальную надежду на золото я связывал с индивидуальной разделкой.

Но мои надежды не оправдались, и мне пришлось довольствоваться бронзой.

Нам предстояло проехать три круга от сиднейского крикетного стадиона до пляжа и обратно. К моменту своего старта я уже знал, что мой товарищ по команде «Postal» Вячеслав Екимов показал фантастически быстрое время. Я начал достаточно резво и к концу первого круга отставал от него всего на секунду. Но после полутора кругов разрыв увеличился до 3 секунд. Мне казалось, что я просто не могу заставить свое тело двигаться быстрее. Я крутил педали изо всех сил — судя по показаниям кардиомонитора, — но все равно продолжал терять секунды. После двух кругов я уступал 6 секунд, а на третьем и последнем круге почувствовал, что отстаю еще больше. Мне так и не удалось сократить разрыв; для меня Олимпиада прошла без чудес. Я прошел дистанцию за 58 минут 14 секунд, уступил 34 секунды Еки, 26 секунд — Ульриху и получил бронзовую медаль.

Ехать быстрее я просто не мог. Когда ты готовишься к

соревнованиям, показываешь все, на что способен, но не добиваешься цели, остается только сказать: «Я не заслужил победы». Так было и со мной. Еки заслужил каждый грамм золота в своей медали. И все же, несмотря на горечь своего поражения, я радовался его успеху, потому что перед этим он сделал все, чтобы помочь мне выиграть «Тур».

После церемонии награждения я спокойно прошел мимо своего велосипеда и весело поцеловал жену. Кик гордилась мной; позднее она рассказывала, как ей хотелось, чтобы Люк был постарше и смог правильно понять все, что произошло в тот день. Это помогло бы ему научиться переносить неудачи так же, как его отец. Ее слова заставили меня гордиться этим поражением не меньше, чем любыми победами, которые я когда-либо одерживал на глазах у жены.

Иногда мне кажется, что главная заслуга рака в том, что он разрушил во мне барьер косности суждений. До болезни я оценивал свои поступки исключительно как «победы» или «поражения», но она навсегда избавила меня от глупой суетности. Наглядный тому пример — история с моей шевелюрой. Раньше меня постоянно заботила моя внешность, и, перед тем как выйти из дому, я обязательно поправлял прическу. Теперь этот вопрос меня не волнует. Жена стрижет меня под машинку, и такая прическа требует так мало ухода, что я намерен соблюдать этот стиль до конца жизни.

После болезни я стал обращать гораздо меньше внимания на то, нравлюсь ли я людям, а с рождением сына этот вопрос стал волновать меня еще меньше. Главное, что я нравлюсь своей жене и, надеюсь, буду нравиться своему сыну. Кроме их любви и признания, мне теперь ничего не нужно. Между тем мы готовились к празднику. Было 1 октября, а на следующий день, 2 октября, исполнялось ровно четыре года с того момента, когда я узнал, что у меня рак. В мире раковых больных такая дата считается очень важной, а для меня она была самой важной датой в моей жизни, более важной, чем день рождения или любой другой праздник. Никакие победы или поражения не могли идти с ней ни в какое сравнение.

Кик называет эту годовщину днем «Carpe diem», чтобы напомнить нам о необходимости пользоваться моментом. Каждый год в этот день мы радуемся тому, что живем на этом свете. Мы каждый раз напоминаем себе, что моя победа над раком — это миф. Рак победили лекарства. Рак победили врачи. Я просто выжил. Мы напоминаем себе, что если судить по самым последним показателям выживаемости при раке, то меня не должно быть в числе живых.

Всю оставшуюся жизнь я буду удивляться тому, что выжил. Рак больше не управляет моей жизнью, моими мыслями и моим поведением, но все, чему он меня научил, останется со мной навсегда. Я узнал, что интенсивное движение — это необходимое условие моего существования, настолько же важное и простое, как воздух. Я не верю в то, что смогу как-то иначе ездить на велосипеде или жить по-другому. Кроме того, я научился думать и подавлять желание произнести вслух те слова, которые первыми возникают в моем сознании. И еще я узнал, что если у меня выдалась тяжелая неделя, то мне нужно просто сесть, расслабиться, подумать и сказать себе: «Эти совсем не те вещи, о которых мне следует волноваться».

Поэтому в тот день, когда я упустил золотую медаль и выиграл бронзовую, мы с Кик пригласили нескольких самых близких друзей на вечерний круиз по сиднейской гавани и отпраздновали тот факт, что впереди будут другие гонки. Мы провозглашали тосты за мое здоровье. А потом вернулись в Остин как счастливая, дружная семья.

Я по- прежнему гоняю на своем велосипеде по холмистым окрестностям Остина, и грузовики все так же пролетают мимо меня. Но теперь многие водители узнают меня по синей форменной майке «U. S. Postal». Некоторые из них приветственно машут мне рукой. Некоторые смотрят на меня недовольно. А кое — кто даже пытается столкнуть меня с дороги. Я же продолжаю крутить педали и вглядываться в поднимающиеся за холмами горные вершины, где зеленые листья деревьев дрожат под холодными лучами солнца.

notes

Примечания

1

Частота вращения педалей.